

СИБИРСКИЕ ОГНИ

**Литературно-художественный
и общественно-политический
ежемесячный журнал**

Главный редактор:
М. Н. ЩУКИН

Редакционная коллегия:

Б. Л. Аюшеев (Улан-Удэ)
А. Г. Байбородин (Иркутск)
Б. Я. Бедюров (Горно-Алтайск)
Т. Г. Четверикова (Омск)
Б. С. Дугаров (Улан-Удэ)
А. В. Кирилин (Барнаул)
Э. И. Русаков (Красноярск)
А. Б. Шалин (Новосибирск)
Г. М. Прашкевич (Новосибирск)
Н. М. Закусина (Новосибирск)
Е. Ф. Мартышев (Новосибирск)
А. Ф. Косенков (Новосибирск)
В. С. Никифоров (Новосибирск)

Владимир Титов
ответственный секретарь

Максим Долгов

и. о. начальника отдела художественной литературы

Марина Акимова

редактор отдела художественной литературы

Михаил Косарев

начальник отдела общественно-политической жизни

Дмитрий Рябов

редактор отдела общественно-политической жизни

Верстка: О. Н. Вялкова
Корректурa: М. Н. Долгов

12/2016

Содержание

ПРОЗА

| | |
|--|-----|
| Геннадий ПРАШКЕВИЧ. Русский хор. Повесть. Окончание. | 3 |
| Николай ОЛЬКОВ. Солнечный человек. | |
| Сказ об Иване Ермакове. Повесть. Окончание. | 60 |
| Михаил ЧЕРНЕНОК. На перекате. Рассказ. | 92 |
| Елена ЛОБАНОВА. У моря погоды. Рассказ. | 128 |

ПОЭЗИЯ

| | |
|---|-----|
| Дмитрий РУМЯНЦЕВ. Григорианский хорал. Стихи. | 52 |
| Станислав МИХАЙЛОВ. День синиц. Стихи. | 87 |
| Святослав МИХНЯ. Перед холодами. Стихи. | 125 |

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ

| | |
|---|-----|
| Всеволод ИВАНОВ. Проспект Ильича. Роман. Окончание. | 139 |
|---|-----|

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

| | |
|---|-----|
| Николай ШИПИЛОВ. «Никого не пощадила эта осень...» | |
| Неопубликованное интервью 1993 года. | 162 |
| Семён ВЕНЦИМЕРОВ. Голос, звучащий в эфире. Окончание. | 166 |
| Александр КОСЕНКОВ. Первая «сибирская фильма». | 176 |

Картинная галерея «Сибирских огней»

| | |
|---|-----|
| Наталья ЛЕВЧЕНКО. Сибирский карикатурист | |
| Вениамин Ромов. | 183 |

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Содержание журнала за 2016 год | 187 |
|--------------------------------------|-----|

| | |
|---------------------|-----|
| Авторы номера | 191 |
|---------------------|-----|

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Главный редактор, директор-руководитель ГБУК НСО «Редакция журнала «Сибирские огни» М. Н. Щукин.

Геннадий ПРАШКЕВИЧ

РУССКИЙ ХОР

Повесть*

Часть вторая (tutti)

22.

Уезжал радуясь.

Конечно, боялся, но чего — сам не знал.

Терпеливо твердил про себя слова Морского устава.

«И понеже корень всему злу есть сребролюбие...» Как бы готовил себя к другой, совсем новой жизни. «Блюсти себя от лихоимства...» Не ожидал впереди ничего простого. «Не только себя блюсти, но и других жестоко унимать и довольствоваться определенным...»

Неужто в государевом Парадизе лихоимцев столь развелось, что унимать надо?

Выглядывал в окошечко дорожной кареты, боялся, что вот-вот кончатся леса, реки.

Но разные реки и леса не кончались. Напротив, являлись все новые и новые, а за ними опять новые броды, поля, огороды. «Ибо многие интересы государственные через то сребролюбие потеряны бывают...» Вот варнаки отняли жизнь у отца, а сосед Кривоносов тетенькин анбар сжег, потряс фруктовые деревья. Думая над этим, опять слышал все ту же загадочную музыку в голове. Она приходила волнами, немного одурманивала, потом голова прояснялась. Не замечал душевные ямские дворы, тленность, паршу голых навозных дворов, сбивающиеся голоса. В Томилине и в старой Зубовке проще. Там мужик скалится, сквозь рот видишь всю его душу до дна, а тут все в движении. И чем ближе к северному Парадизу, тем сильнее. А в самом Парадизе так низко, так страшно вдруг Нева проблеснула за деревянными набережными, что сердце сжало.

Крутились крылья мокрых мельниц, по воде ходили верейки да шлюпки, тонко торчал шпиль крепости, посвященной святым Петру и

* Окончание. Начало см. «Сибирские огни», 2016, № 11.

Павлу. Кригс-комиссар внятно объяснил: Парадиз не село, Парадиз даже не Москва. Тут сразу решили все упредить как в Голландии.

Дома выстроены по линии.

Лошади шлепают по лужам широкими копытами.

Кригс-комиссар указывал то на один дом, то на другой, даже на комедийный анбар указал на Литейной. Ходить туда без надобности, объяснил, ничего умного не покажут, а то, что может сказать говорящая лошадь, ты и сам знаешь. Поглядывал на Алёшу тревожно, будто боялся чего-то. На Троицкой площади указал мертвые черные человеческие головы на кольях. Подумал, что недорослю от этого вида станет плохо, но Алёша лишнего любопытства не проявил, а Невская перспектива его обрадовала. Мало ли что несет откуда-то тухлой рыбой, в Зубовке и в Томилине с помоек тоже несло, особенно летом. Зато тут по деревянным набережным прогуливаются кавалеры в кафтанах шелковых да бархатных.

Боже, как понять все?

23.

В доме кригс-комиссара было тихо.

Узкие арочные окна с цветными стеклами.

А еще круглые окна в свинцовых переплетах.

Алёша вконец растерялся. Как тут вести себя? Как младый отрок должен поступить, если в беседе с другими сидит? Вспоминал советы тетенькины, вспоминал прочитанное в книгах, все сказанное герром Риккертом, кавалером Анри Давидом. Вот как явятся вдруг к кригс-комиссару значительные люди. «Когда прилучится тебе с другими за столом сидеть, то содержи себя в таком порядке. В первую очередь обрежь свои ногти, да не явятся яко бархатом обшиты». Да, да, обрежу. Еще помнил: сиди прямо и благочинно, не хватай первый из блюда, не жри как свинья. «Не облизывай перстов и не грызи костей». И еще важно зубов ножом не чистить, хлеба, приложив к груди, не резать. «Над ествою не чавкай, головы не чеши, не проглотя куска, не говори, ибо так делают крестьяне. Часто чихать, сморкаться, кашлять не пригожо. Когда яси яйцо, отрежь наперед хлеба и смотри, чтоб при том не вытекло».

И все такое. Все помнил.

Все повторял и все боялся забыть.

У тетеньки в зале висели картины в золотых рамах, даже покойный Фёдор Никитич, расчесав бороду на две стороны, смотрел со стены. Там были и герой с коротким мечом и в шлеме, в повозке, влекомой огненными конями, и раскосые китайцы босиком, и жар-птицы, небо, как в огне, рыбы, как в Нижнем озере, а у кригс-комиссара узкие окна поднимались под самый потолок чуть не от пола и в каждом углу белели Венус — мраморные богини. На девку Матрёшу не похожи, но Алёша смотрел заворуженно.

Специально для Алёши пригласили в дом цирюльника, он ножницы и расчески разложил на столе, выставил снадобья в темных флаконах, долго вздыхал, озираал Алёшу, что с ним сподручнее сделать. Кригс-

комиссар, заметив сомнения, указал просто: чтобы похож на себя не был. Цирюльник нисколько не удивился, подрезал Алёше длинные волосы, что-то зачесал. Но и сейчас, после обработки ножницами и расческами, вид Алёшин заставлял некоторых гостей вздергивать брови под самые парики. Однажды услышал: «Ты покажи своего недоросля графу Толстому, может, ему для дела понадобится».

Денщики кригс-комиссара с томилинским недорослем не разговаривали, получили, наверное, такой наказ. Дичились, обходили стороной, поэтому все свободное время Алёша старательно учил Морской устав, парусную книгу, даже призывал Ипатича будить его, если начнет засыпать. Ипатич стоял рядом, смиренно слушал, потом начинал клонить голову.

«Ты дремлешь, Ипатич?»

«Нет, не дремлю, я на сапоги смотрю».

А при случае сам научился заглядывать в книги.

Алёша не противился такому, даже интересно, научится ли дядька грамоте.

Рябой, как дрозд, Ипатич неуклюже переворачивал пальцем страницы, произносил вслух увиденное. У него получалось. Алёша слушал в кресле, закинув руки за голову, как любила тетенька.

Первое время кригс-комиссар не пускал Алёшу гулять, только иногда поздними вечерами да в сильный дождь. Беспокоился, что увидят, разговоров не оберешься.

«Разве у меня две головы?»

«На мой взгляд, даже хуже».

А почему, не объяснял. И запрещал надевать парик, хотя парик Алёше привезли чуть ли не в первый день — в буклях, припудренный. Он в зеркале увидел: его удлиненное лицо под париком выглядело возвышенным, в глазах музыка отражалась — волнами, как низкая Нева под белесым небом.

«В полк раздумал тебя сдавать, — пришел к решению кригс-комиссар. — Преображенцы и семеновцы рослые, а ты не совсем вышел ростом, лучше отдам в матрозы. Подальше от глаз».

«Да почему подальше?»

«Забудь! Я знаю. И умирись».

«Да как умириться, если не знаю?»

«Книги читай. Вот умная книга. — Кригс-комиссар выкладывал на стол большие переплетенные листы. — Или изучай статуи мраморовые. На днях такую купил, каких у светлейшего князя нет. Совсем мраморовая Венус, старинная, привезена из дальнего Рима. Уплатил под нее тысячу ефимков. — Поморгал, явно сам не поверил своим словам. — Хочу светлейшему передать, князь Меншиков оценит. У него вдоволь статуй, но совсем не такие, как моя. — И не выдерживал, показывал недорослю, как можно в Парадизе иметь хорошую выгоду. — Вот за старинную Венус, если по правде, уплатил двести ефимков, но вид у нее такой, что светлейший тысячу даст. Светлейшему в радость, а я в поездках по конским ярмаркам растрчиваю премного».

Сдав в приказ недорослей и лошадей, кригс-комиссар отдыхал.

Вечерами деятельно курил трубку. Кафтан новый, немного тесный, но огорчало господина Благова не это, а слухи с флота. Там больных и умерших нынче много. Тебя, Алёша, определяю во флот, ты привычен к чистому, других будешь учить. Линьком и словом. Я знаю флот. Сам чуть не погиб, когда большой дристан напал на русскую эскадру на море Азовском. Для освежения кораблей не успевали людей свозить на берег. Матрозов и офицеров более тогда теряли, чем в стычках с чужими флотами. Бросали тела в воду, балласта не напасешься. Кригс-комиссар шумно вздыхал. Чувствовалось, что помнит многое и многих. Знал, похоже, и тех, кто когда-то еще потешными маршировали из Преображенского на Воробьевы горы, строили Прешпурх, ломали Кожуховский поход, а потом оказались под Азовом и Нарвой. Называл имена, но Алёше они ничего не говорили. Вот помещика Кривоносова помнит, а Ипат Муханов или Иван и Наум Сенявины — нет, про таких не слышал. Кригс-комиссар укоризненно пускал изо рта синий дым, обещал: «Стремись встать с ними вровень. Премного старайся. Только сначала пошлю тебя в другую страну, сходство снять».

Совсем достал этим сходством.

24.

А Невский прешпект оказался просто аллеей, вымощенной камнем.

Слева и справа — многие рощицы и лужайки. Пленные шведы удачно и правильно уложили обтесанные камни, теперь сами же и подметали по субботам. Алёша из закрытой пролетки (за этим строго следил кригс-комиссар) рассматривал Парадиз, дивился: в переулках темно и грязно, как в Нижних Пердунах, зато по островам — Адмиралтейство с корабликом, и царский летний дворец, и Биржа, и почтовый двор, а дальше на Васильевском — дом светлейшего князя Меншикова. Каналы, церкви, дома на сваях, цейхгаузы. Вдруг над набережной фейерверк, тут с ума сойти можно, как чудно становится в душе и в небе, как наплывает, как взрывается нежная музыка, теснятся человеческие голоса.

Рай земной, истинный Парадиз.

Правда, как ни старались плотники и каменщики, сырость и перенные ветры брали свое. В доме капало с потолков, под капель подставляли тазы. Весело звенело в углях, добавляя музыки. Денщики ленились, заматали мусор в углы, без спросу убегали смотреть фейерверки, парусные и гребные суда. А вот Алёша предпочитал церковь Анны Пророчицы на Литейном — слушал хор.

Кригс-комиссар напоминал:

«На глаза людям не появляйся».

«Да почему?» — не понимал Алёша.

«А ты в зеркало, ты в зеркало посмотришь».

И ничего не объяснял больше кригс-комиссар, ждал чего-то.

Наконец дождался. Постучал деревянной ногой в пол, развел руками.



«Завтра на ассамблее приказано быть. С недорослями, отобранными для науки. Чтобы привыкали к истинному обращению, не дичились, умели показывать себя людям. Отговориться нельзя, не выглядишь ты болезненным, как утверждала в Томилине твоя тетенька. Даже наоборот. — Озирал Алёшу испытующе. — Волосы зачешешь вперед. От тебя завишит, как себя подашь».

Алёша кивал, вспоминал слова француза Анри.

Ассамблея, вспоминал, это большое-большое шумство.

После обедни в соборе Святыя Троицы поднимают шелковый желтый флаг с изображением двуглавого орла, держащего в когтях четыре моря — Белое, Балтийское, Черное и Каспийское, громко стреляют пушки с бастионов Петропавловской крепости, гостей созывают барабанным боем. Еще кавалер Анри Давид немало говорил про страсти. Латинский дух кипел в Анри, смущал тетеньку. Сейчас кавалер, наверное, в полку каком ружейному артикулу учится, а в Алёшиной голове все, как прежде, звучали пленительные слова. «Вся кипящая похоть в лице его зрилась...» Этот ладный Матрёшин зад. «Как уголь горящий все оно краснело...» Ни слова не забыл. Как низкий белый туман над рекой Кукуманом. «Руки ей давил, щупал и все тело...» А ведь Анри больше говорил про знаменную нотацию, которая у русских будто бы темна сама по себе. Знак греческой буквы фиты... параклит, утешитель... «Уж как рыбу мы ловили по сухим по берегам...» Чудное, светлое за этим слышалось. «По сухим по берегам — по анбарам, по клетям...» Дальше совсем волшебное. «А у дядюшки Петра мы поймали осетра...» Все тут сразу — и рондо, и параклит, и мотет. Алёша все помнил, на мраморных Венус кригс-комиссара смотрел с мучением, как на поротую Матрёшу в Томилине. Тянуло руку положить на мраморовую грудь, но пусть это останется для денщиков.

«Ассамблея не затем, чтобы только козлом прыгать по зале, — внимательно оглядывая Алёшу, объяснил кригс-комиссар. — Там говорят о деле».

Алёша понятиливо кивал. Он и об этом от француза Анри слышал.

Прыгают под музыку, а в промежутках о деле говорят. Или наоборот.

Обычная музыка на ассамблее — трубы, фаготы, гобои, литавры, но кавалер Анри Давид упоминал, что некоторые вельможи имеют свою музыку. У таких кроме фортепиано звучат скрипки, альты, виолончели, а с ними контрабас, флейты, валторны. Дух захватывало, как хотелось услышать.

«В зале устроишься несколько в стороне, — негромко указал кригс-комиссар. — Твое дело — вести себя смирно. Укажу удобный угол, там пересидишь, не вылазь людям на глаза, не надо. Я сам устрою твои дела, а ты молчи, молчи, голову опускай, чтобы лица не видели».

Алёша молча кивал. Волновался, как в дороге к Парадизу.

И все равно был ошеломлен, ослеп, оглушило жаром, запахом пота.

Все смешалось перед глазами, позже даже Ипатичу толком пересказать не мог.

Низкие крашенные потолки. Много-много восковых свечей. Люди в лентах, париках, широкие юбки, огромная музыка. Голоса — как нечто единое. Девки чудесные с вплывающими в сердце ангельскими голосами, такие громко не позовут во двор курочку к обеду зарезать. Дамы в кру- глых юбках, такая пошла бы Марье Никитишне — широкая, на версаль- ский манер. Румяна на щеках, каждая дама кудрява. В одной зале танце- вали, подпрыгивали, выделявали коленца — каприоли, в другой играли в шахматы, в шашки, вступали в резонеманы — рассуждения, в третьей на столах лежали трубки с деревянными спичками, табак в кисетах. А стену самой большой залы украшал портрет государя. И вот чудо! Вме- сто привычных руин, замков, чудесной заброшенной архитектуры, как на портрете Фёдора Никитича в деревне Томилино, здесь — волнующееся море, на котором белели паруса и поднимались облака над головой госу- даря.

Замер, как красиво. Полыхнуло по сердцу огнем-музыкой.

При ярких свечах лица бледные, руки взлетают, смех раздается.

Кавалеры в цветных шелковых и бархатных кафтанах, в чулках и башмаках с пряжками, пышные букли. В отдельной комнате пили вина, на длинных столах — оловянная посуда, соленые лимоны, фленсбургские устрицы. Зеркала в простенках отражали обманчивый свет восковых свечей, немецкие приседания, металось эхо нечаянных комплиментов, и сладко-сладко текло что-то нежное сквозь струи синего дыма.

Что? Что? Только через минуту узнал — менуэт.

Это же кавалер Анри Давид так говорил — менуэт.

Значит, все сбудется. Значит, и резвый контрданс прозвучит.

Раскрыв рот, смотрел на веселых дам. Стянуты узким костяным ки- расом, исчезающим в фишбойне, башмаки на каблуках в полтора верш- ка вышины. Смотрел на кавалеров в алонжевых напудренных париках, на каждом широкие матерчатые шитые кафтаны, стразовые пряжки на башмаках. Платья у некоторых дам были одной с корсетом материи — с длинным хвостом, парчовые или штофные, шитые золотом, серебром, сплошь унизанные жемчугами и драгоценными камнями, как на другой день пересказывал Алёша пораженному Ипатичу.

Потом пробилось сквозь марево:

«Нам прежде всего маринеры нужны».

Голос сиплый, чужой, будто прокуренный.

А в ответ твердый голос кригс-комиссара Благова:

«Я лично привез недорослей почти сто душ. Из них ладных выра- тим маринеров».

Голоса отдалились, а дамы и кавалеры все летели и летели по зале кру́гом, рондо, наверное, не обманул француз, все как в истинном пара- дize.

Голоса снова приблизились.

«Дураков привез? Сопли мотать?»

«Умеючи и из дурака можно вырастить мастера».

«Врешь! — тот же голос. — Где твои недоросли? Кого зови сюда».

Алёша вздрогнул и обернулся. Как сквозь туман, огромного роста человек пристально смотрел на него. Глаза темные, в каждом зрачке по свече, щека и усы дрогнули, вдруг помертвев, рванул за плечо кригс-комиссара:

«Подкопы строишь?»

«Этого нет. Чисто игра природы».

«Какой уроженец? Какого дистрикта?»

Алёше показалось, что полковник сейчас ударит его, но ответил.

«Будем учить недоросля, — негромко повторял кригс-комиссар, не хотел с чем-то неведомым страшным смириться. — Будем учить. А при-рода что? В кунсткамере и не такое увидишь. Недоросль сей из Зубовых. Не глуп. Пойдет в Голландию с русскими командирами».

«Кто видел этого недоросля?»

«У меня живет, не выпускаю никуда».

Полковник поманил пальцем Алёшу:

«Каких морских птиц знаешь?»

Алёша ответил:

«Чайку».

«Зачем ее?»

«Кричит пронзительно, скрашивает непогоду».

«А северные ветры какие знаешь?» — Было видно, что усатого ин-тересуют совсем не ветры, ярость раздувала его как быка. Видел что-то свое — другим невидимое, сильными прокуренными пальцами отвел со лба Алёшины волосы.

«Полуночник... Северяк... Холодик...»

«А каким блоком якоря тянут?»

«Этого пока не знаю».

«Хвалю, правду говоришь».

И опять новый вопрос, без перерыва:

«Кто держит табель на военном судне?»

По бешеным глазам понял, что выпячивать незнание больше не нужно.

Ответил скромно: «Секретарь повинен держать табель в добром по-рядке».

«Молчи! Молчи! — Усатый всей ладонью толкнул Алёшу в лицо. Сквозь общий шум крикнул кригс-комиссару: — В Пруссию, в Венецию — куда подальше. За свой счет! За столь преступное сходство сам плати!»

Опять это сходство. Понять ничего не мог.

Кригс-комиссар даже пожаловался: «Прости, Пётр Алексеевич. Вот весь как есть в издержках. Лошадей менял, недорослей вез в столицу. А недавно дивную Венус прикупил в Вечном городе. Дворянин я бедный, под Азовом потерял ногу, левая рука сохнет. Когда бы не твое государево жалованье, то, здесь живучи, и есть было бы нечего».

Усатый снова уставился в замершего Алёшу:

«Что умеет? К чему способен? Знает ли грамоту?»

И голос кригс-комиссара: «Знает грамоту, рисовать способен».

И в ответ голос пронзительный, сильный, уже отдаляющийся: «Не шути, Благов, ой не шути. Нам и повесить тебя не скушно. Незамедлительно отправь недоросля подальше, совсем далеко, может в Венецию. Пусть ухватывает нужное, а то спальные, которых туда посылал, выуча один лишь компас, на том остановились. Этого избегать. Пусть учится языкам, философии, географии, математике. Пусть пробует какие парсуны писать, делать план огородам и фонтанам. Пусть режет на прочных камнях статуры и всякие другие притчи, льет фигуры из меди, свинцу и железа, какой бы величин нам ни захотелось. Сам проверю. А узнаю, что по молодости лет делает банкеты про нечестных жен, повешу!»

И донеслось уже совсем издали: «Вернется недоросль таким, какой есть, в измене тебя уличу, Благов!»

25.

«Отправь недоросля подальше...»

«Нам и повесить тебя не скушно...»

«Вернется недоросль таким, какой есть, в измене тебя уличу...»

Да что же это такое? Какое такое преступное сходство? С кем? В чем? Кригс-комиссар ничего толком не объяснял, только отводил глаза. «Поступай, Алёша, как я скажу. — Каким-то особенным образом подчеркнул это я. — Хорошо учи то, что надобно. Помни о возвращении, а то ведь было уже — отправляли. При Годунове восемнадцать отпрысков поехали к немцам в Любек, но потом стало не до них, даже след затерялся. А у тебя, Алёша, еще сложнее. У тебя, — посмотрел в упор, — все гораздо сложнее. Тебе вернуться надо, и вернуться *другим*. — Опять изумленно посмотрел ему в глаза. — Учи чертежи, карты, компасы, прочие признаки морские. Тебе, как никому другому, надо хорошо знать снасть, инструмент, паруса, бомбардирству учиться. Ты же сам слышал, как было сказано: вернется недоросль таким, какой есть, в измене уличу!»

Алёша кивал, боялся. Помнил тревожные тетенькины слова.

Конечно, управлять имением можно и одноному при сухой руке, но так возвращаться из дальних стран ему совсем не хотелось. Верил Господу и удаче, уже слышал, что отобранных недорослей собираются отправить в Пруссию кораблем, но дело откладывалось и откладывалось, кригс-комиссар ходил недовольный.

Но в конце концов первых учеников числом пять отправили.

Уходили морем, потом — лошади, потом снова морем. Первые полгода провел в Венеции. Бывшая империя сейчас занимала собой всего несколько прибрежных крепостей в Далмации да остров Китира к югу от Пелопоннеса. А ведь когда-то управляла всей торговлей между Востоком и Западом. На глазах сморщилась, даже на картах. Зачем я сюда, думал Алёша, чему здесь можно научиться? Вместо улиц каналы, передвигаются по городу на лодках, как в наводнение. Веслами управляют особые гондольеры, самый нужный народ в Венеции, их даже в оперу пускают

бесплатно. А опера в Венеции, скоро узнал, начинается в семь вечера и продолжается до одиннадцати ночи. В опере поют. Там дивные хоры. Там в нишах вазы с узкими горлышками. От этого у Алёши сердце радостно билось. Оказывается, можно брать места даже возле самого оркестра, лишь бы с галереи не плюнули. Увидят, что используешь маленькую свечку, чтобы читать либретто, непременно плюнут.

А сам город серый, каменный. Ни лошадей, ни карет.

Главная площадь зовется Сан-Марко. Все остальное — кампи, то есть поля, где когда-то первые поселенцы разбивали свои ничтожные огороды. Длинные, как угри, лодки-гондолы крыты черным сукном, в тесных переулках перекликаются страшные веселые девки. Город называется Венеция, а главная болезнь в нем французская, об этом кригс-комиссар предупредил еще в Петербурхе. Запахнутые плащи, часто — карнавалы, будто жизнь из одних радостей состоит. Могут в масках ходить, даже в зверских куртках, в птичьих перьях, ни в Зубове, ни даже в Нижних Пердунах не встретишь подобных монстров. Все как бы в протестантском уклоне, но могут напасть на узком мостике, отнять кошелек, ударить ножом, ни один ночной сторож не уберезжет. На берегах за домами, поставленными опять же посредине воды, плоские, убитые водой пески, над ними крикливые чайки. И постоянно над серым мрамором башен, над тесными мощеными двориками, над белыми надгробиями каких-то давно павших воинов разносится гул колокола-марангона. Он поднимается все выше и выше над дворцами, седыми, влажными от росы, над площадью Святого Марка, над кампи, поросшими чахлой больной травой, над питьевыми цистернами, обмазанными серой глиной.

В два дни недоросли растерялись по разным квартирам.

А затем четверых отозвали срочным письмом во Францию, только Алёша с Ипатичем остались в Венеции. Приписали их к доку Сан-Тровазо в районе Дородуро. Выходил док прямо на церковь тоже по имени Сан-Тровазо. Деревянные гондолы, сандоло, пуппарини, счьопоны — все там быстро и ловко строили, а самое диво было то, что часть домов в Дородуро тоже была из дерева. Это сразу бросалось в глаза. Плавают, что ли? Да нет, Ипатич скоро узнал, что стоят дома на фундаменте из тяжелой расколотой листовницы. В сущности, нет никакой разницы — камень или листовница мореная. И то и другое — на века.

Так стали жить. Ипатич в длинном плаще и вязаной шапочке ничем не выделялся из толпы местных монстров, особенно когда научился ругаться по-итальянски. Двести шестьдесят деталей необходимо выточить, изготовить для одной только гондолы. Ну, прямо зверская у Ипатича память, дивился Алёша, а сам дядька горевал об одном: как такое новое ремесло пригодится ему в России? По каналам Парадиза любая шляпка пройдет, а в Томилине нет каналов.

Алёше в доке не понравилось.

Скелеты судов, пиленный тес, сыро.

Ему и большое море сильно не понравилось.

Плоское, серое, с юга и запада налетает кислый ветер.

Ипатич строго следил за тем, чтобы Зубов-младший шею заматывал шерстяным платком, сам в плаще и вязаной шапочке уходил в док. Алёша подолгу смотрел в узкое окно на низкое небо, крутил пальцем земной глобус, выставленный хозяином на особом столике. Хозяина звали синьор Виолли, черные глаза рыскали, волосы длинные. Услышав, как напевал негромко Алёша, посоветовал дойти до консерватории церковного приюта «Пиета». Там дивный хор поет, рассказал, в небесных голосах жизнь предстает иначе. Когда синьор Виолли это говорил, то тер грязной рукой заслезившиеся глаза. Позвал соседа некоего Руфино — молодой, волосы сосульками по сторонам немойтой головы. Глаза горят. Стал к Зубову-младшему приходить, рассказывал про хоры при больших церквях, русским царством совсем не интересовался, считал, что в Венеции уже все построили. Ипатич сердито ворчал: «Он просто кормится при тебе, барин» — и старался в дом не пускать.

Но Алёше Руфино нравился.

Алёша даже научился говорить Ипатичу: «Молчи, дурак!»

Совсем не хотел видеть море, док, деревянные скелеты неготовых лодок.

Услышав в церкви орган, вне воли своей представлял вдруг задранный сарафан, круглый зад, белый, округлый, с уже уходящими синяками — Матрёшино тело, не прикрытое ничем. Горбатая Улька да Дашка с мельницы прижимают ее к деревянной кобыле, а Авдотья, жена конюха, стегает кнутом. Пышь, пышь! В «Пиете» оказалось еще интереснее. Например, теноровая виола да гамба. Дно плоское, плечи покатые, как у девушки, гриф широкий, с ладами, и шесть тугих струн, настроенных по квартам с терцией между средними струнами.

Ипатич, вернувшись из дока, устало ворчал: «На носу совсем новой лодки устанавливаем деревянную фигуру, чтобы особо смотрелась».

Алёша, вернувшись из «Пиеты», в тон дивился: «Шесть струн, Ипатич, и все настроены по квартам с терцией между средними».

За короткое время побывал с Руфино на каком-то судебном следствии, потом в библиотеке капуцинского монастыря, потом в аптекарском саду. Все казалось интересным. Не торопясь, проплыл на гондоле всю змею Большого канала. Камень, вода. Снова вода, камень. Кое-где зелень, но, может, просто плесень. Дивился трем нефам собора Санта Мария Ассунта, рассматривал крылатого льва с герба Венеции.

Но чаще всего сидел с Руфино в траттории близ «Пиеты».

Брали недорогое красное вино и рыбу, жаренную в оливковом масле.

«С другом я вчера сидел, ныне смерти зрю предел...» Учил Руфино напевать русские духовные канты. Руфино, как Борей на старых картинках, смешно раздувал щеки. «Потоп страшен умножался...» Говорят, что все теноры глупы, но с Руфино было интересно. Каждое услышанное слово повторял по-русски, но языком не считал, принимал как россыпь напевных звуков. «Плакал неутешно праотец Адам наш...» Раскачивались в такт пению. «Где ты, агница, девалась...» Руфино было все равно, где девалась русская агница, но звучало светло, он повторял и повторял, выпив вина, утирая мокрый подбородок длинными волосами.

Пели: «Иисусе мой прелюбезный...»

И пели: «А кто, кто Николая любит...»

Гондольеры за другими столиками прислушивались.

Если сильно нравилось — стучали ногами, поднимали нелепый свист, рев.

«Это наша венецианская свобода», — весело объяснял Руфино Алёше. И советовал заказать (на Алёшин кошт) сардины, жаренные в масле с уксусом, лук, виноград. Вкусно еще «раки-медведи», канночи. А еще рулет из лангустинов с икрой морских каракатиц. И кальмары со спаржей. И угри в уксусе и петрушке. Ну и баккала, конечно, блюдо из трески. На запах такой вкусной пищи пришел и сел за их столик узкоплечий человек в монашеской рясе, нюхнул понюшку табака, пронзительно чихнул. Спросил Алёшу: «Ты шкипер?» Ряса потертая, лоснилась.

«Почему так думаешь?»

Грудь узкая, волосом рыж.

«Зубы у тебя вперед торчат».

«Что ж с того, что торчат?»

«Я без умысла спросил».

«Может, буду шкипером», — пообещал Алёша.

Человек в рясе помолчал, покашлял. Попробовал баккала, поддержал новый кант, затеянный Алёшей. «С другом я вчера сидел, ныне смерти зрю предел...» Черноглазая страшная красавица молча подошла, села на колени узкоплечему, затрепетали локоны как золотые червонцы, но человек в рясе столкнул ее.

«Кто он такой?» — спросил Алёша.

Руфино ответил: «Священник».

«Так он же рыжий?»

«А почему священнику не быть рыжим?» — удивился Руфино. — Имя его Антонио, но мы зовем — рыжий поп. По рождении записан в приходе церкви Святого Иоанна в Брагоре».

«Болен, наверное?»

Рыжего попа как раз скрутило кашлем.

По знаку Алёши трактирщик подал узкоплечему Антонио чашу красного вина. Рыжий поп выпил жадно, не проливая. Сразу оживился. Известно ведь, хорошее вино всем помогает, кроме мертвого.

«Думали, он умрет, — объяснил Руфино, не обращая внимания на то, что рыжий поп слышит его слова. — Уже при рождении хлостью своей изумил родителей, а они тоже не силачи были. Отец — цирюльник, стриг людей и играл в “Пиете” на скрипке, а мать бог знает что делала, может и полезное. В “Пиете”, это же и приют, воспитанницы отнеслись к Антонио с симпатией».

Все как у меня, печально кивал Алёша.

У Антонио отец цирюльник, а моего — убили.

Я тоже, думали, сразу умру, а я вот — в Венеции.

Антонио с десяти лет ходил с отцом уже со своей скрипкой, рассказал Руфино, помогал в капелле собора Святого Марка. В пятнадцать



лет получил тонзуру и звание «вратаря» — право отворять врата храма. Алёша с некоторым испугом смотрел на кашляющего рыжего попа. Казалось бы, играй на скрипке да служи мессу — да не получалось. Во время службы вдруг выбежал за алтарь, не мог удержать кашля. Впрочем, многие думают, что выбежал специально записать пришедшую в голову мелодию. Маэстро ди виолино. Все это признают. Сейчас преподает в консерватории церковного приюта. Там девочки поют в хоре, непристойно подмигнул Руфино.

А рос Антонио таким болезненным ребенком, рассказал Руфино, что по совету повитухи показали его лекарю-еврею. Тот сразу сказал: зачем смотреть? И показывать тут нечего, не жилец! Ну совсем как у меня, думал Алёша, проникаясь все большей жалостью к рыжему попу. Мне в Зубовке пришедшая баба пророчествовала — не жилец, дескать, а ему — лекарь. В Венеции евреи считались такими знающими врачами, что им даже ночью разрешалось выходить из гетто на Каннареджо. Врожденное сужение грудной клетки, сказал лекарь. Может, и будет жить, но только как птица — быстро-быстро дыша. Ошибся лекарь. Живет рыжий поп, преподает воспитанницам в «Пиете», сочинил двенадцать концертов. «Ты вот не можешь, — сказал Алёше Руфино, — а он сочинил. Целых двенадцать! И даже оперу сочинил. Всем доказал».

«Что доказал?»

«Да то, что живет».

«Так это главное разве?»

«Не знаю. Но в опере у него поют только кастраты».

Алёша не поверил: «Где можно столько набрать кастратов?»

«Венеция большая. Островов много. И монастырей у нас много».

Рыжий поп пил вино и прислушивался. Когда кашель отпускал его, снова и снова прижимал чашу к губам, вино казалось красным как кровь. Сам подсказал, что у него написано еще несколько опер. Названия пристойные. «Роланд, мнимый безумец» и «Моисей, бог фараонов».

«И на это нашлись кастраты?»

«Ну, еще девушки-воспитанницы».

Вино кончилось. Алёша поднял руку, требуя внимания трактирщика, но тот не успел ответить. С соседнего столика в рыжего попа полетела оловянная посуда. Некто, закинув край плаща на плечо, кинулся в сторону Алёши, что-то свое решив. Руфино ловко подставил ногу, был привычен к такому. Еще трое гуськом, пригнувшись, шли к столу, не ускоряя шаг, оттого страшные. С неожиданной ловкостью узкогрудый Антонио перевернул стол и ударил первого оловянной чашей по голове, а Руфино опрокинул другого, как бы оттолкнув его под ноги Зубову-младшему, отчего он, как в детстве, услышал в голове тайную сильную музыку. Она как волна шла сквозь его душу. Поднималась над дерущимися, трепетала дивно. Ни Руфино, ни Антонио, ни Алёша не помнили, как оказались на мосту. То ли их выкинули из корчмы, то ли сами вырвались. «Они как гуси на тебя шли, — сказал Алёша, восхищенно разглядывая рыжего попа. — Может, виды на твоих воспитанниц имеют?»

«Нет, — закашлялся Антонио. — Они не на меня шли».

«Как так? Я сам видел, как они перешли на гусиный шаг».

Спорить не стали. Антонио завернулся в плащ и отступил на ступеньки каменной лестницы. С тем и расстались.

26.

«Ой балуешь, барин».

Зубов-младший молча соглашался.

Некоторое время даже не ходил в корчму.

Хватит красного вина. Вгрызался в Морской устав. «Ежели кто изувечен будет в бою или иным случаем во время службы своей, что он в корабельной службе негоден будет, того к магазинам, в гарнизоны или штатную службу употребить, повысив чином, а ежели изувечен, то в гошпитале кормить до самой смерти».

Не хочу изувеченным быть, томился в предчувствии.

От скуки начинал упражняться в добрых размышлениях, в добром богомыслии, но вдруг слышал как бы изнутри вместе с колоколами сладостный голос и снова шел в трагторию при «Пиете».

Дворец дождей...

Тюрьма у моста Вздохов...

Башня Часов со скорбной Мадонной...

Золоченый крылатый лев на синем фоне с золотыми звездами...

Все казалось чужим, будто он правда русский шкипер и пересек неведомое море, чтобы увидеть крылатого льва, а может — быть изувеченным, чтобы кормили в гошпитале до самой смерти.

Сан-Дзаккария со скорбящей Мадонной...

Сан-Джорджьо деи Гречи — церковь греческой общины...

Санта Мария Формоза (прекрасная, прекрасная), конный монумент кондотьеру и еще многое-многое, от чего в испуге разбегались глаза, а музыка, казалось, разорвет сердце. Спасаясь, стремился в трагторию при «Пиете». А там Антонио кашлял страстно. Сиделись вдвоем близко к выходу. На лавке напротив какие-то люди в плащах начинали прислушиваться.

«Канты хочу сочинять».

«Так сочиняй. В чем сомнения?»

«Неравные голоса мучают».

«В какой октаве?»

Зубов-младший чуть не заплакал.

«Спокойствия на душе нет. Говорят, похож на кого-то».

Антонио отодвинул бутылку с вином: «Все на свете на кого-то похожи».

«Но не так, как я».

«А ты как, на кого похож?»

«Сам не знаю. Мне канты сочинять хочется».

Даже напел негромко: «Буря море раздымает...»

Антонио смиренно слушал, кивал. Вот-вот. «На горах Валдайских сидел Аполлон...» Это ему понравилось. Подумав, разрешил: «Сочиняй».

Алёша осмелел: «А вот и сочиню».

«Какие на то у тебя инструменты есть?»

«Пока никаких. Капеллу создам в деревне».

«Это возможно, — кашляя, согласился Антонио. — А если инструментов нет, то и вообще возможно».

И открыл большой секрет.

Никому раньше не говорил, а тебе открою.

Тебе можно, сказал, ты не венецианец, ты для меня неизвестно кто.

Вот, объяснил, носителем мелодии обиходного партесного многоголосия всегда считался тенор. А тенор — дурак, сам знаешь. Тенору всегда и везде противопоставлялся гармонический бас, понимаешь? Рыжий поп скверно кашлял, пытаясь донести главную мысль. Чаще всего тенор и альт движутся параллельно в интервале терции и кастратов из «Пиеты», сказал, можно это расценивать как терцовый подголосок к тенору, понимаешь? Пусть теноры поют. Скверно закашлялся. А потом баритоны и басы вступают в большой, малой и нижней половине первой октавы, понимаешь?

Алёша почти понимал. Толпа, например. Там все можно услышать.

В толпе сопрано вдруг прозвучит, ему ответит бас или дисканты спорят.

Но зато нет в толпе лада, это тоже понимал, в толпе все случайно. А хорал возвышен, хорал величествен. Органист сыграл прелюдию, и сразу грянули, поплыли чудные голоса, как у виолы — нежные, мягкие, ионийским ладом ведя победу. Видно было, как сильно хочет Антонио открыть Зубову-младшему что-то важное — чужой ведь, не венецианец, но три матроза напротив не выдержали и бросились в драку, и никогда не видел Алёша, чтобы узкогрудые так дрались.

27.

Каждые два месяца Зубов-младший отправлял письмо кригс-комиссару господину Благову, отчитывался в увиденном, расписывал каждую денежную трату. Писал, что давно питаются исключительно рыбой, иногда сухой, про красное вино вовсе не упоминал. И про то, что в док ходит только Ипатич, об этом тоже не упоминал. Писал про виденную в монастыре редкую рукопись, приписываемую святому Амвросию, про фрески на старых зданиях. Проехав на кораблях и на лошадях от Петербурга до Венеции, осмеливался целые страны и народы сравнивать друг с другом. Упоминал мазурку как добрый танец, но Силезию и Моравию хвалил больше, указывал на пьяную глупость поляков, начавших, например, и так и не закончивших мост через Вислу. «Поляки, любезный господин Николай Николаевич, — писал Зубов-младший, — делом сво-

им часто подобятся скотам, понеже не могут никакого государственного дела сделать без боя и без драки». Дивился, что дамы в Польше разъезжают по городу в открытых экипажах и себе этого в зазор нисколько не ставят. А в Вене видел, как по случаю процессии сам император Леопольд шел свободно, не покачиваясь, его не вели под руки, как бывает в Польше с самыми сановными панами. Конечно, писал про деревянные гондолы, про сандоло, пуппарини, счьопоны, про дома на фундаменте из тяжелой расколотой листовницы, понятно, больше со слов Ипатича, но какое это имело значение?

А потом дописывал слова для тетеньки:

«Любезная тетенька Марья Никитишна, отпиши мне касательно твоего здоровья, как ты жива есть. Хотел послать тебе всяких птиц красивых, ты в жизни таких не видела, некоторые рябые, как дядька Ипатич. Птиц этих можно держать живьем в клетке в саду, но нет возможности послать даже самых маленьких витютеней».

Порадовав тетеньку, писал дальше:

«А в лавках здешних огурешным семем торгуют, настоем ромашки и ноготков, розовым алтеем. Для здоровья легко и полезно, тетенька. (Про красное вино тоже ни разу не упомянул.) А новостей у меня две. У хозяина дома моего именем Виолли сын схвачен в Турции, томится в башне. Названный Виолли мне совсем проходу не дает, жалуется, когда же русские пойдут войной на таких неслыханных турков. А вторая новость: мои башмаки с пряжками у сапожника пропали, он обещает новые сделать и в утешение дает мускатные груши, печалится. Обещает как-то поправить, тут ведь скоро дожди пойдут, скользко».

Не писал, конечно, и о том, что с вкусных сардин, жаренных в масле с уксусом, с «раков-медведей» и рулетов из лангустинов потихоньку перешли с Ипатичем в основном на баккала, то есть на самые простые блюда из трески. Письма в Петербурх Ипатич направлял казенным путем: сперва до Берлина, оттуда в Кёнигсберг через Кольберг, Штольп, Данциг, Фрише-Нерунги, Пиллау, а там уже морем с помощью почтового галиота.

Иногда хотел спросить у тетеньки здоровье девки Матрёши, только зачем?

Жалел своего хозяина, видел, как синьор Виолли думает о сыне, безмерно печалится, оттого все в доме обнюхивает, обсматривает, наверное, сравнивал, как у других людей дела складываются. Иногда синьор Виолли ругал Ипатича, тот не всегда разувался у домашнего порога, а спал вообще в прихожей, мимо не пройдешь, непременно споткнешься.

Облака тянулись над водой. Мосты горбились от сырости.

За полгода венецийской жизни Алёша отправил три отчета кригс-комиссару, ответов не получил ни одного. Ипатич клялся, что это и к лучшему: пока совсем не кончились деньги, надо учиться. Теперь от Ипатича постоянно пахло дешевой рыбой, смолой и деревом. А вот музыка не имеет запахов.

Однажды в траттории Антонио заговорил о танце пастушков.

Кажется, он понимал в этом, говорил долго и интересно, хотя зачем, собственно, пастушки в каменном городе Венеции? «Плачет пастушок в долгом ненастье...» Ну и что? «Прочь уступай, прочь...» Зубову-младшему ночами снились вовсе не сладкие танцы пастушков, а торжество виватного канта, такого, что враги содрогнутся.

Впрочем, для написания настоящего виватного канта, рассудительно замечал рыжий поп, следует одержать настоящую победу.

«А то мы не одержим», — возражал Алёша.

Вино согревало его в зябком воздухе Венеции.

«Если хочешь знать, — говорил, запивая свои слова красным вином, не обращая внимания на других людей в траттории, — если хочешь знать, у нас в России торжества следуют одно за другим».

И напоминал: семьсот второй год — взятие Шлиссельбурга, семьсот четвертый — Нарва и Дерпт, семьсот девятый — победа под Полтавой. При таком темпе добрый виватный кант никогда не окажется лишним. Не покроются пылью фанфары — гласы трубные, мусикийские. Описывал пораженному Антонио: «Наверху триумфальных ворот будет устроена вислая площадка, на которой поставят по два в ряд восемь молодых юношей, великолепно разодетых, пение свое сливающих с величавыми звуками фанфар. Не то что ваши венецийские баркаролы. — Сердился. — Дудите над сырыми каналами в изогнутый рог, будто мы в древнем Риме».

Но и в тот вечер хорошо поговорить не дали.

Какой-то невзрачный человек плеснул в Зубова-младшего из узкой склянки.

Сразу едким понесло по всей корчме. Наверное, уксус. Кто-то успел ударить, склянка разбилась в руке нападавшего, он закричал. Пришлось бежать, пока в корчме шумно разбирались с произошедшим. А дома синьор Виолли опять что-то искал, жаловался на судьбу пленника юноши — своего несчастного сына. Ворчал, сумы свои уберите из кладовой. Там к окошку не подойти, а окошко специальное, смотровое, служит как водомер. На горбатом, без перил, мостике напротив правда были нанесены отметки, как в какие сезоны поднимается вода.

На всякий случай Алёша заглянул в кладовую.

Да, Ипатич недосмотрел: окно узкое, а прямо под ним брошено несколько дорожных сум, не подойдешь. Одна сума приоткрыта, будто в нее заглядывали, Алёша даже край бумажного пакета увидел, обрадовался: неужто кригс-комиссар наконец откликнулся, а Ипатич не успел доложить?

Потянул пакет и узнал собственный почерк.

Одно к одному лежали в суме все три его отчета.

Вечная музыка, звучавшая в Алёше, утихла, ожидая, что будет дальше.

А дальше было совсем просто. Зубов-младший дождался Ипатича, сел за стол и расположил напротив себя рябого дядьку. Спросил намеренно строго: «Неужто из Венеции почту уже не возят?»

Дядька обомлел, увидев знакомые пакеты.

«Вот никак не пойму, почему письма мои завалились в кладовой».

Дядька в ответ совсем устрашенно пал на колени.

«Отвечай, дурак, почему письма в суме?»

«Виноват, барин», — только и повторял Ипатич.

«Отвечай, почему письма лежат в суме?»

«Нельзя их отправлять, барин».

«Это почему?»

«Не могу знать, но нельзя».

«На галеру сошлю», — пообещал Зубов-младший.

«Хоть на галеру, хоть свай бить на Неве, нельзя отправлять письма».

И дальше Ипатич повторял одно: ну нельзя, ну никак нельзя отправлять писем в Россию. Из сбивчивых слов Ипатича Зубов-младший так понял, что строгий кригс-комиссар господин Благов еще в Петербурхе настрого указал тайно от Зубова-младшего указывать все долгие остановки. Сперва Ипатич такие знаки посылал со встреченными русскими, грамоты у него хватало, но с моравских земель перестал.

«Ничего больше не указываю», — повторял.

И даже угроза галер никак на него не действовала.

«Собирайся».

«Куда?»

«В Россию».

«Как в Россию?»

«Лично повезешь почту, вручишь кригс-комиссару и отпишешь мне, как дела, пусть мне казенный кошт восстановят».

«А ты-то как, барин?»

«Я для дела сюда послан».

«Знаю, знаю твое дело! Как не знать! — не выдержал Ипатич. — Чужую музыку слушать! Какое же это дело, барин? Немцы да венецийцы музыку для того и придумали, чтобы русские истинному делу не учились».

«Дерзости говоришь».

«За тебя боюсь, барин».

«Объясни», — потребовал Зубов-младший.

«Тебя не просто так отправили подальше, барин».

«Говори яснее, дурак!»

«Ты в Петербурхе сам слышал, что тебя, недоросля, указано было отправить куда подальше от столицы. И не просто отправить, а сходство тайное снять. Если данный недоросль вернется обратно такой, какой сейчас есть, было указано в Петербурхе, то в прямой измене уличат господина Благова».

«Объясни, что все это значит, Ипатич?»

«Я своим небольшим умом, барин, до того дошел, что похож ты, наверное, на некую нежеланную персону, может важную. А на какую, того сказать не могу. Не знаю».

Некоторое время сидели при свечах молча.

«Но раз похож, значит, кто-то знает персону?»

«Конечно, знает. Только нам-то как догадаться, барин?»

«Может, на Долгорукого похож? Или на Петра Андреевича графа Толстого? — даже плечом передернул. — А то на Шереметева?»

«У графа Петра Андреевича брови черные, густые, вперед торчат. А Шереметев стар, сам знаешь. А Долгорукий шумен, ничем ты не схож с ним».

«Ну ладно, хватит гадать, что да кто, — решил наконец Зубов-младший. — У нас кошт заканчивается. Завтра отошлешь в Петербурх все пакеты».

«Не делай этого», — упал на колени дядька.

«Нам скоро жить не на что будет».

«Я зарабатываю на верфи».

«И этим жить?» — удивился Зубов.

«Лучше так жить, барин, чем отправлять пакеты. Пока не знают в России точно, где мы с тобой находимся, преследовать нас не могут. Я скоро до конца разузнаю одно дельце, тогда отправим».

«Какое еще дельце?»

«Плотников посылают в Пиллау в прусскую землю».

«Эко чем удивил. Плотников и ранее гоняли по всей земле».

«Я тоже дал согласие ехать».

«Как смел?»

«В Пиллау, барин, большой корабль заложен».

Зубов-младший молчал. Не играла в нем больше музыка, и язычок свечи низко нагнулся в его сторону, будто укоризненно тыкал.

«Мало ли ныне заложено кораблей курфюрстом».

«Давно говорят о четырех новых, но они еще не заложены, а этот уже строится, только оплачивается не курфюрстом. В то время как курфюрст подерживает нашего государя в намерениях против шведов, заложен-то корабль как раз для шведов, барин, и, будучи спущен со стапелей, уйдет к шведам».

«Это важные новости, если не врешь».

Ипатич опять упал перед Зубовым-младшим на колени.

«Поднимись и не делай этого более, — приказал Алексей. — Может, все не так. Курфюрст давно собирается строить флот, но свой, дружеский государю, мало ли что болтают пьяные плотники».

«Не плотники болтают. Сам видел важных господ, они говорили по-немецки, а я лучше знаю немецкий, чем итальянский, сам меня вразумлял. Говорили важные господа, чтобы ускорить спуск корабля в Пиллау».

«Да нам что до этого?»

«Ты сам клялся, барин. Ты сам обещался всю жизнь служить государю, не запамятовал ли? Вино красное тебе стало часто темнить голову. Ты сам клялся везде и во всяких случаях интересы государя предостерегать и охранять и извещать, что противное услышишь и все прочее, что к пользе государя по христианской совести без обману чинить. Так что, барин, нельзя нам пока писать в Петербурх. Ни о нашем нахождении, ни о корабле для шведов».

«Сам же указываешь на важность оного».

«И все равно, барин. Лучше вместе уехать в Пиллау. — Неожиданно укорил: — Тебе все равно, где учить твои карты и компасы или пить красное вино, а в Пиллау много умных людей при открытом море. — Поджал губы. — На месте будет виднее, как правильно дать знать кригс-комиссару. При твоём сходстве...»

«С кем?»

«Не знаю».

«Когда плотников отправляют?»

«Может, через месяц или чуть более».

«Скажи им, что соединишься с ними в Пиллау».

«Значит, не будешь писать кригс-комиссару, барин?»

«Пока не знаю».

29.

И правда, не знал.

Бродил с Руфино по церквям.

Смотрит на скорбящую Мадонну, а в голове — Устав.

«Боцман имеет в своём хранении канаты, якоря, анкерштоки и буи...»

Если не собираюсь быть шкипером, зачем учу? Под вино теперь брал в траптории в основном лепешки с оливками. «И когда корабль стоит на якоре...» Зачем это? Выйдя на какой мост, зябко отворачивал лицо от кислого ветра с моря, прикидывал, а не недоговаривает ли чего важного Ипатич? И синьор Виолли тоже изменился, стал скупым, входил в комнаты без стука, заглядывал в кладовую, наведен ли там порядок. Долго и тревожно тянулись ночи. Но с первым же светом шел слушать дивные скрипки на мосту Гоцци. Правда, и тут многое мешало. Только откroешья всей душой, взгляд вдруг нечаянно выделит из толпы человека в сером плаще, и по оттопыренности плаща чувствуется — под ним шпага. Закрыв голову капюшоном, человек в плаще тоже слушал скрипку, но на священника не походил, смиренности не выказывал.

Как-то взял с собой на прогулку Ипатича.

Вечер выдался совсем тихий, даже рыбы спали в каналах.

На этот раз человек в плаще с капюшоном на голове оказался на пустом мосту, дождь все смочил вокруг, под низким небом все казалось серым и скромным. Почему-то Зубов-младший подумал: нападет. Понимал вздорность того, о чем подумал, но разбойников везде много, поэтому ускорил шаг, а Ипатич правее взял, будто тоже почувствовал опасность. Потом Зубов-младший даже не знал, как правильно рассказать о случившемся. Одно известно: Бог честных бережет. Человек выдернул из-под плаща шпагу, значит, с нею и ходил за Зубовым-младшим по всей Венеции. Алёша отпрянул, но нападавший и дотянуться не успел. Ипатич, не растерявшись, столкнул его с мостика. И вот тоже странно. Никакого шума упавший в воду человек как бы и не произвел, только распустился на воде плащ — серым водяным цветком.

Ушли в ту же ночь.

Ипатич глобус унес с собой.

В порту устроились на немецкий корабль.

После долгого морского перехода нашли в Пиллау трактир с гостевыми комнатами — на Раулештрассе у третьего причала. Комнаты низкие и темные. Вселяя гостей, хозяин по имени герр Хакен, что означало Крючок, и он был согнутый как крючок, спросил: «Может, вы лучше любите охоту?» И с особенным уважением расположил увезенный из Венеции глобус на широком подоконнике.

Израцовая печь в синих птицах, каморка для платья.

«Неужто в таких комнатах не происходит ничего удивительного?»

«Непременно происходит, — охотно кивал герр Хакен. — К примеру, лет десять назад один тихий путник, заночевавши здесь в одиночестве, проснулся совсем живым».

Стали жильцами герра Хакена.

В прихожей, как прежде, спал Ипатич.

Только теперь не дешевой тресковой рыбой пах, а столярным клеем, стружками, плотницкий инструмент перенес на верфь. Герр Хакен, Крючок, поглядывал на гостей странно, но вид круглого глобуса его сразу умиротворил. Из душевного расположения повел Зубова-младшего гулять. Указал к востоку от горы Пфундбуденберг деревню Старый Пиллау, далее поселок Вограм в несколько деревянных домиков и на берегу тихого залива деревню Камстигалль. К заливу тянулась отмель с каменной крепостью и оборонительными рвами. Над лагунами торчали мачты, как голые деревья.

И это вдруг снова зазвучало музыкой.

Рассказал герр Хакен про Фишдорф, это возле крепости, и про длинную песчаную косу Нерунг, за которой серело море. Указал здание казенной почты на Лицентштрассе, деревянную лоцманскую башню, бараки для морского гарнизона. На рейде высились боевые корабли названиями «Доротей» и «Руммельпотт», там же раскачивалась шнява «Литауер Бауер». От этого снова музыка зазвучала. Не зря, совсем не зря король Пруссии Фридрих I называл Пиллау своим маленьким Амстердамом.

Низкие пески, кустарник, перелески, обдуваемые ветром.

Под горою на развилке двух узких дорог стояла немецкая кирха.

В кирхе служил органист Ганс, с ним Зубов-младший в три дни сдружился.

Бледные волосы, бледная кожа, бледные, будто выцветшие глаза, но в глазах — отсветы, тоже бледные. Певчие, скрипачи, клавесинисты — Ганс в Пиллау всех знал. Любил играть пьесы некоего Баха — учителя певческой школы при церкви Святого Фомы в Лейпциге. Ноты привозили по специальному заказу, ими Ганс дорожил. Привлекло Зубова-младшего и то, что Ганс страстно мечтал сочинить бесконечный канон,

в котором конец мелодии опять и опять переходил бы в самое начало и бесконечно тянулся бы звук низкий, басовый, жалоба, стон, — бурдон, одним словом. Слушая Ганса, Зубов-младший думал иногда, что, родившись, молчал он, наверное, только потому, что сразу услышал донесшущую до него музыку. Теперь еще больше полюбил хорал, могучее хоровое песнопение во славу всего святого. Не портовых же шлюх славить. Когда Ганс с любопытством спрашивал: «Ты зачем в Пиллау?» — Зубов-младший неизменно с уверенностью отвечал: «Учусь многому».

В портовом трактире Зубов-младший полюбил сидеть у окна.

Прислушивался к голосам, думал, дивился тому, что с ним происходит.

Вспоминал Зубовку, Томилино. Лес, озеро, гуси, всякое такое, но поскотина завалилась во многих местах, повозки и телеги тонут в грязи, скотина снулая, у нее свой резон выглядеть снулой. И на польских землях наблюдал такую неустроенность, и Венеция прогнила. Зачем уезжать в чужой сырой город, если в Томилине можно дворы почистить, и сразу солнце иначе начнет светить. Если разобраться с соседями, то ездить вообще никуда не надо, любуйся сытой скотиной, построй хор.

С этими мыслями Зубов-младший отправил пакет кригс-комиссару господину Благову — с нарочным. Подвел в отчете итог тому, чему научился в Венеции и в Пиллау, получалось, правда, немного. Больше мысли по Уставу. «Ежели офицер товарища своего дерзнет бить руками или просто на берегу, тот будет лишен чина на время. А ежели кто на корабле сие учинит, тот лишен будет чина и написан в матрозы на такое время, как во суде определено будет». Конечно, знание Устава — большое дело, сам кригс-комиссар говорил. Ну а чертежи кораблей — этому Ипатич выучился.

Такие мысли успокаивали, ободряли, а тут очень ко времени Ганс напел гимн Пиллау, в котором Зубов-младший обратил внимание на слова: «Шторм от норд-веста янтарь приносит». От слов этих, как от нежных видений далекого Томилина, сердце защемило неясностью, ведь не только чудесный янтарь приносит шторм от норд-веста, но и разбитые корабли, груды водорослей, утопые души. Иностранные матрозы шумели за соседними столами. «Глория Шверидж!» Бог с ними, со шведами. Ипатич негромко напоминал: «Это офицеры прибыли на новый корабль, который скоро спустят на воду». Даже утвержденное название корабля знал: «Santa Profetia», то есть «Святое пророчество».

Зубов-младший терпеливо ждал сообщений от кригс-комиссара.

Однажды вечером в портовом трактире органист Ганс подробно объяснял Зубову-младшему и Ипатичу интересную вещь: оказывается, fuga строится вокруг короткой мелодии — темы. Ну, в октаву, не выше. И длинной может быть только в том случае, если имеет характер. А рядом вдруг громко уронили посуду, раздался глухой вскрик и сразу звон бьющегося стекла.

«Не оборачивайся, барин».

«Да почему не оборачиваться?»

Ипатич засопел, затрудняясь ответить.



«Это, Ганс, так у меня бережется Ипатич, — объяснил Зубов-младший поведение дядьки. — В Венеции мы видели, как на одном концерте какие-то праздные люди сломали виолينو некоему мастеру и сразу после этого бросились на барабанщиков и так их отделали, что ни одной целой палочки не осталось».

Как раз в этот момент Ганса ударили сзади, а другой человек с ножом кинулся на Зубова-младшего. Правда, сразу погасли почти все свечи, и стало непонятно, кто с кем дерется.

31.

А потом содержание совсем закончилось.

Зубов-младший отправил в Петербург еще одно письмо.

«Мы, — решил ничего не скрывать, — в Пиллау теперь прижились. Выучил у хорошего мастера немецкого весь фейерверк и всю артиллерию; а теперь нынче учу тригонометрию». Врал, конечно. Занимался Алёша изредка и не в полную силу, но почему не порадовать доброго господина Благова. «У нас немецкий мастер очень знатный, — подробно писал. — Уж на что Ипатич прост, а и он, не учась специальной грамоте, углы и всякую геометрию освоил. Только немецкий мастер за учение просит денег, требует с человека по сто талеров, так что прилагаю к сему роспись изученного».

Кригс-комиссар наконец откликнулся.

Для начала выразил досаду о долгом молчании.

Указывал: «Такое нестерпимо, чтобы ты и впредь долго молчал. Содержание получишь скоро. Понеже офицеры в Адмиралтействе суть люди приказные, указано срочно выбрать двух или трех человек лучших латинистов из средней статьи людей для того, что везде породные презирают труды, а подлый не думает более, как бы чрево свое наполнить, — и тех латинистов прислать в Пиллау для препровождения далее».

Ипатича письмо напугало, значит, он не все говорил Алёше.

«Из Пиллау указанным приказным следовать далее во Францию в порты морские, а наипаче где главный флот их, и там буде возможно и вольно жить волонтирами, буде же невозможно, то принять какую службу. Все, что по флоту надлежит на море и в портах, сыскать в книгах и перевести подробно на славянской язык простым штилем, чтобы дела не проронить. Потом отправятся они в Мардик, где новый канал делают, также и на тот канал, который из океана в Медитеранское море проведен, и в прочии места, где делают каналы, доки, гавани и старые починивают и чистят, чтоб они могли присмотреться к машинам и прочему».

Ипатич спрашивал: да какие же люди сюда поедут?

Зубов-младший обрадованно пояснял: военные да умные.

И читал вслух: «Не возбраняется приказным между упражнением в науках ради обновления жизненных духов иметь в беседах своих товарищей от лиц благоценных, честных; бывать с тщанием в комедиях, операх, со шпагою и пистолетом владеть, на коне благочинно и твердо сидеть, и в прочих подобных тем честных и похвальных обучениях забаву иметь...»



Вот и не терял время, обменивался с органистом Гансом художествами. В трактире садились в стороне от шведов, старались не слушать подлые речи.

«Витт вин!» Ну и пусть пьют белое. «Тапа вин». Ну и пусть разливают по бокалам.

Ганс приносил цветные картинки, похожие на жар-птиц и босоногих китайцев томилинских, но по-своему написанные. Ипатич в свою очередь на отдельных листках прямо на память выполнял подробные чертежики военного корабля «Santa Profetia», то есть «Святое пророчество», на котором плотничал. Переходы, и трапы, и снасть, и кройт-камера, упрятанная почти в трюм, — все у него легко получалось. Рассказывал Зубову-младшему про лесопильный завод, на котором бывал, про то, как ставят пушки на «Святом пророчестве». А органист Ганс услужливо подливал в бокалы вино и радовался тому, что родился в Пиллау, и хотел бы умереть в Пиллау.

«Так, наверное, и будет», — соглашался Ипатич.

«У нас, — с уважением сообщил Ганс, — старая Фогель больше чем в столетнем возрасте умерла. Правда, все же умерла, не сумела выжить. А прачка Элизабет Райке с третьего пирса вообще прожила еще более. От разных мужей имела Элизабет детей, которые тоже постепенно умерли, а до того жили совестливо. Так же и старая жена шкипера Шмидтке по имени Генриэтта...»

«Да зачем у вас бабы живут столь долго?»

«В море редко бывают, и опасностей меньше, — охотно пояснял Ганс. — Последний муж Генриэтты по имени Вильгельм Райхерман был знаменитым кровельщиком во всем округе. Если бы не ветер с норд-веста, жил бы и долее».

«Ветром с норд-веста, знаем, янтарь вам приносит».

«Истинно так. Но кровельщик не удержался, упал с крыши».

И опять в портовом трактире кто-то переворачивал столы, гасли свечи.

«Грисс энер!» Летели со всех сторон оловянные кружки, билась посуда.

«Стап миг!» — кричал кто-то из-под стола, ему прямо отвечали: «Свинпелс!»

До поры до времени драка как бы обтекала столик Зубова-младшего. Но вдруг вспыхивало: «Раккар!» Или кто-то вдруг вскрикивал: «Гитт авскуп!» Какой-то человек падал, не жалея топтали сапогами. «Шледдер, шледдер!» Звенели бутылки, являлись ножи. Никаких сопрано, женских голосов, тем более меццо. Зубов-младший зачарованно вслушивался в ругань и в шум, в голове все это красиво разделялось на незримые ручейки. Вот общий диапазон альтовой партии — фа-соль, нежность, нежность. А далее фа-соль второй октавы. Кто-то кидался к столику, но самых наглых Ипатич с левого плеча бил ножкой стула, благо ее уже отломили. «Шваль! Шледдер! Подонки!» — глупый тенор вдруг прорезался.



По характеру звучания — драматический. Зубов-младший поднимал задумчивый взор горé. Недавно на Раулештрассе в аптеке видел в склянке с мутным спиртным крупную сулескандру, ее иногда зовут саламандра. Даже эта крупная сулескандра в его воображении звучала сейчас как отдельный голос. И в драках ночных мужские баритоны и басы волшебным образом звучали — в большой, малой и нижней половине первой октавы, а иногда и в контроктаве.

«Стап миг! Стап миг!»

«Лицо береги, барин!»

33.

После очередного письма кригс-комиссара Ипатич уговорил Зубова-младшего сходить на верфь. Надо же что-то закрепить в голове, пока ее не разбили. В доках только что начатые корабли лежали как белые скелеты невообразимо крупной трески. Это так поразило Зубова-младшего, что прямо с верфи, взяв потрепанную карету, поехал он к Гансу. У органиста как раз сидела молодая родственница. Башмаки на тонкой подошве, белокурые волосы чисто вымыты, потупляет белесые глазки, на Матрёшу ничем не похожа, но как музыка может быть.

И с коштом дела наконец поправились.

Правда, тетенька отписала: больна сильно.

Спросил, а чем больна? Ответила: старостью.

Огорчился. А еще трактирщик без причин стал обижаться на Зубова-младшего. Вот только сядут он да Ипатич (тот Алёшу больше в трактир одного не отпускал) за стол, так тут и драка непременно.

«Да разве мы начинаем?»

«Важно, что вы заканчиваете».

А герр Хакен, крючок старый, заходил в комнату, чтобы посмотреть на глобус.

Пальчиком толкал ход, глобус крутился, и герр Хакен заворуженно ждал, какой стороной остановится круглая Земля перед его прокуранным пальцем. Чаще всего останавливалась — океаном. Глубины, наверное, страшные. Чудовища, наверное, ужасные. Майн готт, какой мир большой, удрученно качал головой герр Хакен. И смотрел на глобус так, будто это правда настоящий мир. Вот какие большие глубины, вон как рвет паруса норд-ост. Освеженную красным вином голову Зубова-младшего сладостно продувало музыкой. «Шторм от норд-веста янтарь приносит...» Янтарь, конечно, соберут, не оставят, а корабли лягут на дно. Алёша ясно представлял, как скелеты кораблей медленно врастают в придонный ил, как в сумерках идут над ними тяжелые рыбы.

«Хвалите имя Господне».

В дискурсах — разговорах — шло время.

Достали драки в трактире, но Ипатич и этому радовался.

«Раньше думал, — однажды признался барину, — что немец луну придумал, и музыку придумал, и пиво, чтобы специально русских от дела

отвлечь, от умения драться, а они, немцы-дураки, сами лезут и лезут, тут никак не отвыкнешь».

А потом еще одно письмо пришло из Санкт-Петербурга.

Строгое письмо. Такое строгое, что в тот же день Зубов-младший сказал Ипатичу: «Собирайся». И на другое утро, даже не попрощавшись с Гансом, погрузились на русскую шняву, как раз вошедшую в порт, и ушли в море, украденный в Венеции глобус земной оставив счастливому герру Хакену.

34.

На световом люке шнявы «Рак» (бывшая «Кревет») красовался девиз: «За процветание Пиллау». В июле 1718 года, выпалив из всех четырнадцати орудий, она наконец вошла в устье Невы, и Зубову-младшему показалось, что с низких берегов пахнуло назьмом. Но запах, конечно, был морской, водяной, и чайки орали, находя какое-то удовольствие у края холодной воды. Уже вечером кригс-комиссар Благов угощал возмужавшего Зубова-младшего романеей из личных запасов, присматривался и непонятно, но огорченно качал головой. Ипатича в гостиную не позвал, было видно — сердится. Значит, не все мне открыл Ипатич, ох не все, думал Зубов-младший, пережевывая грудинку, обжаренную на масле.

«Чему в чужих странах научился, о том тебя государь спросит, — помолчав, сказал кригс-комиссар господин Благов. — Мне ты и наврять можешь, поскольку не силен в морских делах. — Смотрел так, будто ожидал увидеть перед собой совсем другого человека. — Взбодри все, что изучил, в памяти. Вернулись недавно из Пруссии и Франции еще такие же, как ты, всего счетом десять человек. Не знаю, чему научились, сейчас главное войти в дело. Советую тебе сразу начать жить. Государю умелые люди нужны. Переговоры в Амстердаме между Куракиным Борисом Ивановичем (послом русским, это Зубов-младший знал) и представителем Швеции голштинским министром Герцем прошли очень хорошо, и проклятый Карла (король шведский Карл XII, это Зубов-младший тоже знал) убит при осаде крепости в Норвегии. Так что теперь особенно нужны государю знающие люди. Ждет возвращения слесарей, литейщиков, граверов, кормщиков. Сам испытывает каждого».

Мрачнел, вглядываясь в лицо Зубова-младшего.

Потом все же не выдержал, крикнул громко Ипатича.

Тот появился сразу, будто подслушивал за дверью — такой вид.

«Не только топор тупить, работать стилем и красками, еще и никакого послушания не следует себе позволять, — не глядя на Ипатича, сказал кригс-комиссар. — Хвалю, ты с барином не зря ездил. Слухи о тайном шведском корабле подтвердились. И название подтвердилось. “Святое пророчество”. Но ты-то, — мрачно уставился на Ипатича, — ты-то кроме указанного что вынес? — И не дал Ипатичу опомниться, спросил, явно проверяя слова Зубова-младшего, писанные им в отчете: — Ну, говори, чем занят, к примеру, боцман, что хранит в своих каморах?»

Ипатич ответил без всякого смущения:

«В каморах боцмана канаты, якори, анкерштоки, буи хранятся. Должен боцман приказывать сплейсывать канаты и класть в удобные места. Истаскивать якори тож и привязывать к ним буйрепы довольной длины, чтобы буи всегда поверх воды были. И когда корабль стоит на якоре, то должен боцман канаты осматривать и хранить от мочи человеческой под гальюном, дабы от сего они не перегнили и не порвались. И класть на оные канаты клейдинги, чтоб в клюйсьгатах не обтирались...»

«Молчи, дурак».

Ипатич послушно умолк.

«Все ли ты выполнил, что приказывали?»

Посмотрел с каким-то особым значением на Ипатича, и тот виновато и низко опустил голову, похоже, не все выполнил, что приказывали. Ох, знал Ипатич что-то важное, подумал Зубов-младший. Знал, знал, но молчал. В Венеции молчал и в Пиллау. Вот господин Благов и озабочен.

35.

Экзамен новоприбывшим назначили на шестое июля.

Ипатича одели как нужно, потому как обязан был присутствовать при Зубове-младшем, носить за ним чертежи и карты, показывать, если понадобится, морской инструмент, не бока же, в самом деле, отлеживал в чужих странах. Одели в длинный сюртук горохового цвета с огромными медными пуговицами, на ноги — синие чулки с красными стрелками да башмаки с пряжками. Рябой, как дрозд, стеснялся всех этих пуговиц да пряжек, но смотрел прямо. Усадили в стороне, а экзаменуемых в камзолах, при шпагах впустили в залу всех вместе, пусть показывают, что знают. Сам государь в форме шаутбенахта быстрым взглядом окинул собравшихся. Лицо нахмурено. Шаутбенахт, как адмирал в походе находится на головном корабле, обязан крепко следить за складывающейся обстановкой, — с первого взгляда выделил из собравшихся Зубова-младшего, круглое лицо государя изумленно дрогнуло. В голове новости о шведских фрегатах, виденных недавно чухонцами с берегов залива, а здесь лицо, которое никак не думал увидеть. Три фрегата в заливе, Парадиз открыт, русская эскадра в Копенгагене, а тут еще такое...

Больше не смотрел на Зубова-младшего, чувствовалось, что и не хочет смотреть.

События страшных последних месяцев стояли в голове. «Виновен», — повторил про себя, чуть шевельнув губами. «Виновен». Эти слова так и не выходили из головы. И пытаюсь забыть их, спросил у кого-то из новоприбывших, что он такое особенное купил и привез для русского Адмиралтейства.

Удивился: «Астрялябию? А владеть умеешь?»

«Углы беру», — несмело ответил новоприбывший.

Только после этого государь повернулся к Зубову-младшему.

Смотрел жестоко, пронизывал, рвал глазами. Вот стоит перед ним человек: лицо длинное, терпит взгляд. Ничего не возражает, но по всему видно — может возразить. Не по умыслу, так по глупости. Флотский офицер у входа напряженно ждал сообщений, посматривал на высокую дверь. Чухонцы денно и ношно следят за беспокойным заливом, чайку лишнюю не упустят, как же так — сразу три фрегата под шведским флагом! И где? Близко от Парадиза. Войдут в Неву, ударят из орудий. Это ли не слом всего? Что выставишь против боевых судов, кроме пары старых галер да шнявы «Рак», пришедшей из Пиллау, бывшая «Кревет»? Четырнадцать орудий и тринадцать фальконетов против всех пушек трех фрегатов? Этим испугать?

Государь не мигая смотрел на Зубова-младшего.

Какая дерзость — *похож*. Волосы прямые, лоб высокий.

Зоон, зоон. Больше не откликнется. Зоон, голландское слово успокаивало. Сын, сын. Нет сына. Правда, Господь ничего не делает просто так, значит, явление этого человека, так ужасно повторившего все черты мертвого царевича Алексея, тоже не просто так. Увидев шняву «Рак», шведы, конечно, не устроятся, разве что подумают, что за нею придут другие. Страшно дернулась щека. Обязательно так подумают, коли увидят на шканцах человека, столь схожего с царевичем. Не поверят в его смерть, такое увидев. Щека дернулась. Чему научился Зубов-младший в Пиллау и в Венеции, столько месяцев проведя на верфях? Поможет Бог — шведы явственно разглядят, *кто* перед ними. А если не разглядят, что ж, и на то воля Божья. Пройдут шведы в Парадиз — жизнь Зубова-младшего вообще потеряет смысл, будто ее и не было. Наверное, подробно учил Устав, но Уставом не воюют. Устав — это поддержка, костыль, чтобы не упасть. Зоон, царевич Алексей, тоже Устав знал, но ничему не верил, поэтому не славен.

Зоон, зоон. Нервный тик перекошил левую сторону лица. Кригс-комиссар господин Благов, видя это, замер. Рядом сидевшие офицеры боялись шевельнуться, знали: любой сбой, любая оплошность — и государь сорвется на крик. Мундиры и лица сливались, все казались одного цвета, так уплотнилась тишина.

Опять дернулась щека.

Уставился на Зубова-младшего.

«Эскадра в море. Коликое число кому во время ночное фонарей иметь?»

«У вице-адмирала два назади и один в марсе, — коротко и сразу ответил Зубов-младший. — У шаутбенахта один позади и один в марсе».

«А выдастся ночь без единой звезды, совсем темная?»

«Каждый шкипер зажжет фонарь назади, но поставит его выше обыкновенного».

«А караул у крюйт-камеры? Какой приказ дашь?»

«Как порох положится в крюйт-камеру, так прикажу надежных людей ставить в карауле при пороховом зелье. — Не зря, ох не зря, радовался про себя Зубов-младший, возил я с собою книгу Морской устав,



подаренную кригс-комиссаром еще в Томилине. — Сам проверю, чтобы в припасной шкиперской каморе, и там, где паруса лежат, и от крюйт-камеры до грот-мачты между кубриком и нижней палубой никто не жил и чтобы ни вин, ни водок там не складировалось. Прикажу часовому под смертною казнию не пускать никого, пока доподлинно не узнает, что приказ отдан шкипером».

Глаза государя потемнели.

«Прикажу надежных людей ставить...»

А где надежные люди? За каждым не уследишь.

Собираются наедине, говорят о страшном, опасном, в голову каждого не влезешь никак. Тайна исповеди до нынешних времен была — един тайный круг, иной поп знал больше графа Толстого. Это ныне Пётр Андреевич глубоко проник, но и он еще не всегда умеет разгадать мысли человека, решившего их спрятать. Здесь особенная, здесь страшная сила нужна. Мы нового человека строим. Новый человек не должен рождаться втайне. Новый человек строится как большой корабль — на глазах у всех, возносится высокими мачтами в небо, набирает рангоут, одевается парусами. Коль крепок, устойчив, так и пойдет в будущее, никакие шведские фрегаты ему не страшны. Но как верить отдельному человеку? Как обтесать его, как чудесную мраморную фигуру? Зачем Господь дает столь неумемное сходство человеку из малых?

Пламя бушевало в круглых, как у кота, глазах.

«...и следует в путеплавании держать журнал своего курса, — без особенной робости продолжал Зубов-младший. — Внимательно следить верный курс и ясно обозначивать на карте все пройденные места».

Верный курс? Выпуклые глаза государя страшно блестели. Желтое лицо наморщилося, мешки под глазами утяжелились.

«...подходы, камни, мели, всякие затопленные предметы — все точно отмечать и по возвращении указанный журнал подать для Адмиралтейской коллегии».

Неяркий свет падал сквозь высокие окна коллегии, офицеры и ученики в величественном зале казались совсем малыми величинами, но он, государь, опустил бы потолки ниже. Белесое небо Петербурха тем и хорошо, что оно низкое. «Виновен, виновен». С этими словами жил последние недели. Зоон, сын, виновен. Узкий в плечах, косицы падают на щеку. Смотрел на Зубова-младшего так, что казалось, паленым несет по зале. Только вчера, пятого июля, в Приказе Верховный суд окончательно означил: виновен! Царевич Алексей, наследник российского престола — *виновен!* Весь род Лопухиных надо было выжечь под корень. Озирали офицеров и новоприбывших. Румяные лица и истощенные. О чем такие лица говорят? Коли не верят государю, как будут добродетельны? В девяносто восьмом в октябре сам плакал в Новодевичьем монастыре, увидев сестру Софью, слабость проявил. А она, его родная сестра, зачинщицей смут была. Кто знал, кто догадывался, что зоон, сын, пойдет той же дорожкой? Не сводил глаз с Зубова-младшего. Совсем царевич, только зубы другие, выпячены несколько. Как такое вообще может быть?



Умертвлю, опущу в сосуд стеклянный, заспиртую, выставлю на общее обозрение, как некогда казненных после бунта стрельцов выставял на улицах и площадях.

Щека страшно дернулась.

«Никто не смеет стрелять по неприятелю через корабли Его Величества, которые случайно попадут между неприятельскими и своими кораблями...»

О чем Зубов-младший? Почему нет донесений от дежурного офицера?

Кто они все в этой зале? На кого можно опереться? Мы нового человека строим, Господи, дай сил. Если не верят, если ничто их больше не принимает, то чем их взять? Только страхом? Да, истинно только страхом? Но чем пространнее государство, тем больше не хватает страха, а чем больше не хватает страха, тем больше они все глядят на сторону. А Парадиз для кого строим? Мы же рай земной для них строим, чтобы выпустить наружу кислый застоявшийся дух боярства. Застонал от гнева. Зала сразу погрузилась в полную тишину. Мы каждого силой выталкиваем к свету на сквозняк, а они преют в собачьих шубах.

Сбрось шубу, дыши!

Парадиз в свете как ковчег встает над болотами.

В изумлении и бешенстве разглядывал Зубова-младшего.

Зачем приходит такой? Высок, худ, узок в плечах, лоб выпуклый, прямые волосы до плеч. Зоон, зоон. Истинный сын. Как переделать столь низкое существо, оторвать от корыта, выгнать пинками из хлева, вон же — смотри, как чудное море раскачивается до горизонта, все в свете, под белыми парусами. Дышал сверху на Зубова-младшего крепким кнастером, водочным перегаром, чесноком. Не солдат еще, не матроз, а взгляд прямой, о чем думает? Такой и на исповеди может солгать. Как проверишь? И какой он матроз, если года не служил во флоте? Бывалый матроз — он как фокусник может плясать на корабельных снастях, он может вниз головой стоять на верхнем марсе, а этот только твердит Устав.

«Никто не смеет стрелять по неприятелю через корабли Его Величества, которые случайно попадут между неприятельскими и своими. Никто так поступать не смеет под штрафом отнятия чина, ссылкой на галеру или потеряннием живота своего по рассмотрению дела. Под таким же штрафом не стрелять по неприятельским кораблям, у которых уже флаг спущен...»

«А коли свой испугается?»

«В этом едино: смертью казнить».

36.

Вот оно.

«Смертью казнить».

В девяносто восьмом молодых стрельцов, крапивное семя, во внимании к их возрасту пожалел, смерть отменил, они и выросли в памяти того, что было. Мало им резали ноздри, срубали уши, клеймили раскаленным

железом, мало кричали в беспамятные от боли глаза: вот зри, зри, будешь совсем новый человек, даже форма ушей будет иная. Кавалеры в париках, в цветных шелковых и бархатных кафтанах, в треуголках, в чулках и башмаках с пряжками — разве не новый человек? Каменный дворец с высокими окнами — разве изба с дымною печью? Не хотите принять — заставим. Отрыжка смертная, колесо с петлей, вонь подпаленной шкуры, все так, но ты на пышные букли смотри! Ты на высокие ботфорты смотри, на росписи стен, на зеркала в простенках, на восковые свечи, чудные немецкие приседания, эхо сладостных комплиментов. Сам каждого проверял, от каждого требовал: докажи! Перед каждым ставил по преступнику: внятно произнеси приговор и обезглавь виновного. Князь Ромодановский первый доказал верность — умертвил тяжелым топором четырех стрельцов. Алексашка Меншиков, князь светлейший, и того больше — отрубил двадцать голов. Князь Голицын оказался несчастливим, рука дрогнула, неловкими ударами значительно увеличил страдания им же осужденного, но доказал, доказал — верен.

«Аще беззакония назириши, Господи, кто за мной постоит?»

Феофан Прокопович умно подсказал, сочиняючи духовные стихи.

Так подсказал: в голову другого человека тоже проникнуть можно. Не чернь, а куртаг восторженных христиан, вот к чему мы стремимся. Конечно, священник не смеет нарушить тайну исповеди, но ты, государь, помазанник божий, ты прямая связь с небом. Новый человек светел и един, государство не гошпиталь для уродов. Вот доносят уже о поносных песнях. Поют в них будто о сыне и об отце. Поют о том, что отец сына на смерть отринул. Знают, знают прекрасно, что песня сочинена еще при Иоанне, прозванном Грозном, но что с того, поют.

Глядел на медленно бледнеющего Зубова-младшего.

В семьсот тринадцатом зоон царевич Алексей вернулся из-за границы — лицо длинное, просветленное, парик в буклях. С вниманием спросил зоона: «Не забыл, чему учился?» Царевич смиренно ответил: «Не забыл», а глаза испуганны, в перевозданной дикости выцвели от испуга. Так для чего ж был отправлен? Вина пить, слушать музыку? С терпением каждого поднимаешь над болотом — терпи, терпи, вот Парадиз твой, свет ясный, высокий, а они прыгают обратно в болота, в испарения, прячутся. «Ну принеси свои чертежи». А чертежей не было. Были вина красные и белые, музыка сердечная, книги будто бы мудрые, и все — ничего больше.

Немигающими глазами смотрел на Зубова-младшего.

Впредь всех дураков казнить. Из дурака умный не вылезет.

А в семьсот четырнадцатом зоон царевич Алексей уже сам в страхе без спросу выехал в Карлсбад, будто бы чахотка открылась. Но не болезнь, а страх, только подлый страх, слабость душевная гнали царевича. Кикин, денщик бывший, подсказал: «Беги, беги, тебе отец голову срубит». В Карлсбаде царевич пил неумеренно, вчитывался в старые церковные летописи, делал выписки. Когда позже на пытках спросили, что значат найденные в его бумагах выписки из римского ученого Варрона, зоон ответил: «Это желание видеть, что там прежде было не так, как теперь делается».



Вдруг явственно показалось, что перед ним — зоон!

Нет, не царевич. Он так смотреть не умел. И руки держал по-другому.

Мы дня не упускаем, чтобы заглянуть куда в Адмиралтейство, постучать топором, прикинуть умный чертеж, поспорить с Казанцем или с Федосом Складным. «Mein Herr captein un Fader». Они давно мастера, а государь для них и отец и шкипер.

Темно на душе, тяжесть большая, когда в наследнике не находим сочувствия.

И не потому не находим, что наследник глуп, а потому что труслив, любые военные занятия ему противны. Не осознает, что военная сила — главная опора благосостояния народа, не осознает, что в государстве главное то, что нравится самому государю. Специальное «Объявление» зоону написал. Закончил словами: подожду немного, а ежели не станешь другой, как член, пораженный гангреной, отрежу. Тогда-то бывший денщик Кикин и подсказал царевичу отказаться от престола, а глупый князь Долгорукий Василий Васильевич поддакнул. Где же надежные? Где? Мы строим, призываем, калечим и возвышаем, где вы, надежные, почему не рядом, почему не подставляете крепкое плечо? Вот и зоон ответил, что отказывается от наследства: умом темен, управлять народом не может, военный мундир ему ненавистен, а мила красная фризловая куртка и белые холщовые штаны. Напомнил сыну: тебя, зоон, большие бороды все равно принудят делать по-своему. Добавил: а нам? Как без тебя? Как строить новых людей из грибов поганок? Всяк человек — ложь, то еще Давид сказал. Зоон, помогаешь ли ты в трудах наших и печалях? Нет, не помогаешь. А времени больше нет. Или сделай себя нашим наследником, или иди в монахи.

37.

Ходил по морю на весельном боте.

Зимой приказывал прорубать в замерзлой Неве канал.

По этому каналу и зимой катался на катере, сам работая веслами.

Зоон, зоон, писал царевичу Алексею. Услышь, времени больше нет, незамедлительно иди в войско к нам или сядь в какой монастырь. Нет отклика. Никакого. Потому грешен. Поверил, а царевич вновь обманул, что вот-де едет в Кёнигсберг, а появился в Вене вместе с крепостной девкой Афросиньей, с братом ее и тремя слугами. Через вице-канцлера Шенборна просил у цесаря покровительства, жаловался на отца. В замке Эренберг в Верхнем Тироле по дороге от Фюссена к Инсбруку содержал при себе ту простую крепостную девку, она носила мужское платье. Вице-канцлеру жаловался, что не сам, не сам, это светлейший князь Меншиков его к дурностям питания приучил. Думал и далее остаться в замке, но прибыл в Вену чрезвычайный посланник государя — Пётр Андреевич Толстой. Голос добрый, движения мягкие, брови черные, густые, торчат вперед. Передал письмо от государя. В письме главное: вернись! «Обнадеживаю



и обещаюсь Богом и судом Его, что никакого наказания не будет, но лучшую любовь покажу тебе, ежели воли моей послушаешь и возвратишься. А ежели послушания не проявишь, то, яко государь твой, за изменника тебя объявлю». И Пётр Андреевич Толстой голосом вкрадчивым, добрым подтвердил: вернешься — будешь жить в тихих своих деревеньках, женишься на девке Афросинье, как тебе хочется. А не вернешься — отец войной тебя отвоюет.

Уговорил, убедил вкрадчивый Пётр Андреевич — царевич вернулся.

Третьего февраля в кремлевских палатах собралось духовенство и светские чины, явился государь. Зоон, зоон. Ввели сына в залу без шпаги, на коленях признал себя виновным, отказался от прав на престол, выдал помощников и радетелей. А после этого уже в Успенском соборе перед Царскими вратами, положив руку на Евангелие, окончательно отрекся от всех прав на русский престол. «Желаю монашеского чина». Что было ответить? «Это молодому человеку нелегко, одумайся».

Кто виновен в таких сомнениях царевича?

Да бывший денщик Кикин — главный советник к побегу.

И камердинер Иван Большой Афанасьев. И бывший учитель Вяземский. И Нарышкин Семён, и князь Долгорукий Василий, и тетка родная Мария Алексеевна. Все далеки от новых людей. Знал зоон, хорошо знал, что с ними со всеми станется, но на каждого показал. Страшно ломали бывшего денщика в Преображенском приказе. Зоон, зоон, ну почему глуп? Видел же ранее ломаные руки и ноги, обвислых людей на колах и виселицах. Лучше быть здоровым во цвете лет, жить новой подвижной жизнью, не среди попов и мечтателей, разве не так? Истерзанный Кикин на колесе стонал, молил отпустить душу на покаяние. Пожалев, приказал отрубить голову бывшему денщику и выставить посреди площади.

Жгли огнем майора Степана Глебова, имевшего тайную любовную связь с бывшей женой государя Евдокией, всего обожженного посадили на кол. Был майор жив целый день и всю ночь и умер только перед рассветом, немало распотешив зевак своими страданиями. Колесовали упрямого ростовского епископа Досифея, за то что поминал Евдокию царицею, пророчил ей сладкое будущее. Казнили духовника Евдокии, наказали кнутом монахинь, угодивших ей. А когда привезли в Петербурх крепостную девку Афросинью, с которой царевич Алексей сваялся еще до побега в Вену, та в смертном ужасе показала, что зоон писал цесарю жалобы на отца. Еще показала, что зоон писал русским архиереям, чтобы они письма эти срамные подметывали в народе, даже показала, что ждал зоон смерти отца или бунта.

Суд собрав, потребовал вершить дело царевича Алексея не флантируя и не похлебуя ему — государю. «Несмотря на лицо, сделайте правду, — сказал, — не погубите душ своих и моей души, чтоб совести наши остались чисты в день страшного испытания и отечество наше безбедно».

Духовенство дало приговор уклончивый.

Как всегда, ссылалось на выписки из Священного Писания.
 Вот-де «сердце царево в руке Божией есть; да изберет тую часть, амо же рука Божия того преклоняет!»

Но светский суд рассудил проще. Могли напомнить государю, что дал свое царское обещание сыну через Петра Андреевича Толстого: не будет, зоон, тебе наказания, коли вернешься, но испугались, смолчали.

Государь смотрел на Зубова-младшего в смятении.

Зачем природа *такое* делает? Неужели вечно будет напоминать?

Нет, решил, истинно умертвлю, всажу в банку со спиртом. Зоон не вернется, умер после пыток. Второй раз зоона не убьешь, если и был виноват. А зря, зря, надо бы убить еще раз, это убеждает. Чем жестче, тем светлей. Должны наконец все эти попы, бояре, вельможи понять, догадаться, что они уже на полдороги к божественному, Парадиз строим. Помочь, помочь им. Резать бороды и тащить на пытку. Выламывать руки и толкать в рай. Кто устоит перед большими светлыми переменами? Румяный Феофан Прокопович — епископ Псковский и Нарвский не зря сочинил указ о доноситељстве священников.

38.

Кто крепок, на Бога уповая,
 Той недвижим смотрит на вся злая.
 Ему ни в народе мятеж бедный,
 Ни страшен мучитель зверовидный.
 Не страшен из облак гром парящий,
 Ниже ветр, от южных стран шумящий,
 Когда он, смертного страха полный,
 Финобалтицкие движет волны.
 Аще мир сокрушен распадется,
 Сей муж ниже тогда содрогнется.
 В прах тело разбьет падеж лютый,
 А духа не может и двигнути.
 О боже, крепкая наша сило,
 Твое единого сие дело.
 Без тебе и туне мы ужасны,
 При тебе и самый страх не страшный.

39.

Смотрел на Зубова-младшего.
 Мало, совсем мало людей знающих.
 Приглашать немцев дорого. Своих растить сложно.
 Краем глаза увидел: офицер шепнул несколько слов дежурному.
 Тот незаметно кивнул кригс-комиссару, а офицер у дверей ждал ответного кивка, может приказа, потому что подтвердилось наконец сообщение о шведских фрегатах. Скрытно крейсируют в заливе, вдруг осмелятся войти в Неву? Погромят Парадиз из всех пушек. Сейчас и



выставить против них нечего, кроме пары старых галер да шнявы «Рак», пришедшей из Пиллау, бывшая «Кревет». Круглые глаза государя не мигая смотрели на Зубова-младшего. Так схож. Как брат единокровный. Всяк должен пойти в дело. Пусть шведы увидят на шканцах будто бы воскресшего царевича Алексея. Неужто не изумятся? Что значит сие? Шкипер шнявы «Рак» осторожен, знаю его по Гангуту. Он, увидев чужие паруса, наверное, отвернет, как его учили. Он, наверное, пойдет под охрану береговых батарей, а шведы за ним в Парадиз — прямо по пенному следу, промерять фарватер не понадобится. А вот Зубов-младший не посмеет. Знает, знает: слушание — грех. Слушание — отказ от нового человека. Слушание — отказ от великих побед, виватных кантов, сияния восковых свеч и всего прочего, и от каменных дворцов Парадиза, от Полтавы и Нарвы.

Смотрел на Зубова-младшего, явственно представляя, как, шипя, упадут первые гранаты на палубу шнявы «Рак». Победить нельзя. Шнява и три фрегата — ну никак победить нельзя. Но главное сейчас не в этом, главное — избежать поражения. Вот что должен понять Зубов-младший. Даже смерть человека с лицом царевича Алексея может утвердить нового человека. Не будет Санкт-Петербурга — не будет нового человека. Снова придут большие бороды, рассядутся по скамьям, зашуршат попы. Так больше нельзя, надоело равенство нищих духом. Мы режем гнилое мясо, боль и крик нам привычны, так должно быть. Есть на свете Зубов-младший или нет его — это ничего не меняет. А вот стоят над рекой дворцы Парадиза — это меняет саму историю. Зоон не устоял, слаб, слаб, пусть устоит Зубов-младший. Для чего он нужен, кроме нашего утверждения? Коли порода новых людей уже начала проявляться как глиняное подобие высшего, то далеко ли до истинных мраморных статуй — живых, в сиянии?

«О главо, главо, разума лишившись, куда преклонишь?»

Прошелся взглядом по собравшимся в зале. Кто поверит, что без государя будет рожь созревать, яблони цвести, рыбы и раки плодиться? Никто. Вон замерли. Чего каждый из них отдельно стоит? Чем проверен? Матроз, не прослуживший хотя бы пять-шесть лет на море, — не матроз, и шкипер, ни разу не управлявший кораблем в бою, — не шкипер.

Зоон, зоон. Мотнул головой как лошадь.

С таким ужасным сходством, как Зубов-младший, нельзя жить на свете, тем более в Парадизе. Увидят на набережных, слухи пойдут. Вон, заговорят, идет наследник трона, опора государя, жив! Не сводил глаз с Зубова-младшего. Не родовит. Опасно похож. Но чему-то научился в Венеции и Пиллау, пусть докажет. Не на куртаге в дыму при свечах, а на горящей шняве перед вражескими фрегатами.

«Волей моей выйдешь в море, Зубов».

Дергалась щека. Близко наклонился к Алексею.

В коллегии стояла мертвая тишина, потому слышали каждое слово.

«Выйдешь на шняве “Рак” в самых сумерках, чтобы у шведа страху родилось поболее. — Страшно откинул назад голову. — Уставом нас не

пронять, пройми отвагой. — Прошелся взглядом по замершим ученикам, снова уставился на Зубова-младшего. — Шнявою “Рак” заткнешь горло Невы».

А про себя думал, все думал, лихорадочно собирал мысли, щека дергалась, голова клонилась налево. «Смертью казнить». Думал, какой смерти заслуживает Зубов-младший за столь нелепое, столь опасное сходство.

Так решил: исключительно величественной.

А вслух добавил: «Возьмешь шняву “Рак”. Не буду хвалить, не лучшая. Но мы под Азовом и на худших учились. Матрозы на местах, шкипер пойдет под твое начало, Зубов. Чему учился, все теперь покажи».

И спросил: «Сколько сможешь задержать шведа?»

Зубов-младший ответил: «Сколько могу».

Злобно дрогнул усами:

«Надо дольше».

40.

пыщь

41.

Карету на набережной догнал верховой от кригс-комиссара.

Передал пакет под сургучом для шкипера шнявы и смотрел так, что видно было — прощается. Еще точнее, прощается навсегда. Смотрел со скрытым страхом. Чувствовалось, что не раз видел царевича Алексея, теперь смущен, неужто все-таки впал царевич в отцовскую веру, неужто основы прошлого вновь потрясены?

Смеркалось. Горели фонари. На Неве шнява раскачивалась у причальной бочки.

Высокое рангоутное дерево в паутине снастей, в облупленной позолоте клотики. На фоне серой реки шнява показалась Зубову-младшему незнакомой, торжественной, будто с неких пор населена не матрозами и крысами, а дивного свету полна.

И длинный росчерк мачты на низком небе пронзил.

И нежная темно-позеленелая дева на бушприте.

И девиз: «За процветание Пиллау».

В переходе из Пиллау в Петербург ни Зубов-младший, ни Ипатич несколько не страдали морской болезнью, так природа расстаралась. Зато Зубов-младший вспомнил про сильную течь, это надо проверить. Еще вспомнил, что шкипера звали Никитский или даже Никишев — грубый, хриплый, в голландской кожаной куртке. С Зубовым-младшим он несколько не сблизился («кантонист»), но Ипатича терпел, тот не гнушался помогать судовому плотнику. Хоть весь Устав отрететируй, такой вот опытный шкипер Никишев по первым движениям, по первым взглядам определит ничтожество присланного ему человека или напротив — достоинство. За весь переход до Парадиза ни о чем не спросил Зубова-младшего, к столу не приглашал, это тоже о многом говорило. «Кантонист».



Считал шняву достаточным судном, другого все равно нет. Две мачты с прямыми парусами, на носу морская дева без одежд, только с золотой сеткой на голове, совсем позеленела от волн, и голова и груди — все зеленое. Грот-мачта и фок, а третья — ложная, называют трисель, шняв-мачта. Водоизмещение под сто пятьдесят тонн, экипаж — пять десятков матрозов людей, да еще десяток присланы на борт «Рака» за разные происшествия. Судя по лицам, все одинаково достойны смерти.

Рядом на воде раскачивалась на волне галера с обсушенными веслами.

По тридцать восемь весел с каждого борта и две съёмные мачты с косым латинским парусом. Зубов-младший беспомощно покачал головой. Небогата оказалась защита Петербурха, такой страшный выпал час, кто-то головой поплатится. Со смирением подумал: наверное, я заплачусь. Увидел на носу галеры три медные пушки, на куршее стояла еще одна — двадцатичетырехфунтовая, главная. Флотская прислуга на галерах прикрывается в бою оградой из тюфяков и старых снастей, а посреди — дощатый помост, та самая куршая; по обоим бортам банки для гребцов. Под банками ступени, к которым приковывают ногу гребца. Так что, может, еще не самое худшее выпало.

Человек, подумал, существо неравномерно одушевленное.

Человек способен и на божественные озарения, и на долгое прозябание.

Шняву за время перехода из Пиллау изучил изрядно. Матрозам, как и везде, на «Раке» жилось трудно. Помещались в трюме среди бочек с водой. Бочки от качки давали течь, вода смешивалась с песчаным балластом. От гнилых рогожных кулей с провиантом распространялся запах, правда, ни сами матрозы, ни крысы этого запаха не замечали, привыкли к тому, что сухари вечно покрыты плесенью.

Шкипер Никишев молча взломал сургуч.

Он узнал Зубова-младшего, но виду не подал.

Прочитав приказ, поднес руку к голове: командуйте.

Но Зубов-младший сразу его остановил: нет уж, господин шкипер, это вы командуйте, снимайтесь с якоря, вам привычней, Нева все же, по ней идти нелегко, остальное обсудим по ходу. И прошел в каюту шкипера, решив сразу вести себя определенно, чтобы никаких толков не возникло. Закрывая дверь, услышал голоса и, пораженный, остановился, даже выглянул. Какие разные голоса. Матрозы бежали по баку с ганшпугами в руках, видимо, якорь уже вставал из воды, а с набережной по трапу поднимали сумы, походный сундук, шел с картами в руке горестный Ипатич, понимал прекрасно, что кригс-комиссар уже ничем не поможет. Впрочем, Зубов-младший на Ипатича и не смотрел, он вдруг увидел, узнал среди матрозов француза в совсем обносившемся платье. Бывший кавалер Анри Давид вместе с другими тянул тяжелый канат, давно, наверное, вылетела из головы девка Матрёша и счастливые дни в Томилине. Вот знак: никто не может уйти от установленного, опять подумал Зубов-младший. Опять странно соединились в этой жизни — он сам, Ипатич, француз. И не только воспоминанием о девке из деревни Томино.

Приняли пресную воду, людей.

Выйдя в залив, сразу почувствовали волну.

Шкипер гюйс-пеленгами определял пройденные места на карте.

Расположившись в низком кресле, обитом вылинявшим серым сукном, Зубов-младший внимательно прислушивался к громким незнакомым голосам на палубе. Молчал, думая этим польстить Никишеву, который, похоже, совсем не собирался идти на смерть, по крайней мере, в глазах ничего такого не читалось. Но когда, раскрыв судовой журнал, вписал как бы свое собственное богатое размышление: «Погода обещает быть бурной», шкипер журнал отобрал, заметив неласково: «Пишем что наблюдаем, а чего не наблюдаем — того не пишем».

Пусть так. Пусть море и волна.

Пусть голоса на палубе и фонаря свет.

Все это постепенно сливалось в некое звучание.

Нет, это еще не была музыка, какая музыка? Просто отовсюду доносилось что-то еще не совсем внятное, имеющее смысл не в отдельности, а как бы вместе. Задумался: это же странно, почему, зачем француз на шляпе? Наверное, определен на исправление. Наверное, мечтает быть отпущенным на свободу. Наверное, обещали отпустить, если выживет. Но выживет — вряд ли.

Медленные мысли тянулись, как за кормой светящаяся полоса.

Шкипер Никишев... Дядька Ипатич... На палубе боцман с линьком... Бывший кавалер Анри Давид... Матрозы... Догадываются они, что впереди смерть? А если догадываются, приходит ли в их лихие головы то, что смерть не в шведах, не в море, не в протекающем судне, а в нем — в Зубове-младшем? Вот он всего лишь сидит в тесной каюте, молчит, глядя на шкипера в кожаной голландской куртке, а на самом деле ведет всех к смерти — и матрозов, и боцмана, и француза Анри, даже Ипатича. Когда вышел на шканцы, боцман внизу, подняв голову, произнес что-то. Узнал? Какой-то матроз окликнул француза, но тот оборачиваться не стал, с него хватит. В самом деле, приехал в Россию быть управляющим, а таскает канат по какой-то шляпе.

Море тусклое. Ветер налетает порывами. На баке, привязанный к рыму, большой лапчатый якорь уснул. Матрозы, увидев Зубова-младшего, враз оживлялись. Что-то свое было им известно. Шкипер тоже смотрел необычно, только не заговаривал. Почему у него такой вид? Даже вблизи Петербурха шкипер готов был к большим неприятностям, а теперь совсем помрачнел. Осмыслил, наверное, приказ из пакета, по которому господин Зубов-младший получал всю власть на шляпе; если понадобится, он теперь и самому шкиперу прикажет карабкаться по вантам. Вид у шкипера правда такой, будто поставил шляпу на нечистый якорь, будто канат намотало на лапу якоря и он нисколько не держит судно. И что с того, что на самом деле «Рак» шел под ветрилами и тяжелый якорь благостно лежит на баке, даже обсох, — лицо шкипера казалось тусклым.





Не глядя на Никишева, Зубов-младший пощелкал пальцами:

«Этого высокого бомбардира...»

«Васильев», — подсказал шкипер.

«Этого бомбардира Васильева держать в безопасном месте».

«В каком же? — удивился шкипер. — Почему не рядом с орудиями?»

«Возле орудий убить могут».

«Убить везде могут».

«Но не везде сразу».

«Только Господь знает, кого, где и как».

«Иногда самому Господу помогать надо».

«Да зачем такое послабление бомбардиру?»

«У него бас».

«Ну и что?»

«У него бас профундо».

«Что значит сие?»

«Бас низкий».

«Что с того?»

«Как мне без баса хор составить?»

Шкипер Никишев изумился. Серое лицо сморщилось.

Явно не мог поверить сказанному. «Как сметь ослаблять струну, которая составляет гармонию всего тона?» Никак не мог осмыслить услышанное. Вглядывался в Зубова-младшего, видел выпуклый лоб, прямые волосы, *узнавал, узнавал*. А вот и узнал окончательно. Сразу поклонился, невзирая на то что матрозы внизу смотрят на них. И ветер крепчал. Пену срывало с гребней. Низко опускалось небо, полное грозного величия.

43.

Почти неделю нарезали углы в заливе.

Почти неделю Зубов-младший вылавливал, сортировал голоса.

Никаких приказов шкиперу не отдавал. Пока нет опасности, все само собой делается. Поглядывал на люк «За процветание Пиллау», вел тайный розыск, слушал небо, море, мачты, хлопанье парусов, искал, все время искал, потому что не хватало ему теперь высокого мужского голоса. Прислушивался ко всем, к каждому, кто даже вскрикнет в страхе или в ярости. Мысленно выстраивал будущий хор, в котором нашлось бы место и бывшему кавалеру Анри Давиду, и басовитому бомбардиру Васильеву, и матрозам-тенорам Казакову и Сенину. Не замечал взглядов шкипера Никишева, так и не понявшего, зачем поднялся на борт его шляпы человек с длинным лицом, с несколько выступающими зубами, выпуклым лбом и с такой грозной бумагой. Похожесть Зубова-младшего на известную персону совсем сбивала шкипера с толку. Он изнемогал от непонимания, ведь спросишь что не так, снесут голову. Даже обрадовался, когда вахтенный заметил паруса в западной части залива.

Через три часа открылся под ветром треугольный флаг.

Как и ожидалось — чистого синего цвета с желтым крестом.

От клотика до ватерлинии отражался в плавной воде низкий пузатый шведский фрегат, в погоню за шнявой не двинулся, не торопился, может, опасался засады, а может, ждал остальных судов. Но сразу видно, что ход имеет более мощный, коли понадобится — враз догонит.

Обрасопив реи по ветру, медленно шли параллельным курсом.

Шкипер молчал, посматривал на Зубова-младшего, матрозы тоже примолкли, но без должного испуга. Думали, наверное, если уж такая важная персона на борту, то кто ж допустит отдать врагу? Что-то не умещалось в их простых головах.

А Ипатич в каюте, как когда-то в Венеции, пытался упасть в ноги.

«Прибью», — предупредил Зубов-младший.

«И этого достоин».

Были вдвоем. Шкипер Никишев расставлял людей по нужным местам, прикидывал расстановку у пушек и фальконетов.

«В чем виноват, Ипатич? Кайся».

«Не мог раньше сказать, господин кригс-комиссар требовал».

«Чего не мог сказать? И почему сейчас скажешь?»

«Потому и скажу, что не вернемся мы».

«Почему так думаешь?»

«Сердце чует. — И, помолчав, объяснил наконец, длинно, без передыха, как когда-то Марья Никитишна в Томилине говорила. — Был приказ изувечить тебя барин а мне нисколько не мешать мол кинутся сказали никому не мешай а кинутся везде могли сам знаешь потому не отсылал писем в Венеции а когда спустил человека со шпагой с моста этим не позволил допустить вреда тебе а в Пиллау сам помнишь не допускал к тебе в корчме ни единого человека с ножом или разбитой кружкой хотели испортить тебе лицо отправить в гошпиталь для уродов чтобы ликом своим не мешал жить другим более нужным людям которые выше как архангелы барин не знаю простишь ли?»

Зубов-младший удивился: «Убить хотели?»

«Нет, не убить. Такого не приказывали».

«Что же тогда?» — все еще не понимал.

«Испортить лицо. Ты неправильно лицом вышел».

И вдруг перешел Ипатич на простой, понятный язык.

«Не знаю всего, но скажу что знаю. Господин кригс-комиссар с самого начала был озабочен сильной схожестью твоей с известной персоной. Считал, так нельзя. Живого человека не спрячешь, слухи пойдут, спросят, зачем такого держишь, тайные помыслы лелеешь? Потому и отослал подалеже по воле государя».

Не выдержал, опять заговорил как Марья Никитишна.

«Куда б ни пришли найдутся такие кому пара монет стоит больше твоего лика махнул ножом крови немного нос рассечен брови может глаз выткнут так станешь сам собою барин никакого сходства ходи где хочешь одним оком можно видеть не меньше чем двумя не убить нет не убить что

ты что ты государю люди нужны а ты в рассеянности своей про лик свой думать не хотел вот и хотели уши ссечь или там глаз вынуть ведь люди и без рук-ног живут».

«И ты знал?»

«В колени паду».

«Не смей. Все под Богом».

Не стал объяснять своих слов.

«Молись, чтобы теперь всем лиц не испортило».

И приказал: «Строй команду на палубе». Как отпустил грехи.

Сам дивился своему спокойствию. Это, наверное, потому, что снова звенела в голове чудная музыка. Как в далекой Зубовке, как в Томилине, как в Венеции и Пиллау. Кроме вахтенных, на палубе всех построили. Шкипер Никишев стоял в стороне с кортиком на поясе, всегда готовый вмешаться. Лицо злое, голландская куртка затянута. Зубов-младший шел вдоль строя, будто часто так делал. В голове неясно проносились слова некоего возможного виватного канта. Правда, сначала следует одержать победу, говорил Антонио. Шел, негромко спрашивал: «Кто?» Прислушивался к ответу. Если голос звучал невнятно, мог повторить: «Кто?» Перед бывшим кавалером Анри Давидом подумал: не узнает. Но француз узнал, не мог не узнать, многому научился на русской службе, особенно молчанию. Вот рос в деревне за Нижними Пердунами некий мальчик Алёша, вырос царевичем. Такое и у французов случалось.

Глядя на матрозов, приказал: «Поменять строй».

Боцман взмахнул линьком: «Быстро!»

«Нет, не так. По-другому станьте».

«По чину? — не понял боцман. — По рангу?»

«Ну, если по чину, то скорее по ангельскому».

«Это как?» — Боцман непонимающе обернулся к шкиперу.

Никишев промолчал, и боцман опять начал орать на матрозов.

А вот Ипатич понимал. Он все понимал, потому и пользовался особенной доверенностью кригс-комиссара. Понимал, потому и смотрел неодобрительно. Помнил по возвращении Зубова-младшего гнев господина Благова, узнавшего о главном его увлечении за границей. «Как говоришь? Церковные хоры? Кабаки? На верфь ни ногой, от свежего дерева тошнило?» Не мог поверить такому. «Значит, ты шел на верфь с топором, а он в кабаки да церкви?» Стучал в непосильном гневе деревянной ногой по деревянному полу. «Разве совершенен трубадур, поющий любовь греховную? Музыка влияет на нравы людей, и потому не всякая музыка должна допускаться».

44.

А шведский парус исчез.

Ушел фрегат или отнесло течением.

Зато шнява «Рак» больше не рыскала, так и шла на вост.

И не ошиблись, нисколько не ошиблись, — к вечеру насчитали вдали сразу три синих флага с желтыми крестами. «Погода обещает быть

бурной», — опять записал в журнале Зубов-младший, и шкипер Никишев опять отобрал журнал. «Пишем что наблюдаем, а чего не наблюдаем — того не пишем». Хотя погода правда менялась. Волны укоротились, шли одна за другой косые, смазанные. Над ними облака плыли, похожие на те, что Алёша Зубов когда-то рисовал в заветной тетрадке. За прикрытой дверью шкипер Никишев и Зубов-младший при Ипатиче (таков был строжайший наказ кригс-комиссара: все совершать и решать только в присутствии Ипатича) обсудили план действий.

Шкипер сказал: «Выиграть нельзя, мы на такое неспособны».

Зубов-младший ответил: «Меня интересует не то, на что мы неспособны, а то, на что мы способны».

Ипатич кивнул: «Скоро о себе все узнаем».

И пояснил свои слова: «Вот подойдут сразу три фрегата».

Шкипер ревниво возразил: «Я бы на шняву сразу три фрегата не повел. Мало для славы».

И оказался, конечно, прав.

Крикнул с мачты впередсмотрящий:

«Одиночный флаг с норд-норд-веста!»

Через некоторое время в подзорное стекло разглядели название фрегата — «Santa Profetia». Совсем правильно перевели как «Святое пророчество». Шкипер Никишев по этому поводу мрачно заметил: «Что нам сие судно пророчит, уже догадаться можно». А Ипатич посмотрел на Зубова-младшего. Он ведь на верфи в Пиллау как плотник немало поработал на «Святом пророчестве». Напомнил Зубову-младшему: «Крен у фрегата на правый борт. Они его, похоже, балластом выровняли». И, почувствовав острое недоверие шкипера Никишева, добавил: «Я сам работал на постройке этого фрегата, можно сказать, собственными руками строил».

«Ты? — не поверил шкипер. — Строил шведский фрегат?»

«Истинно так. С топором в руках побывал во всех трюмах».

И подробно описал все, что помнил. В судовом журнале на отдельном листе отобразил чертежик «Святого пророчества». Переходы и трапы, снасть, крюйт-камеру, упрятанную почти в трюм. Пояснил пораженному шкиперу: тридцать восемь пушек — сей фрегат не только для разведки построен. Малая осадка, значит, рассчитан для действий на мелководье. Борта выпуклые, низкие. На такой борт, глянул Ипатич на шкипера, забросил крючья — и беги на палубу. Если притвориться робкими, слабыми — они, может, сами впустят. Шведы жадные. Им, чем жечь чужое, лучше забрать себе. Для случая вспомнил свенские слова «смутсига грис», «авскуп», «слампа фликка», но Зубов-младший указал: «При нас не ругайся». А серые глаза шкипера Никишева зажигались все большим и большим предубеждением — не столько к чужому фрегату, неторопливо с небольшим креном на правый борт продвигающемуся к жертве, сколько к человеку с лицом царевича Алексея. Мелькнула в голове безумная мысль арестовать обоих, как за измену. Но ведь от судьбы не уйдешь, судьба сейчас — это фрегат под флагом с желтым крестом. Через пару часов нагонит, разгромит одним залпом с борта.

Да как разгромит? Царевич же на борту.

Совсем запутался, не понимал, кто эти люди в его каюте?

Зачем они сами строили фрегат, если теперь приказано с ним сражаться?

В июне семьсот четырнадцатого шкипер Никишев уже видел такие вот синие с желтыми крестами флаги. Намертво отрезанные от моря шведами, русские галеры у мыса Гангут терпеливо ждали, когда придет сам государь. Он и прибыл. И сразу всех напугал приказом. С той же растерянностью, как у мыса Гангут, шкипер сейчас смотрел на Зубова-младшего. Если безумие царской крови не является обыкновенным безумием, то оно, верно, впрямь *высокое*. Как иначе? Перешеек в Тверминне на мысе Гангут составлял тысячу с лишним сажений, только государь мог решиться на приказ — перетащить галеры от воды до воды посуху. В отчаянье приступили к постройке помоста, к счастью, некоторые корабли шведов отошли, и государь приказал готовиться к прямому выходу из бухты. Шкипер Никишев хорошо запомнил тот день. Штиль упал. Заметив гребные русские галеры, шведский адмирал Ватранг приказал кораблям сниматься с якоря, но ветра не было. Не оказалось в парусах ветра.

«Расположение всех палуб на “Святом пророчестве” мне хорошо известно, — негромко указал Ипатич. — Знаю каждый переход, каждый люк. Фрегат этот нашими пушками не утопить, и оторваться на шняве никак не можем. Взорваться тоже нельзя, не подпустят нас к борту. — Помолчав, добавил: — А вот шлюпки допустят. Если выкинем белый флаг».

Шкипер на такие изменнические слова пораженно промолчал.

«Конечно, все умрем, наверное, — смиренно признал Ипатич, поглядев на Зубова-младшего. — Но у нас смерть везде. И в Петербурхе и в заливе. Правда, в Петербурхе самая позорная. Я знаю этот фрегат, сам расскажу о нем матрозам. Главное, подойти к борту. Уверовав в нашу сдачу, шведы сбросят лестницы и канаты, увидев, что шнява тонет. Откроем течь, даже для верности подставим себя под первый удар, а когда собьют флаг, бросимся в шлюпки и полезем на борт «Пророчества». Они посчитают — мы оробели, мы сдаемся, а мы убьем всех, кого сможем убить».

45.

чяп-чяп

46.

Ипатич еще объяснял, кому и куда бежать на чужом фрегате, куда спускаться, какие люки первыми захватывать и запирать, а с фрегата уже метали бомбы. Они падали в серое море, отчего тысячи рыб будто сами выпрыгивали из воды.

«Помолись, Ипатич, — сказал Зубов-младший. — Твоя молитва доступнее к Нему».

А шкипер в полный голос скомандовал: «Шапки долой! Призывай Бога на помощь».

Ветер стих. Небо пылало в закатном огне, как та картина в Томилине, на которой в повозке, влекомой огненными конями, истинный герой в шлеме взмахивал коротким мечом. Ударили пушки с бака шнявы. Бомбардир Васильев кричал что-то знатное, басовый голос вписывался в закатное небо, пугал Зубова-младшего: вдруг все сорвется, увлекутся, начнут стрелять, убьют Васильева, упустят момент «сдачи», никто ведь не говорил, что все получится по желанию Ипатича. Но загрохотала перебитая цепь — это сам собой пошел на дно якорь. Шнява медленно, как неживая, ползла по воде среди фонтанов от бомб и ядер. Паруса болтались рваными тряпками, сверху сыпались обломки рангоута, некоторые дымили.

И вдруг стихла стрельба, будто этого ждали.

Полуразрушенная, накренившаяся шнява ползла по длинной волне как раздавленный рак под остывающими пушками фрегата. Кто-то стонал, кто-то прятался у низких бортов. «Разобрать кортики!» А сигнальщик по приказу шкипера Никишева уже отмахивался флажками, давал знать шведам, что русская шнява тонет, давал знать, что русские матрозы отдают себя во власть победителей.

«Кричите: ги апп, сдаемся».

Ядро, как лист с дерева, сорвало обрывки фока.

Драйвер-рей и гики летели вниз, сбило деревом бывшего кавалера Анри Давида, он лежал на палубе неподвижно. «Лучше б его убило, — безжалостно сказал шкипер Никишев, раскуривая короткую трубку. — Если ранен, уйдет на дно».

«Не уйдет. Он еще петь будет».

«В адской капелле?»

Отвечать было некогда.

Шлюпка раскачивалась на воде, в нее прыгали, падали матрозы, некоторые окровавленные, упал бомбардир Васильев. Престо, престо! — металось в голове Зубова-младшего. Престо, престиссимо. Никаких перепоночных инструментов, на шведском корабле били отступную дробь. Молоточки, колотушки, палочки — все пока звучало смазанно, в недопонимании, но издали будто уже несло и фанфарный звук — смущенно под кровавым небом. Матрозы суетились как курицы, только крыльями не хлопали. Ипатич орал по-русски: «Не показывать кортики!» Пусть видят шведы — таких робких матрозов совсем и бояться нечего. Складывал ладони рупором и кричал по-шведски: «Ги апп! Сдаемся!» Впрочем, на «Святом пророчестве» уже догадались, что сдаются. Наклонялись с бортов, улыбчиво склоняли курчавые парики. Первыми ухватились за борт Ипатич и бомбардир Васильев, тогда как шкипер и Зубов-младший все еще не могли покинуть неуправляемую никем шняву.

Не раздумывая работали кортиками матрозы.

Тутти! Тутти! Потом адажио. Зубову-младшему продувало голову ледяным сквозняком. С аллегро на виво, с аллегро модерато на анданте.

Тутти! Вот уже все матрозы рассыпались по палубам фрегата, рассосались в его переходах, испачканных кровью. Ужасный выкрик возник, в хоре такой невозможен. Кто-то не хотел уходить из жизни. Грозный герой в шлеме и с коротким мечом, все еще видимый в закатном небе залива, недоуменно разглядывал резню на фрегате. Чистая виктория для матрозов тонущего «Рака». С бега, с прыжка закололи на шканцах капитана, штурмана, некоторых офицеров. Крови хотел каждый. Кто из шведов скрывался в трюмах, за теми по указке Ипатича намертво задраивали люки. «Смутсига грис!» Теперь можно ругаться. «Слампа флика!» Даже нужно. Наконец, шлюпка пришла за шкипером и Зубовым-младшим, с выгнутого борта фрегата им сбросили веревочный трап. И оглушенного француза Анри подняли на талях. «Быстрей, быстрей!» Опоздавшие к бою торопились застать хотя бы одного шведа живым.

47.

Голье обломки мачт как изломанные колонны торчали над шнявой, жалко обвисал рваный рангоут — последнее, что запомнил Зубов-младший о несчастном «Раке». Потом ввернулась в воду большая темная воронка, в ней крутились обмытые соленой водой деревянные решетки, рей, может, человеческие тела, трудно сказать. Подняв светлые паруса, «Святое пророчество» взяло курс на зюйд-ост, фонарей не зажигали, убирались на палубе, смывали кровь, искали спрятавшихся, кого-то просто бросали за борт.

Шкипер Никишев с устного разрешения Зубова-младшего командовал.

На третьи сутки вошли наконец в Неву. Пораженные безумным шведским фрегатом, русские береговые батареи открыли беглый огонь, поврвали последние паруса, убили сигнальщика, потом уже разглядели синий Андреевский флаг, вздернутый на рею по приказу шкипера Никишева.

А Зубов-младший выстроил хор на шканцах.

Слова виватного канта, сочиненные им, не во всем звучали пристойно.

Зато ни одного чужого слова — все свои. Для дела из носового трюма вытащили раненого шведа. Чистый баритон. «Яг фростор инт». Долго не понимал, чего от него хотят, падал на колени, молил о чем-то желанном, но потом начал шевелить губами, даже подпел, а поняв, подпел с воодушевлением.

Русские бомбардиры с берега изумленно взирали на фрегат.

Так под дивный, пусть и непристойный, хор вошли в Парадиз.

Позже Зубову-младшему рассказывали, что, когда донесли государю о некоем безумном шведском фрегате, прорвавшемся к набережным Парадиза, государь страшно побагровел: «Обманул Зубов? Не задержал?» И, багровый, с тиком на щеке, стал кричать на Апраксина, генерал-адмирала: «Кто допустил?» Фёдор Матвеевич, не испугавшись, довольно жевал толстыми губами: «Я решил». Государь ударил его в лицо: «Как



посмел?» С улыбкой утираясь, Фёдор Матвеевич произнес: «С виктори-ей тебя, Пётр Алексеевич!» И голову опустил как бы виновато.

48.

«Преклоняйте, шведы, главы, день победы на Руси, наблюдайте светоч славы...»

Дальше в виватном канте, сочиненном Zubовым-младшим, шел длинный ряд непристойностей, от которых государь изумленно выкатил и без того выпученные глаза. «В этой позе, только в этой, дерзко шведа наклоня...» Это в какой такой позе? Спрашивая, конечно, понимал, о какой такой позе идет речь, пусть шведу и впредь неповадно будет. Топорщил прокуренные усы, узнав, что еще до баталии экипаж фрегата «Святое пророчество» был сильно поражен дристуном, стал немощным, не успев подойти к берегу освежиться. Посильная помощь неба. «Вар финс тоалетер». Фрегат и в Неву вошел в темном облаке запахов.

«Воды чистой Иппокрены не запачкай, страшный монстр...»

Непристойности, непристойности. Несколько добрых слов и опять непристойности. Как так? Даже офицеров шведских называли лосями, просто юю. «Финоботническа слава не умолкнет никогда...» И про свинью пели, и про то, что гюйс русский перекрыл наконец желтый крест на синем поле. «Уж не могут орды... (непристойность) рушить свет и тишину...» Здесь особенно часто звучали бесстыдные слова, образуя совсем невозможные сочетания. «Мы ликуем. Славы звуки... (непристойность) чтоб враги могли узреть...» И дальше про жен шведских, к чему должны быть готовы, когда к низким берегам подойдут русские десантные галеры. И конечно... (непристойность) совсем уж непременно... (непристойность) в общем, лучше не говорить.

«Расправляй, орел российский, златотканые крыла!»

49.

Летом государь хотя бы несколько дней проводил в Петергофе.

Сиживал на террасе маленького дворца, курил трубку, любовался морем и видневшимся вдали Кронштадтом. Иногда выходил на террасу в мундире шаутбенахта — со звездой и голубой орденскою лентой через плечо. Zubова-младшего привезли к государю днем. Сразу увидел кригс-комиссара среди офицеров, окружавших царя-императора, ничего хорошего не ждал, ведь не убит, не искалечен, страшного сходства не утерял, но взгляд выдержал.

«Как сумел совершить такое?»

«Единственно с Божьей помощью».

Пленных в первый же день сдали коменданту Кронштадта, себе Zubов-младший оставил раненых француза, бомбардира Васильева и пленного шведа — тенор, бас, баритон. Хороших голосов в хоре всегда не хватает. Кригс-комиссару господину Благову смиренно сообщил: «Может,

гошпиталь открою. Может, кого вылечу». Сильно подозревал, что теперь государь про него все знает: и про занятия в Венеции, и про занятия в Пиллау, и про утоплую шняву «Рак».

Государь знал, конечно.

Знакомо дохнул в лицо кнастером, перегаром.

Дрогнула щека в мелком тике: «Ты нам викторию подарил».

Зубов-младший остро чувствовал завидующие глаза. Да и как не завидовать вчерашнему недорослю? Офицеры морские непременно должны иметь ранг между собою в получении чинов. Но государь никого не спрашивал. Просто вглядывался в лоб с зальсинами, в длинное лицо Зубова-младшего. Зоон, зоон мог стоять перед ним. Зоон, зоон мог принести ему викторию. А зоон в земле — бесславлен. А я грешен, грешен — поверил сыну. Он девку крепостную таскал с собой, сваялся с простой крепостной девкой. В глазах двоилось. Взятый фрегат и пытошная. Ах, зоон, зоон, уже не отнимешь имени, не отправишь на житие в Колу, это как медленную смерть усадить рядом. Багровея, всматривался в Зубова-младшего. Надо было с ранних лет возить зоона с собой по всем баталиям, пусть убило бы, но по делу. Отметил в стороне человека в камзоле, рябого, как дрозд. Глаза косили, как перед приступом. Господь карает нас сыновьями. Сыновья поедают своих отцов.

Рывком притянул к себе Зубова-младшего:

«Какие чины выявлены в Уставе?»

«Прежде всех генерал-адмирал».

Дернулся изумленно: «Ниже бери».

«Адмирал синего флага».

Глаза наливались безумием: «Ниже!»

«Адмирал красного флага».

«Еще ниже».

Не спускал безумных глаз с Зубова-младшего.

Зоон. Вылитый. Правда, зубы выдвинуты вперед, не чувствуется породы.

«Вице-адмирал».

«Не гордись так».

«Шаутбенахт».

«Еще».

Офицеры молча следили за происходящим. Ипатич молитвенно сложил короткие руки на груди. В немецком камзоле, в башмаках с пряжками, он смотрелся среди офицеров бедно, но сильно этим не выделялся.

«Капитан-командор».

Зоон, зоон. Щека дрогнула.

Вплотную притянул Зубова-младшего.

Обдал крепким дыханием чесночным, табачным.

«Ты нам викторию подарил. — Дернулась щека. — Жалую тебя, капитан-командор, землями и деревеньками в три тысячи душ. — И в момент, когда Зубов-младший почти сознание уже терял от непоправимости сущего, выдохнул: — Прочь! В Москве или в Петербурхе больше не появляться!»

Часть третья (da capo)

50.

К Рождеству семьсот девятнадцатого года Зубов-младший все еще обустроивал жалованные государем деревеньки. «Господи, помилуй тетеньку». Но так не бывает. Господь не помиловал, тетенька умерла год назад, правда, с немалыми обретениями, у соседа Кривоносова даже Нижние Пердуны отобрала.

«Теперь ты богатый, барин, — шепнул Ипатич Зубову-младшему в день его скоропалительного отъезда из низкого северного Парадиза. — Марья Никитишна движимое и недвижимое — все тебе отписала. В губернии при свидетелях нужные бумаги подтверждены особой сказкою и личным удостоверением».

В Томилине было тепло, тихо.

Кто детей нарожал (как Матрёша), кто умер (как тетенька).

В общем, все как-то пристроились. А в кабинете лежало несколько книг, выписанных тетенькой уже после отъезда Алёши в Санкт-Петербург. Вот «Краткое изображение процессов или судебных тяжб» некоего Э. Кромпейна, немца наверно. Рядом «Книга Марсова, или воинских дел». А под нею «Юности честное зеркало, или Показание к житейскому обхождению», совсем недавняя, семнадцатого года. Епископ Рязанский и Муромский Гавриил, а с ним Яков Брюс руку приложили. Что следует из сей книги? Да просто. На улицах рот разиня не ходи, ослу не уподобляйся. За обедом сиди прямо, не хватай первым из блюд.

Тщательно за всем новым следила тетенька.

Полюбовался азбукой в две колонки, положил книгу на место.

Потом пошел в образную, запер за собой дверь и долго горячо молился.

После молитвы так же долго рассматривал жар-птицу в гостиной — прекрасная, только яиц не несет, непременно указала бы тетенька. Вспомнил вечерние облака, которые, как истинный герой с коротким мечом и в шлеме, восставали в море над гибнущей шнявой «Рак». Подошел к тетенькиному сундуку, подергал замок. В детстве думал, что хранятся в сундуке необыкновенные драгоценные вещи, например перо жар-птицы или алмазы, которые высекаются копытами волшебных жеребцов.

Тетеньку жаль, немного не дожила. Могла бы теперь по новым правилам, расписанным в утвержденной Табели о рангах, иметь особенные права, прямо связанные с чинами отцов (если до замужества) и мужей (если в браке). К примеру, девицы и вдовы, отцы которых находятся в первом ранге, получают преимущество над женами, обретающимися в пятом ранге, а девицы и вдовы, отцы которых в третьем, получают преимущество над женами седьмого ранга.

Жаль, не дожила тетенька до таких важных вестей.



Француз Анри, охромевший, но не потерявший живости, управлял хором.

Только Ипатича не было, оставили Ипатича в службе при государе, да и не мог он петь своим голосом. Зато пел швед-баритон, устроенный при конюшнях. Зубов-младший сам учил пленного русским словам, иногда напоминал смеху ради: «Ги апп!» И явственно видел при этом дядьку Ипатича с кортиком, преследующего шведов, впавших в ужас на собственной окровавленной палубе. И вот еще странно. Раньше в Венеции, и в Пиллау, и в польских землях, услышав орган, любую музыку, сладкий трепет трубы или дробь барабанов, вне воли своей представлял задранный сарафан и круглый зад, белый, округлый, с уже уходящими синяками — Матрёшино тело, не прикрытое ничем, а теперь как обрезало — только мусикия.

Мундир капитан-командора хранил в шкапу. Не знал, пригодится ли когда, но хранил, а в деревеньках по этому поводу шептались: вот наш барин вернулся большой генерал, ирой. Разносились слухи об особенной близости Зубова-младшего к Отцу Отечества, императору Всероссийскому. Вот погодите, шептались. К барину еще гость прискачет.

51.

И гость прискакал.

Уже летом следующим.

Вышел из дорожной кареты запыленный плотный человек в кожаной куртке морского шкипера с белым пером на шляпе, при этом рябой, как дрозд. Деревня Томилино вся ахнула. Кто? Да дядька же Ипатич! Сбежались к барскому дому. Хор, выстроенный в просторном дворе, грянул славу. Зубов-младший обнял дядьку, бывший кавалер Анри Давид и пленный швед встали во фронт. Оказывается, приехал Ипатич по делу — принимать дальние деревеньки, жалованные ему Отцом Отечества за раны, полученные при десантах на шведские берега.

За обедом спросил: «Отдашь Матрёшу?»

Помнил, оказывается. Не поднимая глаз, раскуривал трубку.

«Да бери, — разрешил Зубов-младший. — Только ты ведь не знаешь, у нее уже трое. Все крепкие».

Ипатич заподозрил: «Не от француза ли?»

«Нет, от мечты».

«Тогда отдай!»

И сразу спросил:

«Твой мундир где?»

«Думаешь, понадоблюсь?»

«Не знаю».

Помолчали, вынули трубки.

По-старинному кричали в саду летние птицы.

Удобно сидели в креслах на террасе, вели свои резонеманы — рассуждения — перед выстроенным хором. Все сбылось, что говорил когда-

то Антонио из консерватории церковного приюта «Пиета». Вспоминали строгий государев Морской устав: «Запрещается офицерам и рядовым приводить на корабль женский пол для беседы во время ночи». Но теперь и это можно.

«А недавно из Венеции оказией доставлено письмо».

Ипатич удивился: «О мостиках через гнилые каналы?»

Нет, речь шла вовсе не о мостиках и каналах. Опять мусикия.

Писал Антонио, рыжий поп, «вратарь», полным именем — Антонио Луко Вивальди. Тот самый, что, родившись, мог только как птица дышать — быстро-быстро. Теперь сообщал, что собирается в Мантую и в Неаполь, интересовался судьбой виватного канта, построением хора, нашел ли Зубов-младший нужные инструменты? Намекал на некую скромную женщину, которую всей душой мечтает увидеть в Мантуе. При этих словах, наверное, сильно кашлял. Имел в виду оперную певицу Анну Жиро, тоже, как он, дочь местного парикмахера. Голос у Анны волшебный, писал Зубову-младшему Антонио. Всем известно, что итальянские композиторы в совершенстве знают и понимают секреты вокальной техники, но у него, у Антонио, есть свои секреты. Указанная Анна пусть и некрасива, зато изящна, имеет тонкую талию, красивые глаза, прелестный ротик, а главное — голос.

«Такой и должна быть подруга у рыжего попа», — согласился Ипатич.

Плыли белые облака над деревней Томилино, над Зубовкой, над Нижними Пердунами. Сладко теснило сердце от вида долгих полей, от блестящей вдали реки Кукумана, резвых голосов. «У кого холопов больше, у кого парик душистее, — невольно вздохнул Ипатич, — а рыжего попа тянет к опере». Пускал дым из трубки, кивал в сторону леса. Вспомнили шведские пушки, обрушенные стены, деревянные решетки в соленой воде, кригс-комиссара господина Благова с деревянной ногой. Обильно пили анисовую за процветание российского флота, здоровье государя и государыни, опять и опять хор слушали. «Преклоняйте, шведы, главы, день победы на Руси». А потом Ипатич, глядя на длинное лицо Зубова-младшего, на выпуклый его потный лоб и падающие к плечам прямые волосы, вдруг произнес странно:

«Царевич так жить хотел...»



Дмитрий РУМЯНЦЕВ

ГРИГОРИАНСКИЙ ХОРАЛ

премьера фильма

Просидели жизнь во тьме кинематографа,
как в Платоновой пещере — из расщелины
вышли в город, где ни музыки, ни воздуха —
только Церкви предприятия дочерние.

Как под газом, как под «планом» воскуряемым,
что идейные рабочие Платонова,
прежним светом зачумленные, мерцанием,
мы подолгу пластилиновыми ходим.

Ничего-то мы, болезные, не поняли!
Ничегошеньки, слепые, не увидели
в парадигме киноведческой истории
с парфразой от Обамы до Калигулы.

Сложной функцией двоясь в мирах искомых,
ложью/фикцией давясь в судьбе обидной,
XXI век плывет в огнях церковных,
25-й кадр горит во тьме рапидной
съемки.

I. корабль пасхи

Монашки хрупкие, босые,
хрустальные после поста,
все, как матросы, — по местам.

Что корабли сторожевые,
плывут церквушки сквозь былье:
им якорь — всякая канава.
На реях, на крестах Вараввой —
бушлатчатое воронье.

Свечами тальми горят
в ночи огни святого Эльма.

Раскрыто сердце в запредельность,
 как бухты на больших морях
 по окончаньи вечных зим.

Заря бросается под ноги
 землей. Бредут «морские волки»,
 что овцы, в Иерусалим.

II. зимняя навигация

Свечка — сердечко рождественской церкви,
 вставшей реки зеркала —
 выси иконы. И на судоверфи
 словно бы колокола
 перевернули — они и поплыли
 сквозь замороженный вал
 в григовский звон заполярных флотилий,
 в григорианский хорал.

* * *

Она была со мной накоротке,
как сумасшедший с бритвою в руке...
 Тарковский стих, тарковская же фильма
 пред нею были сценкой в драмкружке
 и щелкопер над строчкой непосильной.

И время отступало перед ней:
 стоял всегда один из вешних дней,
 и с крыш текло, и начиналась течка
 у сук дворовых, было то видней
 сиянье дали, то мело, как сечкой.
 А позже белый свет стоял над речкой,
 как взгляд с небес — слепой павлиний глаз.

Мгновенная, как смерть и возрожденье,
 она нас собирала, точно пазл
 о живописи, выделив из масс
 ивановского светлого «Явленья
 Христа народу».

Человек ли? Бог? —
 я говорил о чувстве, но умолк
 пред притяженьем, данным нам зачем-то.
 Изошрена, как выдумка враля,
 поведала, где в небесах — земля,
 живаго духа мертвая петля,
 любовь твоя, моя невозвращенка.

I. кардиограмма

Сердце мне грудная клетка
 жмет давилейней каземата,
 где молчать и слушать надо,
 где тоска, как сердцеведка.

Город спит, соря огнями.
 Тут — ни света, ни неона.
 Ниневия. Мука. Камень.
 Так в ките сидел Иона.
 (Сень молитвы. Тень канона.)

Лишь любовь, что мудро тащит
 в небе солнце и светила,
 на мгновенье осветила
 умывальник у параши.

II. не верь, не бойся, не проси

Верь в Господа и *бойся* ада. *Проси* о милости Его,
 покуда Невского громада людским потоком в нелюбовь
 несет. И в небе над «Крестами» сияет нам не Южный Крест,
 но тихий свет иных кунсткамер, иных узилищ и чудес.
 Над Петропавловской юдолью, над казематами тюряг
 поднялся ангел темной боли с крестом в созвездии Дворняг.
 И вот влачусь, печальный узник, и вижу свет иных Россий.
 И ты одна. И я не узнаю. В грудную клетку не вместить
 свободы всей.
 Зияния ее.

у сельской реки

Пусть здесь невозможен великий Татлин,
 который искусством грозил звезде,
 над речкой в тумане я видел цаплю,
 и цапля молилась речной воде.
 И стыла-стояла, потом взлетала,
 напугана мною, чертила круг,
 как будто бы башня Интернационала,
 и облако с поймой я понял вдруг.
 Над речкой, над речью, над темной стежкой
 стоял человек. Только человек.
 И облако, берег и я здесь тоже
 для мастера — лишь дармовой проект.

Пускай бюджетянам не будет грустно:
искусство огромно — звездой в пруду.
Уже в огородах грядет капуста,
и я прополол грядку.

время до жития

Легче легкого снежная взвесь.
И Евангелий добрая весть
на груди, как котенок, свернулась.
Греет, колет щетинкой своей.
Отступает, ощерившись, Зверь,
лает, обльй, похитивший юность,
увлекавший в разгул — за порог
разрешенного.....
..... Старость есть Бог,
где смиренье, как новое зренье,
поднимает за солнечный круг
дальнозорко. И ты, близорук,
на руках признаешь оперенье, —
высоты голубиный испуг...

идиллический ландшафт подмосковья

...и твердь кишит червями...
О. М.

Роса на розе — всех ветров. Осенняя регата. Парус.
Плывет опара облаков, и окунь пойман на опарыш,
закинут в гулкое ведро. И оттого — светло и гордо.
За город на аэродром садится лайнер. Звездно. Ведро.
Горят над плесом светляки и дарят небо «за спасибо»,
плывут, качаясь, поплавки — судьбу минуя, ходит рыба.
Рабочий пригород. Вокзал. Крик электрички сатанеет.
А сердце наблюдает за рыбачьим промыслом Андрея.
...И только бабочка одна стучит о габарит недобро.
Как только *твердь червей полна*, так — ветерок идет по водам...

отчаянное

Как в детском лагере, вне дома и родных,
где лета красного бегом не перебегать,
царил Рассадников и бил меня под дых,
и я воистину не ведал: что с ним делать?

Он не любил меня — так пса не любит волк —
 презрением гопника к очкастому зануде:
 «Ну, вот ты вырастешь, и что с тобою будет?» —
 он мне показывал нехитрый свой урок.

Ну, вот я вырасту? — действительно, и что?
 Кто поведет меня по фермерскому полю
 к звезде неведомой и городу чужому,
 к зилку, увязшему в осеннем дне с грязью.

Терпенье, мам! Какой мулла или раввин
 заговорит тоску телесного распада?

Вот я и вырос, оказалось: мне и надо —
 немного памяти о прожитой любви.

И только смерть одна, где всякий одинок,
 еще страшит, еще таит вопрос недужный:
 а вдруг там детство снова? И какой-то бог?
 И не Рассадников, а кто-нибудь похуже?

І. птичье

Крошечная перепелочка,
 глаза черный фитилек
 (дочка или же сынок).
 И пошла свистать на елочке
 еле слышная божба.
 Сердца легкое подобие,
 как души *regretium mobile*, —
 невесомая судьба...

ІІ. начало года

Двух снегирей, что купишь за алтын, чирикающих купно или розно,
 след на снегу — ученую латынь (пока закат и розов, и морозен)
 до настовой до корочки прочтя, я оказался у Тебя в гостях...

Как хороши пернатая возня, и зиждящий полет бельмастый ужас,
 когда покров небесный отутюжив, в тумане белошвечном клонясь
 немного вкось, — так, как дурной стежок, сидит на ветке крошечный божок.

И как за этим всем не различить большое «Хорошо!» большого Бога,
 которое, как сказочный зачин, уводит вдаль рождественской дорогой?
 И синева январских предвечерий как *перспектива*, данная Уччелло...

пасха 1 мая 2016 года

(как бы-баллада)

С. Ш.

Над Питером — те же летяги
лесов голубых — облака...

Привидится остров Елагин,
урина-ундина-река

в катетере гулком каналов
(веселье с тоской пополам),
где культ/уролог-зазывала
сзывает смотреть Валаам.

Но так по-чуковски обидно,

что Господа Бога не видно

1) ни в щель дореформенной школы,
чьи яти и еры — в нетях...

2) Гагарины и Терешковы
ни ангела на небесах
не видели, видится, тоже.

И вот дорогого дороже
поднявший меня на вершок
болезненный этот стишок
(как горький-прегорький смешок).

Фоме фамильярному — Ты
прости оскорбительность шутки! —
в попутке — в туманы — в маршрутке
я в раны влагаю персты
(мизинцем пишу на стекле
по влаге, сгущенной за сутки,
как Ты проступаешь вовне...
как Ты проступаешь во мне)...

...Дыханье духмяное веет
из душных кофеен, и вот
от ужаса сводит живот
в присутствии сотен музеев,
где Ты — это Ты и не Ты
(никем никогда не угадан:
Твои проявления просты,
как ветер, играющий флагом)...

В машине приложишь ладонь
к стеклу, что в слезу запотело,
и чувствуешь нервный огонь,
идуший и жалящий тело
(скупой благодатный огонь?
разумное, трезвое тело?).



И я никогда не забуду,
как факт, что разводят мосты,
что мир, устремившийся в чудо,
и йога, и Кришна, и вуду...
и наша тоска, и простуда,
и мир, не похожий на чудо:
всё — Ты!

(ненадолго сходитя мгла,
маршрутка меня довезла
со скоростью в два-три узла,
что в узел морской перевязанного,
из зла и тщеты — до угла...
...до Красного).

удача

Будем как дети. Вот на колесе фортуны
смолоты царства, халифы и патриархи.
Шведский паром, как игрушечный, встал в порту.
Только один ручеек да листок бумаги
нужен из детского атласа — до поры, —
в зиму взросленья кружок на окне надышан.
В школе я был коронован в царя горы —
больше с тех пор ничего из меня не вышло...

* * *

Я позабыл, как кофе заварить. И как любить Тебя, уже не помню.
.....
Ты не сказала, я не повторил. Вскипевшая вода подобна камню.
А там еще — на лесенках витых ты тянешься ко мне и подбегаешь.
И ручками, подобно запятым, пустое *предложение* обнимаешь.
Все кончено. Жизнь начата с нуля. Ты умерла. Ты для других — воскресла.
Любовь моя навреде журавля, которому в груди синичьей тесно.
Журавка-королевна, я жую тебя, жалею и желаю.
Все повторяю. И кофе посолою. И постелю, как ты любила, с краю.
.....
Как, Господи, пустынна и бескрайна страна Твоя безлюбая и тайна.

сон: небесное паломничество

В ночную смену небо жгло огни,
а тьма-сова охотилась за мыслью.
Я поднялся к Покрову на Нерли,
который мастерами в небо вписан.

Сквозь заливные влажные луга
прошел, подобно беглому монаху
в разодранной смирительной рубаше
(душа еще болела как могла

в лечебнице воздушного мытарства,
где с плачами стремились журавли
над куполами храма на Нерли
в нездешние и солнечные царства.

И было их «курлы» нежней лекарства).

...Была тоска, как будто умер Бог,
как будто грех осилит человека.

Как будто: *Улица. Фонарь. Аптека,*
как это и предсказывает Блок.

Как будто жизнь — подобие волчка.

Исхода нет: *Фонарь. Канал взопревший.*

Все тело омерзительно болело,
что вены умиравшего торчка.

Но сердце завелось, как от толчка,
явились люди, птицы, песни, люди,
которых я любил, как весть о чуде,
как жизнь, как сон, знакомый до молчка.



Николай ОЛЬКОВ

СОЛНЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Сказ об Иване Ермакове

П о в е с т ь *

12.

На автобусной остановке увидел знакомого мужчину, тронул за плечо:

— Здорово, Василий.

Тот обернулся:

— Иван! Здравствуй, дорогой, сто лет не виделись.

— Не сто, а семь с половиной. Ты возмужал, солидный стал.

— Какая солидность, Ваня, совхозный парторг, целые сутки будь на ногах — и все равно плохой.

Ермаков засмеялся:

— Для меня каждый, кто в галстук, солидный человек, начальник.

Товарищ погрозил пальцем:

— Э-э-э, Ермаков, не любишь ты партию.

Иван посерьезнел, указал на ресторан на углу:

— Пойдем, не на тротуаре же разговаривать.

Сели в дальний угол, заказали графинчик, салатки. По первой выпили молча, чокнувшись. Ермаков продолжил:

— Вот ты о партии... Всяко было, друг мой Вася Ляпин, — и любил, и не любил. К примеру, человек партшколу окончил, кроме «Муму», ничего не читал, а его направляют на собрание писателей. У нас разговор бывает и с матерками, хотя Лагунов интеллигент, одергивает, а этот хлюст сидит записывает. У нас в филармонии когда оркестр сдает программу, так в первом ряду сидит инструктор обкома, а у него образование, как у тебя — зоотехник.

— Агроном, — поправил Ляпин.

— Ну, пускай. И вот дирижер сделал палочкой завихрение, оркестр замолк, директор к инструктору, который на самом деле агроном: «Ваше мнение, Иван Петрович?» Тому бы сказать: «Ребята, ни хрена я в вашей

* Окончание. Начало см. «Сибирские огни», 2016, № 11.

музыке не понимаю, вы лучше знаете, что и как, ну и шпарьте!» Нет, он глубокомысленно поднимает палец: «Вот в начале что-то трубы слишком громко, потом ни к месту засвистел кто-то, а в конце товарищ с дисками так ими хлопнул, что я даже вздрогнул. Нельзя же так...» Дирижер не выдержал: «Вы меня, пожалуйста, извините, но в оркестре у каждого музыканта своя партия!» Инструктор аж подпрыгнул: «Что за глупости, у нас в стране для всех одна партия!» Что, не смешно?

Василий серьезно на него посмотрел:

— Ты бы с такими байками поосторожней. Я понимаю, что все это слова, а когда требовалось, мы с тобой за энурез не прятались, а шли в бой, и коммунисты, и беспартийные. Было?

— Я на фронте после первых боев в партию вступил, кандидатский прошел, партбилет выдали. До сих пор помню комок в горле — под знаменем полка, все ребята в строю, моя рота как на парад... А через три дня снег выпал, потом мороз, мы в болотах между станциями Концы и Шум. И мне в роту привозит интендант бушлаты б/у, понимаешь? Я ему от всей своей потрепанной души и врезал. И понеслась! Арест, трибунал, из партии исключили, от трибунала батальонный комиссар спас, звания лишили, с должности сняли. И самое смешное: через неделю вручают мне орден Красной Звезды и звание восстанавливают. Вот такая она, война. Ладно обо мне. Ты где и как?

— В Масляном совхозе парторг, двое детей, работы за глаза. Орденов не дают, только выговора.

— Помнишь, как встречали в Менжинском совхозе первого орденосца, Ирину Иванову? Орден ей вручали в Москве, в 1934-м. Всем совхозом вышли и с оркестром! Вот были времена!

Ляпин засмеялся:

— Не поверишь, у меня в совхозе есть Вознесенская ферма, так три доярки одним указом награждены орденами Ленина, а управляющий получил Героя.

Ермаков выпил рюмку, занюхал хлебушком:

— А не круто загибашь, дружок, не отломится?

— Не веришь — как хочешь, не стану же я врать.

Выпили еще по рюмке, и Иван проводил друга на поезд. Пока ехал в автобусе, все думал про тех доярочек, что награждены самым высоким орденом. С одной фермы? А управляющий — Герой Социалистического Труда? Он улыбнулся: загибает Вася Ляпин, он всегда любил прихвастнуть, а тут выпил сто грамм и понес аж до Кремля.

Утром позвонил Лагунов:

— Чем занят, Иван Михайлович?

— Пока чай пью, Константин Яковлевич! Садись со мной.

— Нет, я серьезно: что пишешь?

Иван пожал плечами, словно Лагунов мог видеть его жест.

— Если обстановка позволяет оторваться от стола на недельку, приезжай, обсудим.

Иван приехал, прошел в кабинет. Лагунов подмигнул:

— Есть предложение поехать в Сладково, там на одной ферме...

— Три доярки получили по ордену Ленина, а управляющий — Золотую Звезду.

— Ты уже в курсе?

— Да такого в жизни не бывало: одним указом?

Лагунов развел руками:

— Вот случилось... И ты должен написать очерк об этом коллективе и о его героях.

Иван чувствовал себя не совсем удобно: факт, оказывается, общеизвестный, а он не верил. В Сладкове он бывал, тем более что Маслянский совхоз совсем недалеко от Менжинского и Челюскинцев, его родины.

— Поеду с удовольствием. Говоришь, неделя?

— Иван, без фокусов, я знаю крестьянское гостеприимство. Очерк под контролем Щербины, имей в виду.

— Что-то не понял, ты про какие фокусы с гостеприимством?

— Все! — вспыхнул Лагунов, он не очень любил подобные шутки. — Оформляй командировку!

Путь известный: до Маслянки поездом, а там директор совхоза на своей машине встретил, и прямо в Вознесенку, к дому управляющего.

Вышел не сам Пётр Андреевич, а его отец, разговорился:

— Писательское ремесло всегда было в почете. Возьми тех, что со Христом бродили по Галилеям да Ерусалимам. Христа распнули, они за стол — и книжечки сочинили, чем вошли в историю. Я, правда, не шибко верую, но, как прижмет, Бога вспоминаю. Давай знакомиться, меня Андреем Никитичем зови, отцом довожусь знатному Герою.

— А я Иван, если официально, то Михайлович.

Старик захлопотал:

— Знамо дело, по отчеству, особенно при бабах. Это такая порода, что чуть слабину дал — непременно на шею сядут. Пошли в дом, там уж все на мази.

«На мази» была бутылка водки, жаровня баранины, рыбный пирог с карасем размером в кепку, грузди, огурцы, капуста — все в отдельных тарелочках.

— Не обессудь, сноха на работе, стол сам собирал. Вот ложка, вот вилка, в один секунд суп изыму из печи, ты, поди, сроду не едал суп или шти из русской печки? А на плитке электрической, прости старика, только малым щенятам варить.

Ивану не хотелось перебивать примечательную речь хозяина, но пришлось уточнить:

— Я, Андрей Никитич, деревенский родом, и деревня моя Михайловка в Челюскинском совхозе.

— Тогда вовсе мило. Бутылочку открой, надо по пятьдесят грамм перед каждым аппетитом. Тогда организм работает как Кремлевские куранты. У меня, к предмету, то в сердце каждый час отбивает, то в животе гимны заиграют. А ты молодой, тебе можно. Воевал? Было? Мой тоже...

Хозяин рюмку поднял, тост сказал за мир и дружбу между народов, закусили груздочками. Тут и хозяин вошел:

— Иван Михайлович!

— Пётр Андреич!

— Да вы что, ребята? — возмутился Андрей Никитич. — Одногодки, фронтовики, и с чего навеличивать? Проще надо, душевней.

— Обожди, отец, — крикнул Пётр Андреич, фыркая под умывальником. — Вот по рюмке примем, тогда уж!

После обеда Пётр предложил:

— Отдохни с дороги, в поезде какой сон? А вечером с доярочками познакомлю. Отец, парню спать не мешай.

Андрей Никитич возмутился:

— Кого учишь, зеленая поросля? Ишь, Героем стал — совсем отца не признает.

Пётр засмеялся:

— Ну все, понеслась! Не спать тебе, товарищ писатель.

Прав оказался Пётр — только Иван задремал на диване, дверь приоткрылась и Андрей Никитич тихо спросил:

— Не спишь, Ваньша?

— Да, что-то не спится.

— А оно завсегда на новом месте этак. Вот ты приехал про доярок да про Петьку писать, про коров и молоко наше. Действительно, достойно, потому как только ученые в Тюмени больше наших девок доят, но ты же понимаешь, наука, там заместо молока столько намешано, чтобы первое место урвать. А наше молочко — вечером надоили, утром полбанки сметаны. Ей-богу, не вру. Бывалочи, старуха отправит трехлитровую банку со сметаной Петьке в Тюмень, когда учился, а привезут туда масло. Мы же из переселенцев, по стольпинской команде рванули в Сибирь. Я совсем мал был, а помню. Всякий народишко ехал. Кто от нужды, кто за легкой жизнью. И помню, стоим мы на станции, долго стоим, а лето, народ из вагонов вывалился, ноги разминают, шляются повдоль поезда, а кто и на траву прилег, от земли силы взять. И сидит на чурочке бабочка, худая, как мучельница с иконы, а сосет ее грудь здоровый ребенок, чуть разве помладше меня. Народ дивится, а переселенческий начальник подошел, ткнул его тростью и говорит: «Ты же мать довел до полусвятого состояния, переходи на коровье молоко». А тот сломок от титьки оторвался и пробасил: «Да бескоровные мы!» Начальник чуть в обморок не брякнулся, а народ ухохатывается.

Иван — за блокнот: прекрасная байка!

А Андрея Никитича уже понесло:

— Ты про Колчака слышал, как он в наших краях витийствовал? Сатана, а не адмирал. Красные прут с Маслянки, а он мобилизовал всех мужиков наших и хангиновских, из соседней деревни, вооружил вилами трехрожковыми и погнал на пулеметы. Красные ребята видят такую картину, стрелять перестали, а колчаковцы за нашими спинами. Ково делать? И тут кто-то из наших как крикнет: «Ребята, разбегайся в разные сто-



роны!» Мы вилы побросали и врезали, аж пимы слетают. Тебе, Ваньша, будут говорить, что это кто-то хантиновский крикнул — не верь, только наш! Сорвал наш тактический маневр колчаковскую атаку, и пусть хантиновцы к этой маневре не примазываются. Наш человек крикнул, и мы побежали первыми!

«Пожалуй, единственный в военной истории случай, когда оспаривается, кто первым побежал с поля боя», — с улыбкой подумал Ермаков.

Вернулись с работы Пётр и жена его, Пётр сказал, что сегодня встреча с коллективом не состоится, доярки отругали управляющего: не предупредил о госте, взяли сегодняшний вечер для наведения порядка. Ермаков успокоил: у него много вопросов к самому начальнику.

После ужина остались на кухне вдвоем. Иван достал блокнот. Гурушкин опередил вопрос:

— Вот ты давечь начальником меня назвал. Я уж не два ли десятка лет в таких начальниках, слышал, поди, про среднее звено в руководстве? Вот оно самое что ни на есть среднее, между рабочим классом и настоящим начальством, а это как между молотом и наковальней. Ближе тебя у человека власти нет, все к тебе, а все ли ты можешь? Вот и получается: не можешь сделать, так хоть пообещай, а пообещал — выполни.

— Пётр, двадцать лет — это срок. Что самое трудное для тебя в работе?

Управляющий задумался, раньше такое и в голову не приходило:

— Трудно отказывать человеку. Ну, вот бывает, что не в твоих это силах! А как сказать? И так, чтобы человек не обиделся, не обозлился. А на другой день падаешь на попутку и в Маслянку, к директору, доказываешь ему, что надо человеку помочь, иначе потеряем хорошего работника. Вот так, между молотом и наковальней.

Эту фразу Ермаков жирно вывел в блокноте. Потом вокруг нее родится целая философия руководителя среднего звена.

— Где воевал?

— В концлагере, — ответил Гурушкин.

— Во как! — не сдержался Ермаков.

— Да, так! Собрали нас, салажат, в эшелон — и на фронт. А он целой эскадрильей налетел, разбомбил, потом танки подошли. Раненых добили, живых в колонну построили и погнали. Не смерти боялся, а неизвестности. Лежишь, бывало, на нарах, а в глазах родная Вознесенка: родная моя земля, целовал бы и ел траву твою, подорожник! Когда освободили, ты фронтовик, поймешь: ни разу головы не пригнул, в воронку не прыгнул при взрыве. Не смерти хотел, а оправдания нелепого плена, перед собой оправдания. Вернулся, а от народа не скроешь, что в плену был, и воспитание какое было, тоже знаешь. Тяжко в глаза глядеть, кто не дождался своих, тяжело рядом с изувеченными, все равно были у них думы, что я в плену отсиделся. А я на фронте в партию вступил, приехал в райком и прошу меня отпустить в город, где никто мой позор не знает. Секретарь райкома сам фронтовик, успокаивает, что дело мое проверено, надо привыкать. Толковый был секретарь, с понятием. Через месяц



привезли в деревню кино документальное про концлагеря, после фильма зажгли лампы, вышел военком. Сказал, сколько наших попало в плен, сколько там погибло, и только малая часть чудом выжила, в том числе и ваш земляк Гурушкин Пётр Андреевич. После освобождения воевал отменно, награжден боевыми медалями. Родина к гражданину Гурушкину претензий не имеет. Вот тогда я впервые вздохнул.

— Фронт не забывается, а плен тем более. Что-то напоминает? Люди, кино, встречи? — осторожно спросил писатель.

— Песни напоминают. Помнишь: «Я вернусь к тебе, Россия!» — орет здоровый детина. Да слова эти, коли чаша не минет, тихим шепотом надо, через окровавленный рот! Или придумали: «И только крепче выходила из огня суровая, доверчивая Русь!» Может, хватит доверчивой? Я хочу бдительную, чтобы меч на замахе, чтобы все слышала и видела, чтобы не толькомышь — микроб не проскользнул! Вы, писатели и поэты, за песнями последите, их сыновьям нашим петь.

И добавил Пётр Гурушкин, бывший военнопленный и фронтовик, а сейчас Герой Социалистического Труда:

— Есть у меня чувство, что не в тот век умиляемся.

Далеко за полночь. В уютной кухоньке деревенского дома сидят два фронтовика, два ровесника...

Сутки взяли мнительные хозяйшочки-доярочки на наведение парадного блеска — все-таки книжку про них приехал писатель сочинять, никак нельзя лицом в грязь, ни в прямом, ни в переносном смысле. День пробалагурили с Андреем Никитичем, второй блокнот исписал Ермаков его присказками да приговорками. Ну, кто бы другой намекнул ему, что кончиком волоса можно заткнуть на карте Вознесенку — ан не заткнешь, три ордена Ленина в одну деревню. «Да тут бы любому городишке литаврами бить, в фанфары дуть... А у нас — тридцать дворов. Петух петуха кумом зовет».

Вечером прибыли на ферму с таким расчетом, чтобы доярки уже молоко сдали и посуду в порядок привели. Вошли в красный уголок и ахнули: сидят «молочные нянюшки» в нарядных обновах, стол ломится от деревенской еды и закуски, а лица такие, что хоть с каждой Мадонну пиши. Смутился Иван, но хозяйки за стол усадили, по граненому стаканчику налили. Встал Гурушкин, представил гостя, потом поименно назвал всех доярок и скотников. Иван едва успевал записывать: Лидия Добрачева, Надежда Новикова, Раиса Добрачева, Лидия Блясина, Валентина Двойникова. Подряд называет, никого не выделяет, хитрый и умный, бестия! Только на другой день дома Ермаков записал орденосцев: Валентина Двойникова, Валентина Леонова, Надежда Новикова.

А вечером Пётр заглянул в блокнот:

— Ну, Иван, у тебя и почерк! Ты буквы-то не выводил, ты их пером, как лемехом, выпаживаешь.

Иван согласился: почерк грубоватый, наверное, от природы идет.

Поют женщины проголосные песни, голоса красивые, лица улыбочивые, радостные, смотрит писатель, пытается угадать, которые из них орденоски. Не получается. Толкнул в бок управляющего, а тот смеется.

- А у нас так заведено: горе ли радость — на всех. Так и награды.
- И зависти нет?
- Не понял я, ты про какую зависть?

Иван пометил себе в блокноте: есть ли где другой такой мир, где бы вот так жили и работали одной дружной семьей?

А стол бушевал! Уже привезли из деревни гармониста, уже столы сдвинули к стенке, пошли женщины в пляс — сначала степенно и размеренно, как бы «с выходом», а потом все смелее, задорнее, с частушкой. Сняли с печи прихворнувшего вечного пастуха Плакидина Артёма Ивановича, привезли — как без него? И прошлась перцовочка по жилкам, ожил пастух и тоже в меру позволявшего ему ревматизма притопывал на кругу. Напелись, наплясались, гостям дорогим «на посошок» налили и — посуду прибирать. Завтра — рабочий день.

...Наслушался Ермаков за этим столом рассказов о нелегкой, непростой, но радостной жизни своих будущих героинь: у каждой — семья, мужа, дети, у каждой — своя группа коров, к которым привыкали, как к родным, а когда начиналась выбраковка, когда Милок, Зорек и Незабудок грузили в машины для отправки на мясокомбинат, — убежали доярки, стыдились последнего прощального взгляда своих любимиц и плакали в темных углах фермы. А потом все начиналось сначала...

Прощание. Разводит руками писатель: кончилась командировка, надо ехать, редактор вчера грозился. Жмут в смущении руку, приглашают в гости.

В поезде Ермаков еще раз мысленно прошелся по записям, вспомнил разговоры. Очерк складывался, но он чувствовал, что чего-то не хватает. Чего? Лирики? Найдет. Романтики? Добавит. Но он же приехал написать о великих труженицах, и не просто очерк, — тогда какой ты к черту писатель? — гимн надо написать! Так прославить простую труженицу, чтобы у читателя мурашки по спине.

Он схватил тетрадку и быстро начал писать своим «пахотным» почерком: «Найдите в городах квартиру, где не прописалась бы бутылка с широким горлышком, найдите в деревнях погребок, где не стояли бы холодные, отпотевшие криночки. Да что погребок, квартира? Рюкзак геолога, погранзаезда, Антарктида, ракетное отшельничество, кругосветные подводные лодки, космические корабли — в порошке, в тубах, сгущенкой ли — но никуда ты, сын и дитя Земли, никуда ты без нее, без здоровой и сладкой капельки. От первых двух “заячьих” зубок и до угасающего невнятного шепота, от мощных воскрылений гения и до последнего рукопожатия дарит человеку свою крепь молоко.

Самый жизнерадостный лучик солнца, благословенную неизбытную силу земли, тугой накат наших мускулов, упругое витье наших жил, недробимый мосол широкой русской косточки, хмель первого поцелуя, поэтические творчества, восторженный вопль стадиона — сказку, подвиг, песню, открытие века несет она в своем подойнике, молочная наша нянюшка, в просторечии — доярка.



На высокие мраморные постаменты внесены наши Герои и Полководцы, Мудрецы и Первопроходцы, Поэты и Космонавты. Разыщем же и для Нее пьедестал. Пусть стоит Она с криночкой, из которой испили и живые, и бронзовые».

13.

На каждой встрече с читателями, на представлениях его новых книг всегда возникал у людей интерес к природе его литературного языка. Ермаков не очень любил такие дискуссии, но, коли есть вопрос, отвечать надо.

— Думаю, народность языка, его насыщенность диалектизмами вызваны жанром сказа. Не может мой герой говорить языком телевизора. У меня всегда или почти всегда есть герой, который ведет повествование, либо за героем скрывается сам автор, но все это исключительно на основе разговорного языка сибирской деревни.

Этому нельзя научиться по словарю Даля, да и доброй трети слов из моих сказов у него просто нет. Признаюсь, возьму грех на душу: если мне не хватает запаса слов в моем хранилище, я изобретаю слово, но на народной основе; искусственное, оно в контексте становится своим, родным и, главное, понятным читателю.

Я очень благодарен своим землякам, жителям маленькой деревеньки Михайловки, они говорили на хорошем русском языке, и я его узнал. Я благодарен моей маме Нине Михайловне, которая от бабушки еще помнила много сказок, бывальщин, побасенок, и я это все впитывал. Есть у меня сказ «Кузнецы», сказ небольшой, но вывод в нем знаковый. Я вот прочту концовочку: «У меня материал — слово. Не согретое в горне души, оно — как холодное железо: шершавое, упрямое, неподатливое. Не тронь холодное — один звон. Но если вдруг слово засветится, если почувствуешь, что оно горячее, обжигается — не медли! Укладывай его скорее на “наковальню” и бей, заостряй, закаливай, доводи!»

Вот тут уместно поместить письменное свидетельство неизвестного автора, сохранившееся в архиве писателя: «На заре своей туманной юности числился я членом литобъединения при Дворце культуры железнодорожников тогдашнего Свердловска. Вел занятия писатель Владислав Николаев, бывший тюменец, переехавший в уральскую столицу. Осенний Свердловск уже затемнил окна, когда в большую комнату, где обсуждались гениальные строки ныне безвестных авторов, вошли двое: сам Николаев, аккуратный, подтянутый, невысокого роста, и здоровенный мужик в замусоленном пиджаке и помятых брюках. Лицо его напоминало неудачно сколотый булыжник, на котором выделялся размерами и сизым цветом нос.

Николаев оглядел собравшихся:

— Я пригласил на наше занятие писателя-земляка Ивана Ермакова.

Кто-то из молодой поросли запустил смешок. Надо признаться, и я, как ни силился, не мог совместить образ “инженера человеческих душ” с этим грубо сколоченным и неопрятно одетым детиной.



— У Ивана Михайловича издано более десятка книг, его рассказы переведены на немецкий, чешский, болгарский...

— Американский, латинский, — добавил кто-то.

Слова Николаева воспринимались как попытка пошутить, как розыгрыш перед разносом очередного “нетленного” творения. “Ладно, — подумал каждый из нас, — знаем мы эти переводы”. И вдруг в комнате и во всем Дворце культуры погас свет: видимо, авария... В крошечной тьме наступило молчание. Кто-то закурил (у нас это было не принято) и шумно вздохнул. Конечно, нарушителем был гость.

— Я прошу не расходиться, — сказал Николаев. — Иван Михайлович нам что-нибудь расскажет.

— Вот, ребята, что я вам поведаю, — начал Ермаков, и что-то мгновенно в мире переменялось, что-то произошло с нами. Какая-то настойчивая, властная сила притянула к его негромкому голосу, свежим, родниковой прозрачности, словам. Мы ловили каждый звук, каждую фразу, сбитую крепко, умно, с глубоким смыслом и тонким юмором. Он рассказывал про жизнь, обыкновенную жизнь обычных людей. И столько страданий и радости бытия вмещали судьбы героев его рассказа, столь правдивы и узнаваемы были их характеры, что мы, не в состоянии сдерживать свои чувства, хохотали и плакали, благо темно и не видно слез. Час пролетел как минута. Дали свет. Мы сидели изумленные, оторопелые, вперившись взглядами в человека, который преподавал нам, самоуверенным юнцам, урок писательского мастерства, чистой русской словесности».

Еще одно свидетельство:

«В 1962 г. в газете “Красное знамя” (№ 97—99) был опубликован сказ И. Ермакова “Берёстьышков герб”, вошедший в его дебютный сборник “Богиня в шинели” с таким редакционным предисловием: “Яркими хрусталиками-самоцветами речь-то русская пересыпана. Звонкие да емкие слова хранит в памяти народ. Только не каждому эта серебристая речь в уста дана. Пытливому да прислушливому, до глубин дел людских любопытному. Иван Михайлович Ермаков, наш писатель-сказитель, таков и есть. Каждое слово в его сказах звенит-переливается. А тем для сказов — не занимать. О народе песни пой, не перепоешь. “Богиня в шинели” — сказ о людях с короткой биографией, но великой судьбой”.

— Считаете ли вы Бажова своим учителем?

— В известном смысле — да, считаю. Достаточно того, что использую форму, придуманную Павлом Петровичем, — сказ. Но я отказался от сказочности, мистичности Бажова, а пишу о людях, о жизни. Это нетрудно заметить, если читать мои книги. “Петушиные зорьки”, “Сказание о Реке и ее Капитане”, “Володя-Солнышко”, “Голубая стрекозка” — сюжеты взяты из жизни, и люди в них реальные.

— Вот вы пишете о войне. А вы были на фронте?

...Иван Михайлович посмотрел на молоденькую девушку, задавшую вопрос. Нет, тут без подвоха, просто начиталась девчонка про романтику на войне, про лейтенантскую любовь, про чемоданы орденов после каждого боя.



— Я на войну попал в вашем примерно возрасте, только восемнадцать исполнилось. Стихи писал, куклы делал, в Омском кукольном театре работал. На войне нет молодых и старых, нет артистов и поэтов, есть только солдаты и командиры. Повезло тебе с командиром, умный, тактику знает, карты читает как книжки — проживешь на два боя дольше. А попался шалопай, который, кроме “ура!”, ничего не знает, — загубит взвод и сам сгинет. Я беспартийный, но войну без толковых комиссаров мы не одолели бы. Потому я хоть и князь сибирский, но писатель русский и советский. И терпеть не могу клеветы на мою страну, на мою армию. Сейчас все стали грамотные, подсчитали, что Ленинград можно было сдать немцам, жертв было бы меньше. Что на Курской дуге не надо было идти напролом и заваливать неприятеля трупами. Есть хорошая фраза: “Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны”. Помните о войне и о погибших, берегите мир.

— Скажите, какой институт вы окончили?

Ермаков усмехнулся:

— Не пришлось мне за партией сидеть, пришлось брать уроки у жизни. Она суровый учитель, у ней нет “уд” или “неуд”, у ней — жив или нет... Вот такой расклад. Меня учили книги. Знайте: писателей много, хороших книг мало. До созревания ума не мечитесь, читайте русскую классику: Лесков, Пришвин, Гоголь, Грибоедов, Аксаков, Гаршин, Тютчев, Чехов, Тургенев, Мамин-Сибиряк, Шолохов. А потом научитесь выбирать».

...Телефон зазвонил ранним майским утром, Иван нехотя встал с дивана в своей комнате-кабинете — почти до света работал, наскочил на жилку, слова друг к другу сами клеятся, разве можно в такой момент ручку бросить и запотягиваться? Вот побудка — некстати... Взял трубку.

— Ермаков? Иван Михайлович?

— Так точно, он.

— Это писатель Астафьев, слышал о таком?

— Не совсем понимаю. Это шутка? Вы откуда мой телефон взяли?

— Иван Михайлович, со мной справочник Союза писателей, Лагуну звонить не стал, он у вас важный, а тебе решил: ты фронтовик, мужик деревенский, русский, раннему гостю не откажешь.

Иван понемногу пришел в себя:

— Виктор Петрович, дорогой, спроси, как до магазина «Родничок» доехать, и садись хоть в автобус, хоть в троллейбус и даже в трамвай. А я на остановке буду ждать.

— Узнаешь?

— Да как не узнать, я твои книги читал и лицо видел. Жду.

Вышел в зал, Тоня уже в халате.

— С Днем Победы тебя, мой командир, — поцеловала в щеку. — Кто это, Ваня?

— Астафьев Виктор Петрович, хороший писатель, фронтовик. Готовь хороший завтрак, человек с поезда. Пойду встречать.



Из автобуса вышел мужчина в коротком плаще и с чемоданчиком, Иван помахал рукой, мужчина широко улыбнулся, шагнул навстречу:

- С Днем Победы, Иван Михайлович.
- И тебя с Днем Победы, Виктор Петрович.
- На том и закончим официоз. Надо бы в магазин зайти...
- Не надо, все уже на столе.

Антонина Пантелеевна встретила гостя радушно, хозяин отправил в ванную, подал чистое полотенце. За столом налили по стаканчику, выпили за Победу. Смотрели по телевизору парад на Красной площади, поднимали за боевых друзей, за погибших и живых.

— Ты о войне пишешь, Иван?

— Сказ «Богиня в шинели» издали года три назад, сейчас вот «Солдатские нескучалки», тут все намешано: и Гражданская, и наша. Но через быт солдат, не через «ура».

— Я это «ура» тоже не терплю, пишу жестокую правду довоенной Сибири, предвоенной. А вот до самой войны дотронуться боюсь. Скажу тебе притчу. Жили писатель и разбойник. Писатель книги писал, а разбойник людей убивал и кошельки отнимал. Умерли они оба и попали в ад, но разбойник, отмучившись какой-то срок, был взят на небеса. А писатель все мучается и мучается. Наконец, взмолился Богу: «Да что же это такое, Господи? Разбойник сколько душ загубил? А я никого не убивал, не резал, кошельки не отнимал, а все мучаюсь и мучаюсь. Неужели я больше зла принес в мир?» Бог взял его, и полетели они над землею, а на земле — войны, кровь рекой льется, города пылают. И крови-то все больше, и горя-то все больше, и конца-края бедам не видно. «Смотри, — сказал Бог, — это от твоих писаний. Они твоих книг начитались. Так кто же больше зла в мир принес — ты или разбойник?»

Иван улыбнулся:

— Интересно, но спорно.

Астафьев махнул рукой:

— Все в мире спорно, Иван. Пойдем-ка на природу. Есть у тебя не-вдалеке удобное местечко?

— Найдем. Тоня, заверни стаканчики и что-нибудь закусить.

— Ваня...

— Не беспокойся, я же понимаю: у нас гость.

Поехали к сельхозинституту, на остановке встретили писателя Владислава Николаева и поэта Виктора Козлова. Астафьев, познакомившись, пригласил их в компанию. Ермаков кивнул на здание:

— Тут в войну лежал Ленин. Слышал?

Астафьев неожиданно спросил:

— Ты член партии?

— Нет. Но Ленина чту. С партруководством не дружу, хотя Первый ко мне — уважительно. Но терпеть не могу, когда какой-то стручок мной руководить рвется...

Расположились на пологом склоне берега Туры. Астафьев смотрел на Туру, потом с тоской и гордостью заметил:



— Смотрю на воду, а в глазах — Енисей. Вот мощь! Рек повидал немало, но равной Енисею нет. Иван, налей молодым в честь праздника. Смелей, ребята, без чинов. А тебе, Иван, скажу, что партийность губит писателя. Вот ваш Лагунов. У него на каждой странице — по два парторга. Приручен. А теперь попробуй он написать что-нибудь без партии — сразу спохватятся: что это с Лагуновым, куда его понесло?

Иван промолчал, но много позже он вспомнил пророчество Астафьева, когда Костя издал «Ордалию» и получил очень жесткую взбучку в обкоме. Ведущий идеолог Смородинсков даже настаивал на официальной партийной оценке. Лагунов с обидой высказывал Ивану: «Прицепились к нивелированию роли партийных руководителей, дескать, не отражена роль партийного руководства в нефтяных делах». Лагунов тогда быстро сделал второй вариант, роман «Больно берег крут», так в обкоме вроде успокоились.

...Сидели кружком два писателя-фронтовика и два молодых литератора. Молодежь молча слушала рассказы бывалых о войне, только война в их устах становилась какой-то веселой прогулкой, вперемежку с анекдотами и фронтовыми байками. Они, молодые, так и не поняли, что этим мужикам, еще двадцать лет назад державшим винтовки в руках, ой как не хотелось возвращаться в страшные реалии войны, потому прикрывались они фронтовым и послевоенным юмором.

Проводив молодежь, Астафьев заговорил о серьезном:

— Живу в Перми, но чую: не мое. Хочется быть в коллективе, близком по духу, в небольшом, нешумном городке, где и зелень, и воздух. Выбрал Тюмень, созвонился с Лагуновым, он вроде пригласил, но сухо так, официально: «Приезжайте, обсудим». Вот приехал, позвонил, представился, жена через минуту сказала, что Константин Яковлевич болен и подойти к телефону не может. Тогда и позвонил тебе.

Иван вздрогнул: значит, Костя не захотел встречаться с Астафьевым? А этот из самолюбия сказал, что не хотел ранним утром беспокоить Лагунова. Ермакову было все это очень неприятно, пришлось спасать положение:

— Ты знаешь, Костя слаб здоровьем, может, простудился, бывает. Ты завтра в обком сходи, к Щербине — это наш Первый, уверен, что он тебя знает и примет. А Костя...

Иван догадывался: такой, как Астафьев, ершистый и уверенно рвущийся в первые писательские ряды Лагунову не очень нужен, у него отлаженный механизм, все любят и уважают, его слово — закон, его оценка — последняя. Зачем ему непредсказуемый Астафьев?

На том разговор и закончили, но сходить к секретарю обкома Виктор Петрович все-таки согласился.

Утром встретились на высоком обкомовском крыльце, по писательскому билету дежурный пропустил Астафьева, но через пятнадцать минут он вышел. Иван вопросительно смотрел на товарища: ничего хорошего выражение его лица не обещало.

— Твоего друга Щербины нет на месте, а может, и соврали, что нет, но попал я к секретарю по идеологии. Он сказал, что писателей в области своих хватает, а летуны не нужны. В общем, расстались друзьями. Тогда, Иван, возвращаюсь в Пермь и там буду решать. Есть у меня на примете еще одно место: Вологда.

— Лагунову не будешь звонить?

— Нет. Я не на помойке найден, они еще жалеть будут, что не приняли. Проводи-ка меня на трамвайчик до вокзала. Нет-нет, дальше не надо, возвращайся домой, работай. Пиши, Иван. Я ночью свет включил, полистал твои книги. «Богиня» у тебя прекрасна, и вообще манера письма неожиданная, так никто не пишет. Будь здрав, друже.

Два больших русских писателя обнялись в первый и последний раз.

14.

В 1965 году, после 20-летия Победы, Иван Михайлович высказал жене свою заветную мечту:

— Хочу поехать на места наших боев, пройтись по той земле, где солдаты мои лежат. Душа просит.

Антонина Пантелеевна не возражала, пообещала приготовить подорожников. Иван сел за карты основных сражений Великой Отечественной войны, изучил страницы с описаниями боевых действий Волховского и Ленинградского фронтов, определился, что путь свой начнет с Новгорода, до которого можно доехать поездом. А там видно будет: где автобусом, где на попутках — ему не привыкать.

Билет купили заранее, к поезду подошли за полчаса. Иван смотрел на жену: девятнадцатый год вместе, дочь Светлана и сын Саша выросли — а как будто вчера встретились. Тогда он вот так же с чемоданчиком приехал в Михайловку и Тоня, красивая и недоступная, пошла с ним из клуба. Трое парней следом вышли, но ни один не тронул: Иван постарше, да и фронтовик, телом крепок. Отстали.

Иван обнял жену за плечи:

— Не знаю, за что ты меня любишь... Или не любишь? Ладно, без обиды. Я ведь не красавец, грубоват бываю, а ты все со мной. Спасибо тебе.

Антонина посмотрела на мужа:

— Ты другого места не мог найти для объяснения?

— Время выбрано очень правильно. Вот так я на войну уходил, только не ты меня провожала, а девчонки деревенские. И сейчас очень похоже. Я ведь снова на войну еду, и опять будут у меня атаки, гибель бойцов... Найду ли те могилы? Поди, сровняло время наши холмики...

Проводница крикнула:

— Через минуту отправляемся!

Иван крепко обнял жену, поцеловал в губы, она прикоснулась к его щеке:

— Ваня, будь аккуратнее. Ты знаешь, о чем я.



— Не переживай, я обещаю. Выезд телеграммой сообщу.

На третий день ранним утром прибыл в Новгород и сразу в военкомат. Там выслушали, уточнили направления, составили график перемещения, довели до автовокзала. Начался путь Ермакова в 1943 год...

Доехал до Малой Вишеры. Не отрываясь смотрел в окно: никаких примет войны. В городке опять пошел в военкомат, тут напоили чаем, военком выделил свой вездеход, но прежде сели за карту:

— Попробуйте найти место дислокации вашего подразделения.

Иван всматривался в зеленый фон простой географической карты, хотел сказать, что на топографической сразу бы определил, а тут...

— Наступали мы как бы с северо-востока, повернули на Вишеру километров за двадцать.

— Товарищ комиссар, давайте Вихлянцева пригласим, — предложил один из сотрудников.

— Точно! — обрадовался военком. — Наш краевед до тонкостей знает историю освобождения и Вишеры, и Новгорода.

Привезли Вихлянцева, довольно молодого человека лет тридцати. Он крепко пожал руку Ермакову, назвалсЯ Фёдором и сразу согласился быть сопровождающим.

— Доедем до главного рубежа обороны фашистов, там вы должны сориентироваться.

Военком торопил:

— Иван Михайлович, время одиннадцать часов, пора ехать.

На десятом километре по команде Вихлянцева свернули с тракта и поехали луговой дорогой. Фёдор скомандовал остановку на небольшом бугорке. Вышли из машины.

— Вот, Иван Михайлович, смотрите, это окопы немцев. Вы их брали штурмом.

— По фронту они сколько тянутся? — огляделся Ермаков.

— Километра два.

— Надо пройти эти два километра, если ничего не признаю, придется в другое место перебираться...

— Подождите, Иван Михайлович... Как ваша фамилия?

Иван вздрогнул:

— Старший лейтенант Ермаков.

— Точно! Ваша рота освобождала Вишеру. А я фамилию не сразу расслышал... Пошли, найдем мы место прорыва немецкой обороны!

Иван, рванувший было с места чуть ли не рысью, остановился: сердце выпрыгивало. Постоял, пожевал валидол, пошел медленно. В лощинке остановился, отошел метров сто в глубь России, обернулся, прикрыл глаза: вот тут стоял немецкий пулемет, который ценой своей жизни взорвал рядовой Никишин. Посмотрел вперед, ближе к городку — на взгорке обелиск.

— Пошли туда, — скомандовал Вихлянцеву.

Не доходя десяти метров, встал на колени, склонил голову до самой земли:



— Это Никишин, еще Сабуров, Ахметшин, Салтановский, Драчук.

Фёдор прочел табличку на скромном металлическом памятнике:

— Неизвестные солдаты, освободители Вишеры.

Иван обнял памятник, поцеловал звездочку:

— Федя, запиши их фамилии: Никишин, Сабуров, Драчук, Ахметшин, Салтановский. Был столбик с фамилиями, видать, сожгли ветра и солнце...

Долго еще ходил Ермаков по густому травянистому лугу, закрывал глаза и видел ту атаку. Она была не хуже и не лучше других, так же стрелял противник, так же неистово рвались вперед бойцы, потому что пути назад уже не было, достаточно попятиться.

В городок вернулись вечером. Военком, довольный результатами поездки, разрешил использовать автомашину и завтра. Вместе с Фёдором Вихлянцевым выехали в сторону Великого Новгорода. Здесь Ермаков уже лучше ориентировался. Свернули на проселок, проехали три деревни, которые, точно помнил, он освобождал со своей ротой. В каждой деревне — маленький обелиск, несколько фамилий его и не его солдат. Он их не хоронил: видимо, население после освобождения собирало тела погибших на поле боя. У каждого останавливались, Иван кланялся до земли, скорбно стоял у изгороди. В каждой деревне подходили люди. Обнимали, благодарили, вспоминали подробности.

Один дедок с прищуром спросил:

— Не у тебя ли, служивый, числился татарин, высокий, здоровый? Забежал в дом, а мы только из подвала вылезли, все хоронились, пока вы не пришли. Забегает и спрашивает: «Отец, дай что-нибудь пожрать, третий день бежим за фрицем, некогда остановиться, чтобы перекусить». А я отвечаю: «Сынок, хлеб есть, буханку жена даст, ну, сало есть, но свиное, соленое». Думал, откажется бусурманин! Как бы не так! «Тащи, дед, сало!» Куда деваться? Пошел, принес шмат, на двух протянутых руках нес, он его свернул и в вещмешок. Мусульманин — нельзя не только есть, прикасаться Аллах не велит, а он даже, помнится, откусил с краю, да!

Все смеялись над дедовым рассказом, а Иван вспомнил:

— Все так и было, отец. Фамилия того бойца — Тасмухаметов. Салом тем он накормил всю роту, мы и правда тогда три дня по-настоящему не ели, все в наступлении. А под Новгородом пал боец Тасмухаметов смертью героя, прямо в атаке ему осколком голову срезало. После боя похоронили в сосновом бору.

Девочка-пионерка подошла поближе:

— Мы на солдатских могилах весной цветы садим, летом полем и поливаем.

— Спасибо вам, ребята. Ты всем передай мое спасибо, поняла?

— Поняла! — И девчоночья рука взметнулась в пионерском салюте.

Подъехали к могиле в сосновом бору. Фёдор остановился чуть в сторонке, чтобы не мешать Ермакову поговорить со своими ребятами.

— Здравствуйте, товарищи бойцы!



— Здравия желаем, товарищ старший лейтенант!

— Как вы там? Мягкие ли ветки сосновые подложили друзья под вспотевшие ваши спины? Не жмут, не теснят вас своими корнями приютившие вечные сосны? Не давит ли на вас родная земля, не низко ли в головах, не мешают ли вольные птицы своим гвалтом?

— Нет, командир, просохли наши спины, и не теснят могучие сосновые корни, родная земля пухом прикрыла, и ничто не мешает нашему сну.

— Тогда слушай мой рапорт: прогнали мы фрица с родной земли, и еще многие народы освободили, и двадцать лет празднуем День Победы, которого бы не случилось без ваших отчаянных подвигов. Народ вас помнит, и Родина помнит, и детки приносят цветы на ваши могилки.

...Иван сел на траву и заплакал. Он не помнил последних слез, забыл, что горе может вот так солено капать из горячих глаз. Долго сидел, пока не подошел Фёдор и не прошептал:

— Пора, командир!

Иван встал, надел кепку и приложил руку к козырьку:

— Прощайте, товарищи!

— Прощай, командир! — дождался тихого, как шум летнего дождя, недружного ответа.

Он ехал и думал, как напишет об этой встрече, мистической и реальной, невозможной и все-таки состоявшейся. Важно не растерять, не растряссти вот это состояние, когда он может говорить с убитыми и погребенными, угадывать их мысли, их наказания, их обиды. Слова стремились друг к другу, и он уже не мог их запомнить, только чувство, только ощущение...

«...Хоронили Тасмухаметова. Нашли его голову.

Тогда, через год жестокой обороны, мне подумалось, что деревьев на нашей высотке осталось куда меньше, чем солдат, похороненных под корнями и между корнями тех самых и некогда бывших деревьев.

Я был взводным на этой высотке. Иногда мне становится стыдно, живому, что я не сумею без списка, по памяти, сделать своему взводу по-смертную пофамильную переключку.

Зато я помню деревья на нашей высотке. Каждое из них не было похожим на другое и каждое было единственным в мире, неповторимым. Природа неутомима в поисках единичности, и, если когда-нибудь она поделит свои океаны на капли, она это сделает так, чтобы среди них не было двух одинаковых. Что уж тут говорить о деревьях? Мы не знаем, быть может, в зеленом их таинстве звучат свои голоса — у каждого дерева свой, быть может, у каждого дерева есть свое имя, ведь для природы в поисках единичности не составляет труда придумать каждому дереву имя.

Неповторимы смерти, неповторимы деревья, видевшие и принявшие в корни свои солдатскую смерть на удельной своей высоте. Каждое из них было братски похожим одно на другое и каждое в то же время было единственным в мире в своей непохожести.

Так думается мне потому, что остались на этой высотке мои поименные деревья. А что я, что я перед вечным творцом — перед вечным



глаголом природы? Но, однако же, есть и у меня на земле, на той самой высоте дерево — Иван Петрович Купцов, дерево — Тягляшев, дерево — Фарахутдинов».

...Телеграмму дал из Москвы, номер поезда и вагон, выбрал такой, что приходит днем, чтобы не дергать Тоню, ведь и ночью придет, а утром на работу. Вышел из вагона, Тоня взяла его за руку, отошли в сторону.

Обеими руками взяла его лицо, заглянула в глаза:

— Что с тобой?

— Все нормально, я рад, что дома. Как ребяташки, как мама?

Дома помылся в ванной, пообедал и ушел в свою комнату. Тоня прислушалась: не пишет, не спит? Приоткрыла дверь: Иван лежал на диване с открытыми глазами, заложив руки за голову.

— Ваня, все нормально?

— Нормально.

Так продолжалось несколько дней. Иван почти не ел, много курил, открыв окно, и молчал. Антонина Пантелеевна не знала, что делать. Наконец Иван встал, побрился, сел за кухонный стол.

— Тоня, я был там... Мне казалось, что мои ребята слышат меня и говорят со мной. Я должен написать о той жестокой цене, которой оплачена Победа, о моих товарищах, о себе. Это будет не сказ, тут не место лирике и умилению, это будет жестокий роман о войне, и имя ему будет «Храм на крови». Начну, когда пойму, что — пора. Это будет в конце жизни. Я пойму когда.

15.

Ермаков никогда не собирал компании по случаю дня своего рождения. Вот если книжка вышла или в солидном журнале сказ опубликован — тут Антонине Пантелеевне приходилось постоять у плиты, хотя сам Иван Михайлович просил:

— Тоня, ну какие салаты? Какие запеканки? Открой банку огурцов, Николаев весь рассол выпьет, любитель. И сала соленого мороженого нарежь с луком. Да, Шерман — еврей, но ты бы видела, как он сало ест! Мужикам больше ничего и не надо.

Тем не менее съедалось и выпивалось все. Антонина Пантелеевна все время удивлялась, что за столом шли порой острые, до вскакивания со стула, разговоры о литературе, о книгах. Кого-то ругали, кого-то хвалили, но только в присутствии — не за глаза. В центре внимания всегда были женщины. Людмила Славлюбова с удовольствием пела. Евгений Шерман, Борода, как его звали писатели, рассказывал смешные анекдоты. Владислав Николаев и Виталий Клепиков, учтивые и деликатные, всегда поощрялись хозяйкой домашней выпечкой и чаем.

В этот раз приехал главный редактор журнала «Сибирские огни» Анатолий Никульков. Его роман «На планете, мало оборудованной» о Маяковском и его времени печатался в журнале и вызвал бурю эмоций



как литературных, так и гражданских: не все разделяли оценки писателя и его трактовку сложнейших отношений в литературной среде того времени. Ермаков, хорошо знавший Никулькова, встретил его на вокзале, сразу привез домой.

— Иван, что у тебя с Лагуновым? — за чаем спросил гость. — Мне стала известна его негативная оценка твоей личности в Союзе писателей. Не думаю, что это будет иметь последствия, но факт неприятный.

— Мне, Анатолий, от его оценки... Короче, на мощность она не влияет. Другое дело, что мы его как писателя потеряли. Я почему об этом с горчинкой? Лагунов меня заметил, поддержал — я русский человек, имею благодарность в душе. Но Костю испортили партийные вожди, им нужны гимны нефти и газу, ну, и им заодно. Последние его романы — чистая публицистика. Ладно. Давай о тебе...

Иван стал говорить о сильных впечатлениях от нового романа Никулькова, неожиданного Маяковского узнал, совсем иного Есенина.

— Признаюсь, Анатолий, Маяковский мне близок: груб, хулиган, а по существу, большой ребенок. Скажу тебе, пока по рюмке не приняли: во мне Маяковский повторяется. Во многом. А когда прочитал про вечер памяти Есенина, про березку на сцене, про мысли его: «Вот Сергею поставили березку, а на мой вечер выволокут на сцену какой-нибудь дубовый пень», сразу подумал: а ведь и со мной так же. Я его понимаю.

Никульков спросил:

— А литературный вечер тебе Лагунов не предлагал?

Иван криво улыбнулся:

— Давай не будем об этом.

— Ты его приглашал?

— Не приглашал. Будут хорошие ребята, ты всех знаешь: Шерман, Славолубова, Николаев, Клепиков. Хочу рассказать сегодня о самой большой своей мечте. Ну, без анонсов, потом услышишь.

Гости ввалились всей компанией, объятия, поцелуи. Людмила Славолубова поставила на стол красивые часы с дарственной надписью: «От Люды, Славы и Жени». Разместились, сказали тосты. Конечно, не обошлось без соответствующих моменту хвалебных слов.

...Имя и фамилия Ивана Михайловича удивительным образом сочетались с его внешним обликом. У него был подчеркнута квадратный лоб, который он называл славянской плахой. Была эта самая «плаха» испещрена подкожными темно-синими метинами — следами, как он говорил, власовских гостинцев. Твердят, что два раза в атаку не ходят: если при первом броске судьба тебя своими доспехами прикроет, то на втором все равно схлопочешь положенные девять граммов. А он, сибирских кровей детинушка, поднимал свой взвод в атаку пять раз. В сырую непогоду, в перепады стальная мелочь начинала шалить, и он водил по телу рукой, словно собирал осколки в одно место, дабы их легче было усмирить.



Из-под кустистых бровей на собеседника смотрели по-деревенски мудрые, с лукавинкой — весь ты как под рентгеном — глаза. Нос крупный, мясистый, а на ноздре — шершавая бородавка. В минуты гнева или радости она то нервно подрагивала, то весело подпрыгивала, словно была с душой и жила самостоятельной жизнью. Под ядовитыми губами висел тяжелый, как бы обозначенный резцом скульптора, подбородок. Да и вообще все в нем было массивным, сибирским. Он и по городской улице двигался как утес, рассекая надвое грешные людские потоки: «Посторонись, народ, Ермак идет!» Более-менее точно его внешний облик передал на своем холсте художник и тоже солдат Остап Шруб. Но уж больно глубоко мастер мастера утопил в печали.

Телефонный звонок. Антонина Пантелеевна берет трубку.

— Ваня, тебя.

— Слушаю, Ермаков.

— Извините, вам правительственная телеграмма. Можно, я вам прочитаю, а бланк привезем утром? «Тюмень зпт писателю Ермакову Ивану Михайловичу тчк Уважаемый Иван Михайлович воскл горячо и сердечно поздравляю вас с пятидесятилетием зпт желаю крепкого здоровья зпт благополучия в семье и новых книг тчк Щербина тчк». И мы все вас поздравляем, Иван Михайлович...

— Восклицательный знак! — закончил ее слова Ермаков. — Спасибо, девушки.

Помолчали.

— Какой молодец Щербина! — воскликнул Шерман. — Какого человека отдали!

— Он просил меня, — сказала Тоня, — присылать ему книги Вани, и я все отправляла на домашний адрес, и книги, и журналы.

Встал Шерман, расправил свою могучую бороду:

— Иван, не думаю, что испорчу тебе и всем нам праздник, но мне доподлинно известно, потому что в обкоме есть наши ребята: еще задолго до назначения в Москву Борис Евдокимович поручил соответствующим товарищам, не будем их называть, вы и без того их ужасно любите, так вот, он поручил подготовить представление на награждение Ермакова в связи с 50-летием орденом Трудового Красного Знамени. Как только он уехал, бумаги спрятали подальше.

Иван поднял бокал:

— Он сказал: «Не надо орден!» Всё! Забыли. Друзья мои, я обязан доложить вам, что намерен написать очень серьезную вещь, это будет не сказ, это будет повесть, а возможно, даже роман. Название есть, оно родилось в окопчике на Синявинских болотах, где я был несколько лет назад, причем похоже, что именно в этом окопчике я и лежал в сорок четвертом под Верхней Вытегрой. Книга будет называться «Храм на крови». Понимаете, пишу сказы, а в голове стучит... Многое надо мне рассказать о святом, беззаветном, пройдисветном, лихом, удалом, лукавом и небезгрешном русском солдате, стоявшем на гребне истории и творившем ее. С годами, честно признаюсь, запамятовал имена пав-

ших. А были во взводе и русские, и украинцы, и татары... Настоящий интернационал!

Иван Михайлович остановился, осмотрел гостей: все слушают, даже не закусывает никто.

— Так дело не пойдет, давайте по рюмке за нашу дружбу, она всех других качеств важнее.

Выпили.

— Продолжай, Иван, — попросила Славлюбова, промокая влажные глаза.

— Перед отправкой на покуда еще не оплаканные окопы видел я в зале ожидания опального попа-батюшку. Был божий человек отослан за какие-то прегрешения в глухомань, в ссылку. Разговорились. И надо же, оказалось, что батюшка в свинцовые годы тоже не мух гонял — хаживал на вражеские стада, где со штыком, где с прикладом. И фронтовые дороги наши пересекались не единожды. По такому пресветлому случаю побрели мы в ресторан. И свершили очередное святотатство — крепко пригубили, а вернувшись в зал, сели и ушли в сон, по-фронтовому тесно прижавшись друг к другу. Только в какой-то миг проснувшись, я товарища рядом с собой не обнаружил. Однако заметил, что кочевой народ — пассажиры, проходя мимо лавочки, смотрят на меня и не могут сдержатъ усмешки. Провел дланью по суровому своему лику, пересчитал все пуговицы, ширинку — вечную предательницу — обследовал. Все вроде в полном порядке, все в рамках княжеского приличия. И трудно понять, почему народ, глядя на меня, улыбками зал озаряет. Пришлось идти в туалет. Там зеркало висело. Редкое исключение, я под хмельком в зеркало на себя не смотрю, чтоб доброе мнение о себе не сглазить. А тут уставился в стекло — и сам дико заржал. На всепобедной моей голове красовалась бархатная камилавка. Когда состоялся обмен головными уборами, память не сохранила. Уехал поп-батюшка в далекий свой скит в мирской шляпе...

Посмеялись.

— Конечно, война. Буду писать ее такую, какой знаю. Понимаю, что непросто, что у нас теперь развелось героев, которые одной гранатой по три танка подбивали...

В помощь памяти приходят сны. Я никогда до поездки на места боев и могил не видел сны про войну, ну, не снились. Может, молодым был, иные видения посещали. А тут...

Страшны солдатские сны... Тот немец... Застрелил ты его или нет? После получасовой артподготовки, кровенясь и дичая в плотной завесе заградительного огня, взвод, полувзводом всего, просквозил огонь и ворвался во вражеские окопы.

Теперь бей все живое-земное, уцелевшее, движущееся, копошащееся, целящееся, оштычившееся. Жизнь уже даже не копейка: полсекунды и жизнь... Каждым мускульцем, слухом и нюхом и шестым своим чувством ты нацелен убивать, упредить, обыграть свою смерть, и оружие твое, злое, умное, зрячее, ежемгновенно и преданно служит тебе.

Тот немец...

Застрелил ты его или нет?

В тот момент, когда ты по его обреченную душу довернул ППШ-автомат, ты увидел вдруг на его живом лице свесившиеся на уровне крылышек носа огромные кругляши. Ты застыл, недвижим, обеззобленный.

Немец полз по дну окопа. Его пальцы, ладони были облеплены мокрым окопным песком, приближаясь к тебе и не видя тебя, немец приподнял вдруг голову и, призывая «Mein Gott, o mein Gott!», начал вправлять искореженными песчаными пальцами в сгаснувшие орбиты выдавленные артподготовкой бело-сине-красные льдинки остывших глаз.

— Не надо с песком! — крикнул ты или хотел только крикнуть.

И не помнишь: выстрелил ты или хотел только выстрелить.

Содрогнувшись от живого и как бы осмысленного сияния зрачка в рукоприложенном, суверенном от мозга глазу, был отшвырнут ты невменяемо-жуткою, леденящею силой видения войны.

Немцы накрыли свою первую линию по готовым таблицам пристрелянным артиллерийским огнем. В той атаке ты был дважды контужен.

Видение сделалось привидением. В бодрствовании оно где-то затаивалось, теплилось, существовало инкогнито, зато по ночам, склоняясь к его изголовью, оно рвало дремоту, сны, и солдат, окатываясь пронзительным потом, с воплем ужаса подхватывался с постели, ходил, трепетал.

Снилось: немец тот лез обниматься, свисающие, колеблющиеся яблоки глаз касались своей обнаженной округлостью, вонзали в щеки и шею льдисто-искристый колющий холодок: «Mein Gott, o mein Gott!»

Еще вспомнил соседа своего по госпитальной палате:

— Сосед по палате тоже ночами во снах одичало кричал, вскакивал и подолгу потом примерялся к действительности.

Этому снились две озверевшие крысы.

Из разбитых и обезлюдивших фронтовых деревень продвигалась оголодавшая дичь вдоль окопов противников, нарыскивая чуткий хлебушкин запах, трупный солод людей и лошадей.

Его лошадь, запряженная в полевую походную кухню, в солдатскую кашу, наполоховшись близких внезапных разрывов, понесла, понесла, понесла. Заступила копытом в минное поле. Даванула взрыватель у настороженной мины. Повар-раздатчик потерял после взрыва сознание.

С трудом и не сразу-то возвратясь к бытию, опознал он в двух живностях, копошащихся на его онемевшей груди, этих самых. Седые каналы, упираясь хвостами, привстав на задки, умывались. Смывали кургузыми лапками с мордочек кровь, его кровь, облизывали их розовыми ленивенькими языками. Тогда-то и вскрикнул и подхватился в первый раз.

У лошади были обгрызены, обезображены губы. Белела зубами и жутко нехорошо улыбалась.

И теперь по ночам прибегали они, серые безобразные твари, аж с Волховского болотного фронта, усаживались на инвалидскую грудь и опять, как тогда, умывались, повизгивали.



Да, страшны солдатские сны...

И будет там такая молитва: «Взводный! Иван Взводный, Ротный Иван! Помнишь ли ты своих солдат? Помяни их, братьев окопных своих помяни. Выстрой их на поверку, на утреннюю переключку. Назови поименно: Алёшин из Курска, Тасмухаметов из Казахстана, Спиридонов из Омской, Корольков из Липецка, Ишмурзин из Башкирии, Гарифуллин, Момоджанов, Тенгляшев... И ничтожно мала душа твоя, ибо довольно наперсточка пороха, сгоревшего во вражьем патроне, довольно пронзительной пульки, чтобы сжечь ее чуть большим мгновением, потребным для сгорания того пороха...»

Иван замолчал, взял со стола свой бокал, налил и поднял:

— За них, за моих бойцов.

16.

Антонина Пантелеевна выбирала момент, когда Иван не работал за столом в своей маленькой комнатке, и принималась делать уборку. Конечно, смотрела рукописи... И вдруг споткнулась о «Храм на крови». Неприятно екнуло сердце: после возвращения из поездки на свой Волховский фронт Иван говорил, что роман этот будет писать в конце жизни. Так и сказал: «В конце жизни». Тоня хотела переспросить, как он определит этот момент, но из суеверного страха воздержалась. И когда на вечеру в день 50-летия он вдруг начал рассказывать эпизоды для будущей книги, она заволновалась.

Через несколько дней после юбилея она спросила:

— Ваня, как твое сердце? Ты во сне стал стонать. Болит?

Иван Михайлович признался:

— Горит вся грудина. Боль небольшая, а работать-то мешает.

— Я вижу, что ты за «Храм» взялся. Помнишь, обещал, что в конце жизни? Отложи, есть ведь другие темы.

Он приобнял жену за плечи:

— Есть, но эта не дает мне покоя. Ты не переживай, я пока не пишу, думаю, вспоминаю.

Она заглянула ему в глаза:

— Ваня, а на столе листок?

Иван улыбнулся:

— Проба пера. Поискал варианты начала. Все, успокойся.

Через неделю Антонина увела мужа на прием к кардиологу, и Ермакова положили в стационар. Врачи запретили больному читать и писать, но нельзя запретить думать. Приходя после работы в палату, Антонина Пантелеевна видела Ивана, лежащего с закрытыми глазами, думала, что спит, пробиралась осторожно к кровати, но он говорил:

— Я не сплю. Как дома?

— Все хорошо, мама здорова, придет к тебе завтра, ребята тоже...

Иван нервничал:



— Не дают работать! Писателя нельзя выключить, как телевизор. Все равно у меня все в голове, надо бы выписать. Вчера упросил сестру принести тетрадь и карандаш, доктор сегодня чуть не с матерками отобрал. Он тоже фронтовик, мы в прошлую ночь дежурили вместе, порассказывал он про Финскую кампанию и оборону Сталинграда. Нашему народу, Тоня, надо бы веки-то приподнять, как гоголевскому Вию: не то творят вожди, не то. Тут по радио услышал, что американский ученый, который следит за новинками в советском вооружении, сказал, что русские способны мухе на Луне попасть ракетой в левый глаз. Образно, конечно, вроде и гордиться есть чем. А мне видится твоя стиралка, когда ты кричишь: «Ваня, помоги отжать!» «Москвич» соседский, который он зимой не может завести, а летом заглушить, сосед уж в подъезд заходит, а двигатель все еще детонирует.

Тоня спокойно удивилась:

— Ты никогда так не говорил... Воевал за советскую власть, в партию вступал.

Иван молча согласился: да, воевал, да, вступал.

— Тоня, власть, государство сами по себе не могут быть ни злыми, ни добрыми. Люди во власти все определяют. Ты слышала, какую байку сочинили тюменцы: «Был Щербина, была и свинина, а стал Богомяков — одни головы и ноги. А где мякоть?»

Тоня засмеялась:

— Не сам ли придумал?

— Нет, конечно, но остроумно, есть, видно, в Тюмени толковые ребята.

— Ты мне зубы не заговаривай. Как твое сердце?

— Нормально, можно бы и домой. Завтра кардиограмму сделают, буду проситься.

На другой день к вечеру Ермаков уже был дома. Снова день и ночь — в своей комнате, Тоня прислушивается: не стучит машинка, возможно, пишет ручкой, такое у него бывает, когда мысли нахлынут и на машинке не успевает. Дверь приоткроет — сидит, голову руками охватил.

— Ваня, все нормально?

Поднимет голову, а глаза влажные, и сам где-то далеко. Тоня боялась такого его состояния, свекровь Нину Михайловну спросит, та только головой качнет:

— Такая его планида, в озере не утоп, волки не разорвали, в войне не сгинул — для чего-то берег его Господь? Вот и несет он крест. Как Христос нес на Голгофу, читала? И рады бы друзья-товарищи помочь, да нельзя. И тут так же. Кто ему душу вскроет и по частям все разложит? Да никто. Вот и мается. Только, гляжу, уже нечеловеческие его муки...

Ермаков шаг за шагом шел по страницам и главам будущей книги, отмечая все наносное, пресное, отбирая людей и события ядреные, звонкие, грубые, жестокие, но только из жизни, только правду. Делал пометки на листах, одним словом обозначая бой, горькие похороны, неожиданный праздник, какой отмечала его рота, когда рядовой Гарифул-



лин из пополнения получил письмо, что первого сентября у него родился сын...

...И опять тяжелые думы, воспоминания, неожиданно возникающее одиночество.

17.

Чувствовал ли Ермаков приближение своей кончины? По этому поводу много суждений, людям свойственно выстраивать в ряд совершенно, кажется, несовместимые случаи, приметы, явления, чтобы потом воскликнуть: «А я знал!»

Никто ничего не знал.

И сам Иван Михайлович — прежде всего.

...Дачу на берегу Туры Антонина Пантелеевна купила без согласия мужа, более того — он протестовал, причем не просто так, а три года на даче не появлялся. Наконец Тоне удалось заманить туда мужа, и он, обойдя участок, пройдя вдоль берега реки, с улыбкой согласился, что супруга хорошо сделала, прикупив это хозяйство.

Иван привез инструменты, кой-какой материал, по несколько часов колотился, ремонтируя домик, изгородь, что-то еще. Когда жена уезжала на работу в родной «Родничок», где служила администратором (одну неделю с утра, другую с обеда), он оставался один в этой почти неземной тишине, и свежий воздух, и надоедливые комары, и далекие, не мешающие думать звуки с соседних участков — все это напоминало ему Михайловку.

Выбирал минутку и шел берегом Туры, которая при разливе принесла множество всякого мусора, в том числе вымытые корни кустарников. Вот их и вылавливал Ермаков, наскоро обрезая и складывая кучкой, а потом нес это богатство и раскладывал на продуваемых солнечных скатах крыши. А когда корешки просыхали, садился в холодок и начинал их обследовать. Во взрослом мужчине проснулся юноша-кукловод из омского театра. Опытным глазом назначал: быть сему корешку бесом, а этому — кикиморой. Чего только не нарезал за отпущенное себе время — и опять на крышу, досушивать. Потом увозил в квартиру, в потрепанном портфеле нес в кабинет отделения Союза писателей, где всегда былолюдно, доставал из портфеля и одаривал всех.

Все друзья и товарищи давненько заметили, что Иван стал отказываться от рюмки. И на юбилее, только этого никто не знал, кроме вездесущего Шермана, именинник пил обыкновенную воду, стоящую в бутылке чуть в стороне. Но и народ был деликатный, никто не нажимал: «Ты меня уважаешь?», никто не неволил. Потом — месяц в обкомовской больнице, была такая при областной на улице Котовского, вышел оттуда полный сил и надежд. С нетерпением ждал выхода в Москве большой книги сказов «Стоит средь лесов деревенька», даже с улыбкой прощал дружеские дополнения к заглавию: «Качается, правда, маленько». И жил образами будущего «Храма».



А в начале июня поэт и младший товарищ Николай Денисов пригласил Ивана Михайловича в поездку в пригородный Успенский совхоз. Крестьяне как раз были в поле, шла массовая посадка картофеля. Остановились, собрались в кружок... Выступил Денисов, Геннадий Сазонов, геолог и прозаик, на круг вышел Ермаков. Он что-то веселое и важное говорил про картошку, про ее спасительную роль в годы войны, про то, как зимой повара засыпали в котлы картошку сушеную, и пожилые женщины кивали головами: «Все правда, сушили и сдавали по заданию сельсовета». Выступили еще в трех местах. Телевизионщики Любовь Переплёткина и Татьяна Лагунова с оператором Васей засняли все.

Уже по дороге домой, проезжая по Успенке, Ермаков увидел в окно: перед домом на скамеечке сидит старый дед в распушенной рубахе под ремешком и в валенках. Июнь! Жара!

Иван кричит водителю:

— Остановись на минутку! Я не могу не поговорить с этим человеком!

И они минут двадцать кричали что-то друг другу, размахивали руками, потом обнялись, и Ермаков довольный сел в машину.

— Полчаса общения с таким старцем заменят курс Литинститута. Какая у него речь настоящая! Молодец!

В конце июня позвонили из радиокомитета, пригласили на запись. Вообще, и телевизионщики, и радиожурналисты любили работать с Ермаковым, из него не надо было тянуть слово, он говорил роскошно, играя народными словами, эмоционально жестикулируя и дополняя все выразительной мимикой. Настоящий актер — в этом сходились и журналисты, и зрители.

Во вторник, девятого июля, Иван Михайлович приехал на дачу. Почти в это же время уехала гостившая у мамы дочь Светлана. Поужинали, поговорили, а утром Иван Михайлович встал рано, проверил рыболовные снасти, занялся своими корешками, ворчал, что кучка меньше стала, наверное, Светка в костер подбрасывала.

У крыльца остановился и посмотрел на длинную грядку цветов:

— Тоня, что-то много желтых гладиолусов. Раньше столько не было.

Жена ответила со смехом:

— Наверно, к разлуке, Ваня.

Он присел на крыльцо:

— Ты мне рыбу пожарь, а головы оставь, я потом уху сварю.

В обед Тоня уезжала на работу во вторую смену.

Пока жена жарила рыбу, Иван Михайлович походил по двору, осмотрел огуречные грядки.

— Тоня, огурчиков посоли, я поел бы малосольненьких.

А потом подошел ближе и прошептал:

— Тоня, плохо. Сердце.

Хватилась во все сумочки, во все углы — нет ничего! Побежала к соседям, дали какие-то таблетки — не помогают.

Увидела, что сосед Попов на машине подъехал, побежала к нему:

— Ради бога, довезите до ближайшей больницы, мужу плохо.



— Лекарства надо иметь на такой случай, — назидательно сказал сосед. — Везти не могу, видите, малина поспела, надо обобрать, а то опадет.

Антонина Пантелеевна на колени упала:

— Я потом всю малину оберу и свою отдам.

— Нам чужого не надо.

Не поехал. Тоня вернулась, Иван сидел на крыльце мокрый от пота, синюшный цвет лица.

— Ваня, пойдем на трассу, там поймаем машину.

Прошли сотню метров, Иван остановился:

— Тоня, больше не могу.

Она прислонила его к березке, метнулась к трассе — далеко! Что делать? Вернулась, взяла мужа под плечо, пошли.

Через минуту он убрал ее руку и спокойно сказал:

— Все, Тоня...

Она подхватила ослабшее тело мужа, приняла на руки и на колени. Иван вздохнул еще раз и вытянулся. Она не помнит, сколько времени просидела с мертвым мужем на руках. Потом подошла женщина, дачная сторожиха:

— Что же ты сидишь, милая? Давай его положим, а ты сходи на дачу, принеси простыни.

Простынями укрыли тело. Приехала «скорая», милиция. Остановили грузовик, посторонние ребята наломали веток, погрузили тело Ивана, Тоня села рядом.

Когда ее впустили в морг и она увидела своего Ваню среди распухших трупов утопленников, закричала:

— Нет, я его здесь не оставлю! Я его сама похороню.

Патологоанатом вошел в ее положение:

— Если привезете документ из больницы, что он стоял на учете и лечился от сердечных дел, можно обойтись без нас.

Она побежала в обкомовскую больницу, карточку нашли, справку дали. Но уже на обратном пути Тоня одумалась: «Неправильно я делаю. Ваня человек известный, и про его увлечения многие знают, найдутся злые языки, наплетут, что от пьянки умер. Нет. Пусть врачи делают как надо, чтобы у меня на руках был документ».

Уже через неделю она убедится, что правильно поступила. Слухи о смерти по пьянке, более того — под забором где-то у дач, поползли среди любителей позлословить. И обиднее всего было то, что авторами, а то и «свидетелями» оказывались люди, бывавшие в доме Ивана, сидевшие за его столом.

От официальных похорон власти отказались. «Похоронить как простого советского человека» — эта фраза обкомовского функционера больно ранила сердце вдовы, горечью отозвалась в писательских рядах, матом реагировали на нее простые советские люди.

Хоронили из здания бюро пропаганды литературы, что стояло на улице Ванцетти. Во дворе дома — трава-мурава, молодые березки, от всей России они попрощались с воспевавшим их писателем.

Был рабочий день, но люди шли и шли к домику на Вандетти. Иван был бы доволен: его провожал простой советский народ, за который он воевал на фронте, за который рвал сердце в чиновничьих кабинетах, для которых писал свои пронзительные сказы. А после похорон до поздней ночи в квартиру над «Родничком» шли малознакомые и совсем незнакомые люди, чтобы поклониться его портрету, помянуть добрым словом, поддержать мать, похоронившую последнего сына, вдову и детей.

... Через два года на Червишевском кладбище скульптор А. Н. Мальцев установил обелиск с выкованным в металле профилем великого сибирского сказителя Ивана Ермакова.

Земля слухами полнится. Антонине Пантелеевне звонили из московских, свердловских и новосибирских издательств, из десятков журналов и газет, в которых Ермаков печатал свои сказы. Позвонил Никульков, редактор «Сибирских огней»:

— Антонина Пантелеевна, я прошу вас никому не отдавать рукопись «Храма на крови», Иван Михайлович обещал ее нам.

— Ваня не написал этот роман, — ответила вдова со слезами.

— Извините, как не написал? Помните, на юбилее в январе он читал нам целые главы.

— Он не читал, он рассказывал.

— Но рассказывал, видимо, написанное?

— Еще раз повторяю: такой рукописи в архиве Ивана Михайловича нет.

Все, что вспомнил, что увидел во фронтовом окопчике, что обдумал и вложил в память свою писатель для будущего романа «Храм на крови», он унес с собой.

Осталось несколько листов с названием — то от руки, то на печатной машинке — «Храм на крови» и неполные страницы текста.

В публикации использованы фрагменты произведений и черновиков И. М. Ермакова, воспоминания вдовы писателя А. П. Ермаковой, журналиста Б. Галязимова, К. Я. Лагунова, поэта Н. В. Денисова, А. Х. Хабиденова.

Восстановлены подлинные фамилии актеров и режиссера Омского кукольного театра, начальника Омского пехотного училища, солдат роты старшего лейтенанта Ермакова, жителей Михайловки и поселка им. Челюскинцев, участников поисков Ермака, рыбаков с мыса Вануйто, руководителей области и Казанского района и, конечно, писателей.

Станислав МИХАЙЛОВ

ДЕНЬ СИНИЦ

* * *

так сибирь оглушила зима,
что на голос уже не пробиться.
и мелькают в немой синема
люди — люди ли? — чужие лица.
глухоты вездесущая тварь
так накрыла сибирских полсвета,
что заученный в детстве букварь
без примера живет и предмета.
так, наверное, ищет слепой
равновесья на пляшущем трапе,
так любви бескорыстной тропой
от утраты влачится к утрате.
так в часах истекает песок,
отверзая могильные глины,
так сиротский дрожит голосок.
снег да снег. снегири и рябины.
так отъезжих осин и берез
меркнет отсвет тревожный и жалкий,
так к окну слюдяному примерз
полустанок в степном полушалке.

* * *

Весной из-под земли выходит Боттичелли,
Безумие его черней и горячей
Речей учителя, что держит в черном теле
Крестьян, кочующих за солнышком, — грачей.

А воротник больничного халата
 Похож на голубя, прижатого к щеке.
 Земля разрытая ни в чем не виновата,
 Весна прощается на птичьем языке.

Весна тосканская зовется «примавера».
 Рисунок тает — нить истончена.
 Но там, где циник говорит: «Химера»,
 Художник — и из-под земли: «Весна!»

На злом огороде

На злом огороде крапивная зреет орда,
 Пасется картошка, стреножена сорной травой.
 Зачем я, сжираемый гордостью, ехал сюда?
 Крыжовник колючий не пустит меня на постой.

Ползут огурцы, что кривее кривого ножа,
 Десант парашютный по грядкам рассыпал укроп.
 Не красная роза, но рана дымится, свежа, —
 То белый туман расстилает мне влажный покров.

Я, словно Егорий, дракона хотел бы попать,
 Но ятем не вышел, какой-то нелепой фитой
 Глаза округляю на зеленоглавую рать,
 А рот — как окуроч, а ноги — забор-сухостой.

Я сам не скажу им, не выдам, как болен и слаб,
 И тяпки не брошу до схода вечерней зари.
 Но плещет в калитку приобская вольница трав,
 Коронами блещут соснового дома цари.

Полынь и крапива и снова без края полынь,
 Ярутка, ежовник, пырей, молочай и осот.
 Всей травной, всей горько-зеленою кровью прихлынь,
 Отрада земная благая, на злой огород.

* * *

Никаких полуогненных крыл,
 Дымно-огненных туч никаких.
 Ангел плащ починить попросил,
 Слабых сил моих, рук нитяных.

Плащ постыдно истлел — ему срок.
 Но побудь еще малость плащом.
 А вокруг городской говорок,
 Мол, никто ни за что и ни в чем...

Голосила больная швея,
 Что не сшить ей стреноженный век.
 Мать рванья собирала края,
 Но сломался шитья оберег.

Не могу для людей никаких,
 Не хочу для чужих быть творцом.
 Лишь для трав и деревьев малых сих
 Хлопочу изумленным лицом.

В небе выкрою пестрый лоскут,
 Игл сосновых возьму, паутин.
 А заплату нашить — был бы труд,
 Плащ один да и ангел один.

* * *

старый «Приморский» — на шиферной крыше
 «Шипки» и «Примы» засохший букет.
 бледный Б. Л. прикорнул на афише —
 местных поэтов любимый поэт.

чаячий пух
 кофты старух

катер темнеющий станет на якорь,
 и опустеет вечерний ОбьГЭС.
 лама печальный тибетского яка
 возле «Приморского» выведет в лес.

курит пацан
 зырит цыган

бродит по улочкам спелая брага,
 рощи окрестные ждут на постой.
 рядышком в клинике «Доктор Живаго»
 лечат поэтов, ушедших в запой.

просит узбек:
 съешь чабурек.

белый маяк выкликает из мрака:
райнер мария... марина... борис...
синие очи тибетского яка
выше полночной луны поднялись.

мусорный бак
выгул собак

брат пастернака, кузен сельдерея...
что о себе мы в провинции мним?²
это сибирь или гиперборея?³
свет над «Приморским» и чайки над ним.

* * *

День синиц — всё динь-динь да день-день,
На снежок апельсиново-алый
Лег щекой щеголёнок Монтень,
Нечестивый, счастливый, усталый...

Как все просто — живи не во лжи,
Суверенно храни на ладони
Нежно-синюю письменность жил
И гортанную жажду Дордони.

Что тому, кто бумагу марал:
Первым быть побиенным, не первым...
Нам уже не читают мораль,
Но поют ее голосом скверным.

Пусть однажды не станет имен
В безымянной стране поговорок,
Переждем помраченье времен
На горсти апельсиновых корок.

Пусть морщина прорежет и тень
Беспечальную сень небосвода.
День синиц — всё динь-динь да день-день,
Не свобода, но плен и свобода.

* * *

Сентябрь.
Седьмое.
Пятница.
Из этой
готической записки дневниковой
кристаллик соли выпал и растаял.

Поэзия жирна на чернойбровой
гектарине...
Но кто б ее заставил
уйти в туман, уплыть...
в словарь толковый.

Сентябрьсдьмоепятница... так что же —
сентябрь — девятый в табели о рангах? —
сдьмое? — что с того, шестое гложет,
вчерашний август в пикниках и пьянках,
наглее, деспотичнее, моложе...
Венецианов в васильках и маках.

Избушка, кружка, матушка, березка,
сентябрьсдьмоепятница, калитка.
Беру займы у Бахуса и Босха.
Синдром безмольва, чем ни обусловлен,
Ни слова не дает связать, ни вздоха.
Так что же после отзовется в слове?

В сухом остатке патока и пытка.

* * *

Как-то мы загостились здесь,
В этих черно-зеленых лесах.
И душа, ничего-то не веся,
Утонула в чужих голосах.

Раньше кланялись в пояс крестьяне,
Проще были и как-то родней.
А теперь никого в Каракане,
Нет людей — вурдалаки одне.

Одиноко брожу по крапиве
Пополам с коноплей и репьем.
Завтра придет сияющий ливень,
Словно витязь с алмазным копьем.

А пока облака кучевые...
Неподвижные, как острова.
Чуть живые слова, чуть живые...
Бесконечно чужие слова.

Михаил ЧЕРНЕНОК

НА ПЕРЕКАТЕ

Р а с с к а з

Похожий на цыгана пожилой кадровик проверял документы молча и так придирчиво, будто задался целью во что бы то ни стало уличить их владельца в криминале. А документов было всего три: серпастый, молоткастый советский паспорт, военный билет и медицинская справка из поликлиники водников о том, что Бояркин Константин Родионович, двадцати двух лет от роду, практически здоров и для работы на речном флоте годен.

— Значит, говоришь, завалил приемные экзамены в институт? — наконец спросил кадровик, перелистывая военный билет в третий раз.

— Завалил.

— На чем срезался?

— На дробях. Нутром чувствовал, что ноль пять да ноль пять будет литр, а сказать постеснялся, — съерничал Костя.

Кадровик подозрительным взглядом смерил Костину фигуру:

— Выпиваешь?

— Очень редко.

— Зачем о литре упомянул?

— Анекдот такой есть.

— Анекдотами девушкам мозги пудри, а мне голову не морочь.

В военном билете у тебя указана контузия. От чего?..

— Про остров Даманский слышали?

— Слышал о стычке с китайцами.

— Вот там меня и кувыркнуло вместе с бронетранспортером.

— Теперь здоров? Голова как?

— Как видите, на месте. В медсправке ведь написано...

— Справку можно сделать липовую. И другие документы можно сварганить как настоящие. В местах лишения свободы, случайно, не был?

— Не успел. Десять лет в школе учился, четыре года на армейской службе. Читайте сами...

— Давай подсчитаем вместе. Срок службы в Советской армии — два года. У тебя — четыре. Почему?

— Отлежавшись после Даманского в госпитале, я остался на сверхсрочную, чтобы денюжат подкопить. — Костя не вытерпел: — Вы так дотошно копаетесь, словно мне предстоит работать не бакенщиком, а министром.

— Что значит «копаюсь»?.. Проявляю бдительность. Весной нынче одного типа вроде бы с чистыми документами принял, а он, субчик-голубчик, на поверку оказался беглым каторжником.

— Убежал с царской каторги и до сих пор бегаешь? — притворно удивился Костя.

— Почему с царской? — не уловил иронии кадровик. — Наш зэк, советский. Из восьми лет за убийство три года не досидел. Из лагеря строгого режима умудрился улизнуть. Так же вот, как ты, попросился бакенщиком куда-нибудь подальше от людских глаз. Направил его на перекаат Дикий. Два месяца проработал и сгинул. Заявили в милицию. Угрозыск стал расследовать и установил лишь, что он беглый. А дальше непонятно: то ли утонул беглец, то ли в другое место тягу дал. Признайся откровенно: тебя какая беда заставляет в медвежий угол забиваться?

— Никакой беды нет.

— Ну как же так... Обычно молодые парни рвутся в плавсостав. Романтика дальних рейсов их увлекает.

— Я на военной службе романтики хлебнул. В глуши условия лучше для подготовки в институт.

— Еще один заход хочешь сделать?

— Хочу.

— Не обманываешь?

— Нет.

— На перекаат Дикий согласен? — внезапно спросил кадровик.

— Это где «каторжник» сгинул?

— Ну.

— Согласен куда угодно, только бы от городской суеты подальше.

— Ну, если так, слушай внимательно и запоминай. Старшим бакенщиком на перекаате больше тридцати лет служит Тазарачев Ерофей Кузьмич. Ему будешь подчиняться беспрекословно. Человек он строгий, выпивох не любит. Так что гляди за воротник не закладывай.

Костя улыбнулся:

— Медведи водкой не торгуют. Где ее там взять?

— Свинья везде грязи найдет, — буркнул кадровик и продолжил: — Еще на Диком сейчас работает инженер-гидролог Стебелев. С ним познакомишься на месте. По нашему ведомству он не числится, потому характеризовать его не буду...

* * *

На следующий день, после оформления в отделе кадров технического участка водных путей, Костя Бояркин уже плыл на стареньком путейском пароходике «Пионер» куда-то к черту на кулички, в верховье таежной



реки, где затерялся, судя по названию, необузданный перекат Дикий. Река петляла поворотами, и казалось, что пароходик вот-вот расшибется о берег или врежется в непроходимый завал бурелома. Изредка навстречу попадались небольшие теплоходы-буксировщики. За ними на длинных тросах тянулись неповоротливые плоты. Еще издали теплоходы завывали сиреной и белым флагом-отмашкой показывали «Пионеру», с какой стороны от них можно проплыть. Пароходик отвечал сиплым гудочком, тоже махал флажком и сразу сбавлял и без того неторопливый бег, чтобы взбиваемые пароходными колесами волны не повредили в плоту перевязанные проволокой пучки бревен. Разминувшись с плотоводом, «Пионер» вновь ускорял ход. Колесные плиты начинали молотить по воде часто-часто.

Облокотившись на поручни, Костя прислушивался к стуку плит, и чудилось, будто они отчетливо выговаривают: «Куда едешь, чужак? Куда едешь, чужак?.. Загнешься здесь, загнешься здесь...» Хотя Бояркин и сказал кадровику, что никакой беды у него нет, на самом же деле беда была. И беда очень большая. В один недобрый день Костя враз убедился в двух расхожих истинах: что справедливости нет и... что сердце красавицы склонно к измене. Начиналось вроде бы все хорошо, а кончилось — хуже некуда.

В том, что непременно поступит в Институт инженеров водного транспорта, у Кости не возникало ни малейшего сомнения. Во-первых, после армии он добросовестно проштудировал школьную программу. Во-вторых, в конкурсном отборе по сравнению со вчерашними школьниками-абитуриентами у него было явное преимущество: четыре напряженных армейских года и честно заслуженная в даманских событиях медаль «За отвагу». Экзамены Костя сдавал уверенно на четверки. Лишь на самом последнем, по физике, можно сказать, из-за собственной промашки схлопотал трояк.

Подвела его вскружившая голову слепая любовь к Ларисе Званцевой — бойкой красивой девушке, с которой сдавал экзамены в одном потоке. Когда Костя прочитал экзаменационный билет, сердце стукнуло от радости. Вопросы в билете были простые. Оставалось решить пустяковую задачку. «А жизнь и впрямь прекрасна и удивительна!» — бодро подумал Костя, усаживаясь за стол для подготовки рядом с Ларисой. Званцева нервно кусала губы. Из ее подкрашенных темных глаз, казалось, готовы брызнуть слезы. «Не могу решить задачу», — написала она на листке. «Условие?» — лаконично черкнул Костя. Лариса торопливо застрочила авторучкой. Через несколько минут Костя незаметно для экзаменатора пододвинул ей листок с решением. Девушка признательно посмотрела на своего спасителя и так благодарно опустила длинные ресницы, что Костя почувствовал себя настоящим рыцарем.

— Чья из вас, молодые люди, очередь отвечать? — внезапно спросил экзаменатор.

Званцева торопливо поправила прическу, быстро поднялась из-за стола и, одернув модную укороченную юбку, застучала каблучками-гвоздиками к доске. Забыв о своем билете, Костя словно зачарованный слу-

шал ее бойкий ответ. Опомнился он лишь после того, как Лариса, получив пятерку, радостно выбежала из аудитории. Времени на решение собственной задачи у Кости не осталось... Для зачисления в институт ему не хватило единственного балла.

Окончательно добило в этот день Костю предательство Званцевой. Рассыпавшись перед ним в благодарностях за выручку на экзамене, Лариса вечером отправилась в ресторан обмывать успех с братьями-близнецами Марсовыми. Пухлощекие удалые ребята повадками, одеждой и круглыми, всегда улыбающимися лицами походили друг на друга как две капли воды. Одного Марсова звали Игорь, другого — Олег, но кто из них был кто, безошибочно разбирались только сами братишки. Костя жил с Марсовыми в одной комнате институтского общежития и первое время изумлялся их бесшабашности. Компанейские близнецы сорили деньгами направо и налево, напропалую кутили с легкомысленными девицами, никогда не заглядывали в учебники, а на экзаменах всегда получали хорошие оценки.

Однажды Костя поинтересовался у одного из братьев, каким хитрым способом им удастся охмурять экзаменаторов, и без лукавства получил откровенный ответ:

— Они все опутаны неводом папиного авторитета.

— Как же вы будете в институте учиться?

— Так же, как экзамены сдаем. У папы авторитета хватит, — не моргнув глазом ответил братишка.

Марсов-папа был капитаном-директором известной на всю страну краболовной флотилии. Судя по поведению отпрысков, у него хватало не только авторитета, но и денег. Оттого что Лариса ушла в компанию таких вот оболтусов, Костя весь вечер не находил себе места. Успокоился он как-то внезапно, остановившись в вестибюле общежития у небольшого плаката, на который раньше не обращал внимания. «Управление речных путей приглашает юношей, отслуживших в армии, на работу бакенщиками. Подробности в отделе кадров». Постояв, Костя подкинул на ладони полтинник и, убедившись, что он упал орлом, принял решение...

«Куда едешь, чудак? Куда едешь, чудак?» — отстукивали пароходные плицы. У остановочных постов «Пионер» причаливал к берегу. На его палубу поднимались бакенщики. Немногословные, они здоровались за руку с пожилым капитаном и втискивались в узкий кубрик плавмагазина. Покупали в основном сахар, макароны, пшеничную крупу да дешевые консервы типа «Мелкий частичек в томатном соусе». Пока пароход стоял у берега, из его радиолокатора, укрепленного на мачте, хрипела браваурная музыка, а пароходный радист в великоватой для его щуплой фигуры тельняшке скучающе смотрел из радиорубки в окно. Подбородок его был перевязан платком, концы которого торчали на макушке смешными заячьими ушами.

Бравурный хрип настолько надоел Косте, что в последний день своего пути он не сдержался и сказал радисту:

— Слушай, старик, останови дурацкую шарманку!

Радист посмотрел на Костю мутными немигающими глазами.



— Ну что уставился? — улыбнулся Костя.

— Вспоминаю, где мы с тобой встречались.

— В Рио-де-Жанейро.

— Не шути...

— Если без шуток, то в вытрезвителе.

— Брось... Ты в прошлом году в Одесскую мореходку не поступал?

— Нет, нынче в водный институт не проскочил.

— По состоянию здоровья?

— По глупости.

— А-а-а, — многозначительно протянул радист. — А я прошлый год в мореходку хотел поступить. Забраковали по здоровью. С крутого бодуна, дурак, на медкомиссию приперся.

— Меньше пить надо, — опять улыбнулся Костя.

— Не смейся. Зубы лечу. — Радист болезненно поморщился и вдруг сказал: — Ты мне нравишься. Пошли в каюту.

— Пойдем, — согласился Костя.

Едва захлопнулась каютная дверь, радист сбросил с головы повязку и, подмигнув, объяснил:

— Маскируюсь от капитана. Такой кержак — жуть! Не пьет, не курит и с женой давно уже ничего не делает. Команду в кулаке зажал. Один я не нарушаю флотских традиций.

— Тебя как зовут? — присаживаясь у стола на табуретку, спросил Костя.

— Жорой.

— Так вот, Жора, разве в одной пьянке флотские традиции?

— Традиций много, но в данных условиях от тоски мне доступна одна. Я слышал, ты на перекате Диком собираешься работать?

— Собираюсь.

— Не завидую. Тазарачев там... Кержак — хуже нашего кэпа. Спиртного запаха старый мухомор нутром не переваривает. По-моему, из-за выпивки недавно он своего помощника укокошил и труп то ли в реку сплавил, то ли зарыл так, что днем с огнем не найти. — Радист сел на койку. — А чтобы оправдаться, Тазарачев придумал сказочку про белого бычка. Мол, уплыл помощник утром на моторке гасить на перекате сигнальные огни и не вернулся. Пустую мотолодку обнаружили плотоводы между перекатом и поселком сплавищиков Притулино. Это на много километров выше переката. Участковый милиционер с ног сбился, а никаких концов отыскать не может.

— Тут разве есть участковые? — удивился Костя.

— Есть один младший лейтенант на триста верст. В Притулине живет. Здоровый парнюга, вроде тебя, но в следственном деле, по-моему, он дуб дубом.

— А что за инженер на Диком работает?

— Вадим Стебелев. Тоже здоровый бугай, лет тридцати. Предыдущим рейсом мы привезли его на перекат. Кажется, из КГБ или областного уголовного розыска подослан к Тазарачеву, чтобы присмотреться и

расколоть старика по загадочному убийству. Понял, друг, с какой темной компашкой тебе предстоит общаться? — Радист достал из тумбочки два стакана, поправил на столе газету с наломанными от буханки кусками хлеба. После этого запустил руку под койку и, вытащив оттуда начатую поллитровку, спросил: — По сто грамм на душу населения примем?

— Наливай! — ответил Костя.

Теплая водка обожгла горло, противной дрожью передернула плечи. Радист тянул свой стакан медленно, через зубы. Выпив, долго морщился и занюхивал хлебной корочкой.

Костя засмеялся:

— И охота тебе так мучиться?

— Эх, друг! Об чем спрашиваешь? Не могу забыть Одессу-маму. Ты знаешь, шо такое Одесса?

— Говорят, что там бывала королева из Непала?

— В Одессе все выдающиеся люди побывали. Там некогда гулял и я.

Радист мечтательно закрыл глаза и вдруг с одесским акцентом зашел:

Багрицкий Эдик тоже одессит,
 Он здесь писал свои стихотворенья.
 А Саша Пушкин тем и знаменит,
 Что увидал здесь чудное мгновенье...

Костя хлопнул в ладоши:

— Браво!

— Дальше слова забыл, — с огорчением сказал радист и посмотрел на Костю тоскливым взглядом. — Одесса — город моей мечты. А здесь что? Темный лес, тайга густая, раскудря-кудря-кудря... Зря ты, друг, на Дикий едешь. Не видать тебе там счастья. Поверь знающему человеку, сматывайся оттуда с первой же оказией. Хочешь, на будущий год поедем вместе в Одесскую мореходку поступать? В дальние заграничные плаванья будем ходить. В бананово-лимонном Сингапуре погуляем...

Костя слушал краем уха, совершенно не вникая в смысл. Думы его были далеко-далеко, там, где осталась Лариса Званцева — несостоявшаяся любовь и виновница его провала на вступительных.

— На прощанье наливай бокалы! — неожиданно затянул во все горло радист.

Костя, вздрогнув, остановил певца:

— погоди орать. Еще бутылку можешь сообразить?

— Могу! — Радист сунул руку под койку. — У меня тут в заначке пол-ящика стоит...

* * *

Проснулся Костя с головной болью. Сильно хотелось пить. Необычная тишина, казалось, давила виски. Не слышно было стука колесных спиц, не вздыхала с присвистом старенькая пароходная машина. Не от-

крывая глаз, стал припоминать вчерашние события. Пьяный радист «Пионера», его тоскливый взгляд и хриловатый говорок: «Тазарачев там... кержак — хуже нашего кэпа... недавно помощника укокошил и то ли в реку сплавил, то ли зарыл... Стебелев, кажется, из КГБ или уголовного розыска... Зря ты на Дикий едешь. Не видать тебе там счастья... Темный лес, тайга... А Одесса — город мечты...»

Осторожно повернувшись набок, Костя огляделся: три металлические койки, в углу печь, два подслеповатых окна в разных стенах, за окном тайга — темная, неприветливая. У одного из окон — стол. Склонившись над ним, незнакомый рослый парень в белой рубашке с засученными до локтей рукавами то ли что-то чертил, то ли рисовал на большом листе ватмана. При Костином движении парень повернулся, и Костя увидел его лицо: высокий лоб, наполовину прикрытый прядью вьющихся волос, резко очерченный крупный подбородок, голубые со смешинкой глаза.

— Проснулся, флибустьер? — улыбнувшись, спросил он. — Головушка, наверное, трещит по всем швам, а?

— Почему флибустьер?

— Так вчера отрекомендовался. — Видимо, вспомнив что-то смешное, парень расхохотался. — Крепко тебя на «Пионере» укачало. Чуть было свой рюкзачок на пароходе не оставил. «Бригантину» исполнял таким звучным ревом, что всех медведей поблизости распугал.

— Переборщил без закуски, дурак, — поднимаясь, сказал Костя и поморщился. — Добрался до бесплатного...

— Хорошо, что Ерофея Кузьмича дома не было. Он бы тебя дальше на «Пионере» отправил.

— Это Тазарачев, что ли?

— Да.

— Правда, что старик своего помощника убил?

— Ага, — быстро ответил парень. — И мясо отвез в Притулино. Там продал в чайную кавказцам, для шашлыков.

— Не смейся. Сегодня мне не до смеха.

— Каков вопрос, таков и ответ. — Парень протянул Косте загоревшую руку. — Давай знакомиться по-настоящему. Вадим Стебелев.

Костя тоже назвал свое имя и фамилию, отметив про себя, что не может найти в Стебелеве ничего от того образа, который сложился со слов радиста. Ни к селу ни к городу спросил:

— Ты правда из КГБ? Или из уголовного розыска?

— Бери выше! Из американской службы ФБР.

— Серьезно говорить можешь?

— Могу, когда мне задают серьезные вопросы.

— Я, выходит, чепуху мелю?

— Тебе виднее: то ли мелешь, то ли плетешь. — Стебелев улыбнулся. — Душа, наверное, горит?

— Пылает, — признался Костя. — Холодненького кваску бы сейчас...

— Заквашенного на ячмене березового сока из погреба принести?

— Если не трудно, принеси.

Запотевшую литровую банку резкого, как газировка, и холодного, словно лед, березовика Костя осушил с короткой передышкой в два приема. Почувствовав облегчение, спросил Стебелева:

— А где Тазарачев?

— Вчера утром на попутном плотоводе уехал в Притулино к участковому милиции. Заплели злые языки детективную историю, теперь Ерофею Кузьмичу приходится писать объяснительные да показания на допросах давать.

— Выходит, какая-то соль есть в этой истории?

— Ничего нет. Беглый заключенный, чувствуя, что засветился, сменил, так сказать, место жительства и работы. Перед этим, разумеется, чтобы замести следы, имитировал несчастный случай, будто опрокинулся с мотолодки и утонул...

Глуповато начавшийся разговор перешел в рассудительную беседу, и Костя сделал вывод, что Вадим Стебелев вполне нормальный мужик. Да и Тазарачев, как выяснилось вечером, оказался совсем не страшным «кержаком». Могучей фигурой и окладистой, чуть не до пояса, белой бородой старик скорее напоминал былинного Микулу Селяниновича, чем старообрядца. Из Притулина он вернулся на попутной почтовой карете в конце дня.

Прочитав показанное Костей направление отдела кадров техучастка, нестрого спросил:

— Долго ли, Константин, намерен у нас задержаться?

— До будущего лета, когда приемные экзамены в институтах начнутся, — ответил Костя.

— Ну что ж... Думаю, за год мы не надоедим друг другу.

Во время ужина Стебелев поинтересовался у старика:

— Что, Ерофей Кузьмич, от тебя хотел узнать участковый?

Тазарачев усмехнулся в бороду:

— Я так понял, что он и сам не знает, чего хочет. В одно, видишь ли, время с Горлицетовым пропал безвестно мастер Усть-Лайского сплавного участка Борис Остарков. Молодой тверезый мужик. Жена его, рыжая горластая толстуха, в притулинской чайной поварихой работает. Теперь вот осталась с двумя малолетними пацанами.

— А ты здесь с какого припеку?

— Ни с какого. Участковый больше часу допытывался у меня в том смысле, мол, был ли Горлицетов знаком с Остарковым и не приезжал ли Остарков на наш перекаат ловить стерлядку. Я неплохо знал Бориса. Рыбалил он заядло. Дюралевую лодку имел с двумя «Вихрями». Гонял на ней по реке как сумасшедший. В прошлом году часто сюда на стерляжьих пески наведывался. А нынче ни разу не заглянул. Возле Усть-Лайского яра Борис на язей напал. Там по весне баржа с пшеницей затонула, проломив днище об карчу. Через неделю ее подняли, но зерна в реке много осталось. Понятно, на пшеничке рыба прикормилась, и теперь язи клюют на любой крючок видимо-невидимо. Ну а Горлицетов за время пребыва-

ния на перекате ни разу рыболовецкую снасть в руки не брал. Так что на рыбалке они познакомиться не могли.

— Кто это — Горицветов? — вмешался в разговор Костя.

— Под такой фамилией обосновался у меня беглый уголовник. На самом же деле, как после разобрались, настоящий Горицветов жил в Томске. Летом прошлого года его ограбили и убили.

— Отчего этот уголовник опять в бега ударился?

Тазарачев отхлебнул из алюминиевой кружки несколько глотков крепко заваренного чая.

— Недоброе я приметил с первых дней, как он тут появился. Только, бывало, причалит к берегу «Пионер» либо порожний плотовод, так моему помощнику сразу надо отлучиться от поста. «С чего бы это, — подумалось мне, — мужик посторонних людей избегает?» Дальше — больше, еще одно подозрение возникло. По субботам я имею привычку попариться в баньке. Банька хотя и тесноватая, но двоим в ней вполне можно развернуться. Говорю мужику, дескать, айда вместе мыться, похлещешь березовым веничком мою стариковскую спину. А мужик опять в кусты. Мол, извини, Ерофей Кузьмич, не могу терпеть банного жару. Иди один, а я ополоснусь, когда немного поостынет. Любопытно мне стало: что ж это за мытье в остывшей бане? Как-то заглянул в банное оконце и диву дался: тело-то у моего помощника сплошь расписано тюремными наколками! Чего только там не было... И портрет Сталина, и русалки, и кресты, и непристойные надписи, как в запущенном вокзальном туалете. С неделю я молчал. Потом все ж таки не вытерпел и спросил: «В какой это тюрьме, мил человек, тебя так густо разрисовали?» Он лицом вроде передернулся и бестолково стал объясняться, что, дескать, в тюрьме не сидел, а наколки — дурость военного детства, когда беспризорищал. Вечерком так вот поговорили, вроде бы мирно, а утром он пропал вместе с мотолодкой. Потом вскоре лодку обнаружили перевернутой возле Усть-Лайского лесоплотбища. Пришлось мне полную неделю лодочный движок чинить. Горицветов же... или как его там звали-величали на самом деле, не ведаю, с той поры будто в воду канул.

— Может, он и впрямь утонул? — высказал предположение Костя.

— Возможно, конечно. Закавыка в том, что вместо переката, где надо было погасить огни, помощничек мой отправился в противоположную сторону, к Притулину. Теперь вот участковый ломает голову: то ли он доплыл туда и отпустил лодку самосплавом по реке, то ли оборвал свой путь в Усть-Лае?

* * *

Так началась Костина жизнь на Диком. Работа была несложной и даже в какой-то степени интересной. По вечерам они с Тазарачевым проплывали на мотолодке по всему участку и включали на ночь сигнальные огни, а по утрам, едва занимался рассвет, выключали. Обычно Костя сидел за рулем, и ощущение, что он управляет хотя и маленьким, но судном, доставляло удовольствие.

В середине дня занимались промерами переката. На этот раз с Костей ехал Стебелев. Устроившись на носу мотолодки, Вадим опускал в воду полосатый шест-наметку и результаты замеров записывал в блокнот. Иногда Стебелев заставлял Костю крутить моторку почти на одном месте, делая все новые и новые замеры. Вернувшись на пост, он садился за свои чертежи и начинал что-то «колдовать».

Каждый день через перекат проплывали плоты. На подходе к обстановочному посту теплоходы издали завывали сиреной. Услышав подходной сигнал, Тазарачев или Стебелев выезжали на мотолодке навстречу плотоводу и возвращались только тогда, когда плот миновал перекат. Вверх по реке теплоходы бежали порожнем. Некоторые из них причаливали возле постовой избушки, чтобы раздобыть свежей рыбы или подспевших кедровых орехов. Денег за свой товар Тазарачев с капитанов не брал. Старался обменять его на дизельное топливо для мотолодки, у которой небольшой теплоходный движок «Болиндер» работал на солярке. Все капитаны, как приметил Костя, Ерофея Кузьмича уважали, а молодые даже побаивались.

— Ты, Валентин, почему прошлым рейсом у меня не остановился? — спрашивал Тазарачев высокого красавца в лихо сдвинутой набедренной капитанской фуражке. — Я по твоему заказу стерлядок наловил, а ты прошмыгнул мимо и гудочка для приветствия старику не подал.

— Торопился за плотом, Кузьмич, — отвечал тот, доставая из кармана коробку «Казбека».

— Торопился? А мне, старому пню, показалось, что твой теплоходик вихлял по фарватеру, будто пьяный мужик по узкой улочке.

— Да ну уж... — смущался капитан. — Всего-то распили красненькую на троих.

— Здорово же ты, Валя, ослаб! Раньше, помню, после беленькой на одного уверенно за штурвалом держался.

Капитан, затягиваясь папиросой, опускал глаза:

— Был грех, Ерофей Кузьмич. Слово даю, последний раз.

— А мне-то что, — прикидывался равнодушным Тазарачев. — Наломашь дров — сам отсиживать за решеткой будешь...

Однажды Костя с Вадимом определяли направление течения на перекате. Стебелев, пересекая реку на моторке, выбрасывал за борт вырезанные из сосновой коры поплавки, а Костя, устроившись на берегу с теодолитом, засекал каждый поплавок и наносил его маленьким кружочком на составленном Стебелевым плане. Поплавки сначала держались на одинаковом расстоянии друг от друга, но чем дальше течение несло их по реке, тем больше они путались между собой. Одни быстро выплывали на середину реки и, подхваченные стрежнем, устремлялись вперед. Другие медленно кружили в заводях, тыкались туда-сюда и застревали в прибрежных водорослях.

«Вот и люди так, — с внезапной тоской подумал Костя. — Кто-то сразу выбивается на жизненный стрежень, а кто-то всю жизнь из засывающего омута вырваться не может».



Когда Стебелев, причалив мотолодку, подошел к плану и стал рассматривать нанесенные на нем кружочки, Костя внезапно спросил:

— Вадим, скажи откровенно: кто ты на самом деле?

— Инженер-гидролог, — не отрывая взгляда от плана, ответил Стебелев.

— Какая же необходимость занесла тебя в этот медвежий угол?

— Кандидатскую диссертацию мою зарубили ученые-теоретики. А я, практик, уверен, что истина на моей стороне. Дело за небольшим: доказать свою правоту.

— Для этого обязательно надо было забраться в таежную глушь?

— Понимаешь, Дикий — очень характерный перекат. В зависимости от уровня воды в реке он меняет свой нрав, как хамелеон цвет кожи.

— Допустим, докажешь ты...

— Почему «допустим»? Непременно докажу, — не дал договорить Стебелев.

— И станешь больше денег получать?

— Дело не в деньгах.

— А в чем?

— Во-первых, добьюсь справедливости. Во-вторых, по разработанному мною методу будут выправлять перекаты, подобные Дикому. Условия судоходства улучшатся. Меньше аварий станет.

— О какой справедливости ты говоришь? Нету ее! — запальчиво сказал Костя.

Стебелев усмехнулся:

— Куда она подевалась?

— Черт знает куда! — Костя вздохнул. — По себе сужу. На вступительных экзаменах девушка, которой я шутя решил труднейшую задачу по физике, получила пятерку и, как говорится, на ура поступила в институт. Мне же занудливый экзаменатор вкатил трояк лишь за то, что свою пустяковую задачку я хотел решить на доске, а не нарисовал решение на бумажке во время подготовки. Еще в институт проскочили два блистательных лоботряса-близнеца, у которых авторитетный папа с толстым кошельком. А я, отважный защитник Отечества, малость не откинувший коньки на Даманском, для института оказался неподходящ.

— Это обычные гримасы жизни. Не паникуй и не опускай руки. Все, что тебе намечено судьбой, не отберет никто.

— Наполеон говорил, что «судьба» — это слово, не имеющее смысла, потому оно так и утешительно.

— А другой умный человек, задолго до Наполеона, сказал: «Судьба человека прежде всего в его характере». Верь, Костенька, в свои силы и упорно гребь к намеченной цели. Тогда все лоботрясы и девушки-ловкачихи позади тебя останутся.

Стебелев достал из кармана рабочей куртки объемистую записную книжку, в которую постоянно заносил результаты своих исследований, и, что-то отыскивая там, принялся листать страницу за страницей.

Неожиданно из книжки выпала небольшая фотография. Опережив Вадима, Костя нагнулся и поднял снимок.

Взглянув на карточку краем глаза, оторопело спросил:

— Кто такая?

— Жена, — укладывая фото на место, ответил Вадим.

— Как зовут?

— Тоня.

— А фамилия?

— Стебелева, разумеется. Чего ты в лице изменился?

— Да нет, ничего, — слукавил Костя.

Он мог поклясться чем угодно, что на фотографии узнал Ларису Званцеву.

* * *

Ночью Косте снился кошмарный сон. Ужасные фантастические сюжеты, один страшнее другого, сменялись как в калейдоскопе, и в каждом из них непременно участвовала Лариса Званцева. Вызывающе красивая в беспардонной наготе, она, будто ведьма с распущенными волосами, металась среди копошившихся чудищ и кривым, как турецкая сабля, ножом хлестала по лохматым головам. Проснулся Костя словно больной. Он помаленьку уже начал забывать виновницу своего провала на вступительных экзаменах, а этот дурацкий сон вновь разбередил душевную рану. Пока ездили с Тазарачевым гасить на перекате огни, немного полегчало, однако гнетущее состояние полностью не прошло. К их возвращению Стебелев поджарил на завтрак полную сковороду рыбы. Костя лениво съел одного чебачка и взялся за чай.

Заметив его необычную вялость, Тазарачев сказал:

— Ты, Константин, давай-ка по-настоящему ешь, пока рот свеж, а завянет — и комар не заглянет.

— Заболел, что ли? — спросил Стебелев.

Костя усмехнулся:

— Душа болит по производству, а ноги проснутся в санчасть.

— Затосковал?

— О чем мне, неудачнику, тосковать? Просто на душе муторно.

— Может, есть о ком?

— Нету у меня никого.

— Значит, захандрил от малолюдья. С непривычки это бывает. — Стебелев недолго подумал. — Развlechься хочешь?

— Не люблю самодеятельных концертов.

— Я перед тобой плясать не собираюсь. В Притулино надо съездить, пакет отвезти на почту.

— Какой?

— С результатами последних моих исследований. Хочу отправить их в институт на кафедру гидрологии для экспертизы. Отвезешь?



— Не маленький, сам съездишь.

— Не лезь, Константин, в пузырь, — поддержал Стебелева Тазарачев. — Вадим тебе дело предлагает. Притулино — поселок сплавщиков. Людей там — не то что на перекате. Развеешься. В почтовом доме находится и кабинет участкового милиции. Зайди к нему. Скажи, мол, новостей по Горичветову у нас не прибавилось. Участковый просил постоянно информировать его. Сегодня в аккурат тебе оказия будет. К ночи должен по расписанию пробежать в верховье пароходик «Смелый». На нем прокатишься с удобством.

— Ну, если уж крайне надо, придется послужить советской науке, — вздохнув, согласился Костя.

«Смелый» походил на настоящий пассажирский пароход, только был как бы уменьшенной раз в пять копией белоснежных речных лайнеров. Натужно пыхтя старенькой паровой машиной и отчаянно молотя воду колесными плитами, он бежал не прытче путейского «Пионера».

В Притулино Костя прибыл в середине дня. Поселок сплавщиков ничем его не удивил. Вдоль берега громоздились бесконечные штабеля бревен. Валялись такелажные тросы для увязки плотов, тормозные цепи да мотки ржавеющей проволоки. Сердито урча, одинокий бульдозер стalkerивал бревна на акваторию запани. Около сотни домишек, вроде как доживающих свой век, с прямоугольниками огородов, обнесенных покосившимися изгородями, разметались километра на полтора между берегом и угрюмой тайгой. Вдали виднелось единственное в поселке двухэтажное здание. Судя по красному флагу над его крышей, там размещалась поселковая власть или контора леспромхоза.

Почту Костя отыскал в центре поселка. На двери небольшого домика с высокой радиоантенной по случаю обеденного перерыва висел замок. Под вывеской «Почтовое отделение связи» была прибита табличка «Участковый инспектор милиции». Рядом с почтово-милицейским ведомством располагался похожий на амбар продолговатый дом. Над его распахнутой дверью ярко голубел щит с размашистой из угла в угол белой надписью «Чайная». Проголодавшийся Костя решил перекусить и направился туда.

Под окном чайной на скамейке курили четверо завеселевших парней в брезентовых, как у сплавщиков, куртках и штанах. Один из них, молодой хант с потешно оттопыренными ушами, подбирал на гармонии-двухрядке какую-то мелодию.

— Давай, Вася, наяривай! — подзадоривали его парни. — Рвани погромче! Раскочегарь Дуську-повариху!

Гармонист откашлялся, пробежал смуглыми пальцами по клавишам и под звонкий перелив гармошки громко запел:

Возле Тусиных ворот
Растянута кожа,
Мамка плять, и папка плять,
И я маленька тожа-а-а...

Парни дружно захохотали. Тотчас окно чайной распахнулось. Высунувшаяся из него рыжая пухлая молодуха, погрозив большим половником, зычно крикнула:

— Кульпень! Прекрати!

Хант повернулся к ней:

— Че шумишь, Туся? С крузином плохо спала?

— Ах ты, «плять» лопаухая! — взъярилась женщина. — Я те, морда остяцкая, покажу грузина! Как врежу поварешкой по черепу — сразу заекаешь!

Парни от смеха схватились за животы.

— Чего ржете, алкаши?! Опять подзудили дуралея и рады до безумия? Чтоб вам водкой захлебнуться! — Женщина исчезла из окна так же внезапно, как и появилась.

Частушка развеселила Костю. С трудом удерживая смех, он вошел в чайную. В просторном зале было свободно. Только за одним из столов трое кавказцев с золотыми перстнями на холеных пальцах неторопливо жевали сочные шашлыки, запивая болгарским рислингом. Выглядели кавказцы молодо, во всяком случае не старше тридцати лет. Количество длинногорлых бутылок на их столе подсказывало, что обосновались они в чайной всерьез и надолго.

Костя управился со своим обедом сверхоперативно. От предложенного рыжей поварихой шашлыка он отказался. Выхлебав тарелку борща, съел свиной поджарки с макаронами и завершил трапезу двумя стаканами полусладкого чая. В ожидании, когда откроется почтовое отделение, пришлось созерцать засиженные мухами плакаты с призывами досрочно выполнить решения очередного съезда КПСС, строго соблюдать технику безопасности на лесосплавных работах, не разводить в тайге костров и как зеницу ока беречь народное достояние — лес от пожаров.

На почте, за невысоким барьерчиком, чернобровая девчушка сосредоточенно вязала пуховую варежку. Дверь кабинета участкового милиции была приоткрыта.

То ли по телефону, то ли по радиии страж местного порядка монотонно повторял:

— Усть-Лай... Усть-Лай... Лай, лай, лай...

— Гав! Гав! Гав! — неожиданно зазвучал в ответ ему хриловатый голос.

— Юрка, ты?! — обрадованно спросил участковый.

— Я, Серёга!

— Чего разгавкался? Хохмишь?

— Устал уже отвечать на твои позывные, а ты как попугай хрипишь одно и то же: «Лай да лай». Не слышал разве меня?

— Нет. Спутники запускаем, а связь... мать ее за ногу! Ну как оперативная обстановка в прикормленном яру?

— Нормальная.

— Осенняя прибыль воды в реке отрицательно не сказалась?



— Ничуть! По-моему, даже лучше стало. Приезжай, сам убедишься.

— Завтра утречком жди. Боезапас качественный приготовь, чтобы честь по комедии было. Усек, об чем речь?

— Усек, начальник. Сварганю все лучшим образом, как в школе учили.

— Ну, пока, Юрок.

— Пока, Серёга!

Голос участкового показался Косте знакомым. Оформив отправление стебелевского пакета заказной бандеролью, Костя осторожно заглянул в приоткрытую дверь и от удивления чуть не присвистнул. За небольшим канцелярским столом, половину которого занимал черный ящик переносной рации, в милицейском мундире с погонами младшего лейтенанта сидел армейский сослуживец Сергей Дроздецкий.

— Разрешите войти, гражданин начальник? — с наигранной робостью проговорил Костя.

— Бояркин... — уставившись на него, неуверенно сказал участковый. — Чтоб мне провалиться — Бояркин! — Вскочив из-за стола, он стиснул вошедшего Костю в мощных объятиях. — Откуда ты, с неба упал, что ли?!

— Не раздави, медведь! — засмеялся Костя.

— Ты сам кого угодно раздавишь. — Дроздецкий усадил Костю возле стола, плотно прикрыл дверь кабинета и, усевшись на свое место, притворно насупился. — Ну, шпион, пока я не расколочу тебя, сознавайся добровольно: по заданию какой разведки и с какой вражеской целью проник в мои владения?

— Записывать в протокол будешь, гражданин «колу», или как? — подхватив ироничный тон, спросил Костя.

— Сознавайся по методу «или как».

— Каюсь, продался проклятому ЦРУ. Заслан на перекаат Дикий с целью выяснить его стратегическое значение для безопасности США. Устроился бакенщиком. Прибыл к тебе с заданием резидента Тазарачева, чтобы доложить, что новостей по Горицветову у нас не прибавилось.

— Хуже Дикого не мог выбрать дыру?

— Я не выбирал. Что предложили, на то и согласился.

— Не узнаю, Костик, тебя. С чего таким покладистым стал?

Не вдаваясь в подробности, Костя уже без иронии рассказал свою одиссею. Дроздецкий тоже посерьезнел. Его судьба сложилась проще. После армии он хотел устроиться в областном городе. На заводах ничего подходящего не подвернулось. Случайно увидел объявление, в котором милиция приглашала отслуживших армейскую службу парней на должности участковых инспекторов. Из интереса зашел в УВД. Там, узнав, что Дроздецкий — уроженец Притулина, уговорили его заполнить вакансию в родном поселке. После краткосрочных курсов присвоили звание младшего лейтенанта, чтобы погуще было жалованье, вручили пистолет с двумя обоймами боевых патронов.

— Вот так и стал я сам себе начальником, — закончил участковый.

— Справляешься с обязанностями стража порядка?



— Тут и баран справится. В основном усмиряю задиристых алкашей да конфликтующие семейные пары.

— А я краем уха слышал, что завтра собираешься на какую-то секретную операцию с качественным боезапасом.

Дроздецкий засмеялся:

— Кодовое название той операции — «Рыбалка», а боезапас — русская водка. Орсовцы наши, чтоб им тошно стало, вместо привычной беленькой завезли в поселок полную баржу болгарского рислинга. У меня от этой кислятины изжога. Открытым текстом по радио орать нельзя. Пришлось иносказательно просить усть-лайского мастера, чтобы раздобыл в тамошнем ларьке поллитровку. Сам понимаешь, какая рыбалка без рюмахи?

— Лично я два удовольствия в одно никогда не объединяю, — с улыбкой сказал Костя.

— Ну это, как говорится, дело вкуса. Такой же, как ты, был у меня дружок Боря Остарков. Компанейский мужик, но на рыбалке, бывало, ни за какие коврижки не уговоришь его дернуть хотя бы полрюмашки. Пропал человек в одно время с вашим уголовником.

— Кем этот уголовник на самом деле был?

— Рецидивист Ломтев. Кличка Ломоть. Из сорока жизненных лет больше половины провел в местах лишения свободы. Последний срок за убийство отсидывал в одной из колоний Новосибирской области. Совершив побег, добрался до Томска. Там убил известного чуть ли не на всю Сибирь антиквара Горицветова. Завладев паспортом убитого и дорогими цацками из его коллекции, скрылся в таежную глухомань. Дальнейшее, надеюсь, тебе известно от Тазарачева.

— Рассказывал Ерофей Кузьмич, как подглядел в баньке расписанное на все лады тело своего помощника.

— Зря Тазарачев завел с Ломтем разговор насчет наколок. Сообщил бы старик о своих подозрениях мне, я повязал бы рецидивиста как слепого котенка. А теперь вот ищи ветра в поле. И Боря Остарков как в воду канул.

— До сих пор никаких следов?

— Глухо, будто в диком урмане. Старший опер из областного угрозыска больше недели вел здесь дознание, но, кроме двух сомнительных версий, ничего умного не придумал.

— Что за версии, если не секрет?

— Чего тут секретничать? Все предположения строятся на ОБС — «одна баба сказала». А говорят разное, кому что в голову взбредет. Если отбросить откровенную чушь, то Ломтя видели два раза в нашей чайхане, где он налегал на шашлык да рислинг в компании с тремя осетинами.

— По-моему, три каких-то кавказца и сейчас сидят в чайной, — сказал Костя.

— Они, бездельники, постоянно там торчат.

— Кто такие?

— Представители Северной Осетии. В леспромхозе выколачивают строевой лес для своей республики. Так вот... — Дроздецкий помолчал. — Повариха Дуся Остаркова видела, что неизвестный ей мужчина примерно

сорокалетнего возраста показывал осетинам вроде бы какие-то драгоценности. Осетины как будто с ним торговались, но купили они у него эти цацки или нет, Дуся не знает. Было это в конце второго дня после того, как Ломоть исчез с переката. Куда рецидивист направил свои стопы из Притулина и пересекалась ли его дорога с Борей Остарковым, неизвестно.

— Повариха Дуся — это жена Остаркова?

— Она, стерва рыжая. При живом муже спуталась с отпрыском жившего здесь тунейдца. Только, бывало, Борис уедет на работу в Усть-Лай или на рыбалку, любовник тут же задирает Дуське подол.

— «Крусин»? — вспомнив ханта-гармониста, с улыбкой спросил Костя.

— «Крусин», — в тон ему ответил Дроздецкый. — Где ты успел встретить Васю Кульпенева?

— Когда обедал, он под окном чайной частушки распевал.

— Ну артист! Наскребет от Дуси на свой хребет. Надо мне с бутылкой к нему подкатиться. Кажется, Вася что-то знает о взаимоотношениях Бориса с грузином, но помалкивает. Лишь когда подопьет, начинает Дуську подначивать.

— Какой ветер занес грузина в Притулино?

— У нас разные ветры бушевали. Кого только они сюда не заносили! Раньше поселок был режимным. Освоение лесосплава в тридцатые годы начинали заключенные. Вокруг поселка до сей поры догнивают огороженные колючей проволокой и полуразвалившимися сторожевыми вышками лагерные бараки. В начале сороковых эков заменили сосланные прибалты. Литовцев, латышей да эстонцев стало здесь больше, чем коренного населения. После разоблачения культа личности Хрущёв разрешил поселенцам вернуться в родные края. Я еще пацаном был, но помню, как они атаковали пароход «Смелый», чтобы вырваться из этой дыры на Большую землю. Дома, постройки, которые успели возвести, — все побросали даром. Готовы были отдать любые деньги и ценности капитану, только бы пролезть на палубу. За одну навигацию капитан «Смелого», по-моему, стал миллионером, нажившись на людском несчастье.

— На такой пароходик больше сотни пассажиров вряд ли войдет.

— Набивался «Смелый» людьми как бочка сельдью. Удивляюсь, каким чудом он не утонул от перегруза. Короче говоря, за лето все прибалты уплыли. Прошло несколько лет — новые поселенцы в Притулине появились. Я уже в школе учился, когда вышел правительственный указ по борьбе с тунейдством, и хорошо помню первую партию присланных сюда на исправление московских проституток. Было этих красавиц около двух десятков. Молодые, накрашенные, расфуфыренные. Титьки напоказ, юбочки чуть ниже пупка, туфельки на высоких каблуках. Расселили их в брошенных прибалтами домах. Ох и дали девки здесь шороху!

Местные мужики, будто спятив с ума, набросились на столичных красоток, как голодные мухи на свежее дерьмо. Притулинские бабы

взвыли диким воем. Гурьбой кинулись к участковому. Тот за седую голову схватился. Участковым тогда был Николай Иванович — здоровенный великан из бериевских энкавэдистов. Собрал он в леспромхозовском клубе вроде бы общественный суд. Усадил беспутных девок на сцене и сиплым басом начал их чихвостить за аморальное поведение. Одна жгучая брюнетка с толстыми ляжками, закинув ногу на ногу, слушает и улыбается. «Тебе отчего весело?! — набросился на нее участковый. — Почему вместо работы на производстве бездельничаешь?!» Она без тени смущения ему в ответ: «А что мне прикажете делать, гражданин начальник, если я за всю свою жизнь, кроме кошелька да мужского причиндала, ничего в руках не держала?» В клубном зале будто бомба разорвалась. Мужики впали в неудержимый хохот. Бабы с визгом бросились к сцене, готовые растерзать своих конкуренток. Словом, общественный суд превратился в трагикомедию.

Не успели разобраться с тунейдками — «Смелый» привез мужиков-тунейдцев, заарканенных где-то на юге державы. Как и столичные девки, тоже молодые, холеные трутни. Малость оглядевшись, темпераментные южные самцы стали напропалую охмурять притулинских бабенок. Тогда подловили ночью самого активного секс-гангстера, Вахтангом его звали, и так изувечили, что любитель острых ощущений скончался, не приходя в сознание. Виновных, разумеется, не нашли. Уже после смерти Вахтанга у леспромхозовской кассирши Нюры Хомутовой родился чернявый мальчик с грузинским носом. По документам он стал Георгием Вахтанговичем Хомутовым, а по прозвищу — Грузин. Гоша, видать, удался в блудного папу. Еще восемнадцать не исполнилось, а он уже полпоселка холостячек перещекотал. Последнее время прилип к Дуське Остарковой. Дура рыжая прикормила его в чайной шашлыками да рислингом.

— Остарков об этом знал?

— Догадывался, конечно. Однажды на рыбалке мне заявил: «Эх, Серёга, были бы деньги, смотался бы я из этого бардака куда глаза глядят. Пацанов вот только жалко. Погубит их, потаскуха, без меня». Вспоминаю тот разговор и думаю: не схлестнулся ли Борис с Грузином? Гоша хоть и юнец, но ростом вымахал под два метра. А худощавый Боря был метр шестьдесят пять вместе с кепкой. При таком раскладе поединок мог кончиться явно не в пользу Бориса... — Дроздецкий вздохнул. — Такие вот, с позволения сказать, «версии». Главное, трупов нет. А без трупов нет убийц и любые предположения строятся на песке.

— Заинтриговал ты, Сергей, меня, — сказал Костя. — Долго в Притулине тунейдцы жили?

— Больше года. Поодиночке, друг за дружкой, все отсюда смотались. У нас ведь как дела делаются?.. Вышел новый указ — сразу шум, гвалт, суета. Ура! Вперед за орденами! Пошумели, поволновались — и как будто не было никакого указа. Время течет, а ничего не меняется. Лишь изломанные людские судьбы да заброшенные лагеря, как шрамы, на грешной земле остаются.



— Интересно посмотреть хотя бы один такой лагерь. Много о них слышал от стариков, но ни разу не видел.

— Интересного, Костя, там ничего нет. Пойдем-ка лучше за рислингом да закатимся ко мне в гости.

— У тебя ж изжога.

— Ерунда! Ради нашей встречи завтра соду поглотаю.

Костя улыбнулся:

— Спасибо за приглашение. Я, когда на перекат ехал, так здорово надрался, что до сих пор стыдно и душу воротит от одного запаха спиртного. К тому же сегодня мне восвояси поворачивать. Подскажи, на чем поскорее можно до Дикого добраться?

— Вечером почтовый катер в низовье пойдет. Отправлю тебя с комфортом. Ну, а до вечера не сидеть же здесь, в кабинетной заперти? На самом деле, хочешь лагерь посмотреть?

— Хочу.

— Ну что ж, идем! Так и быть, организую по-дружески экскурсию в бесславное прошлое родного Отечества.

От окраины поселка дорога направилась в таежную просеку, вытянувшуюся ровной, как стрела, лентой вдоль реки метрах в ста от берега. Мохнатые ветви высоченных пихт с обеих сторон тянулись друг к дружке, словно хотели перегородить наезженный трелевочными тракторами путь. Прикрывая небо, они создавали в проселке сумрак.

Размашисто шагая рядом с Костей, Дроздецкий рассказывал о своей жизни. По его словам, служебным транспортом он обеспечен как король. Для передвижения по реке есть быстроходный полуглиссер, а по суше — новенький «Урал» с коляской. Зимой периодически объезжает свой околоток на снегоходе «Буран», на котором, если мчаться по заснеженному речному льду, можно запросто догнать любого лося. В поддержании порядка в поселке помогают дружинники. Притулинское почтовое отделение имеет телеграф. При необходимости можно оперативно связаться хоть с районным, хоть с областным центром.

Раньше почтовый дом в Притулине полностью занимала комендатура НКВД. Все поселенцы в определенные дни обязаны были приходить туда отмечаться. Если кто-то из них опаздывал с отметкой на два-три дня, к нарушителю режима применялись строгие административные меры, вплоть до ареста. С задней стороны дома сохранилась камера предварительного заключения с зарешеченным окном и голым топчаном. Теперь бывшую КПЗ Дроздецкий использует как вытрезвитель, а иногда запирает туда под замок местных дебоширов. Недавно для острастки, чтобы прекратил якшаться с Дуськой Остарковой, запер и Гошу Хомутова. Так этот слонюга Грузин чуть решетку в окне не выломал.

— Сергей, ты знаешь Вадима Стебелева? — внезапно спросил Костя.

— Знаю. Отличный мужик.

— Он не из КГБ?

— Чего? — Дроздецкий уставился на Костю. — Откуда к тебе такая «утка» прилетела?

— От информированного источника.

— Источник был трезвым?

Костя улыбнулся:

— Не совсем.

— Тогда понятно. С пьяных глаз можно нагородить любую нелепицу. Вадим не первый год приезжает исследовать перекаат. Весной, еще до появления на Диком уголовника Ломтева, Стебелев больше недели был там со своей женой.

— Как его жена выглядит?

— Красивая и очень энергичная бабенка.

— Молодая?

— Конечно, не старуха. Может, наша ровесница, может, постарше.

Возраст женщин не всегда сразу определишь.

— А зовут как?

— Не знакомился с ней, не знаю. — Дроздецкий иронично подмигнул. — Чего это ты чужой супругой заинтересовался? Зашухарить с ней хочешь?

— Я не Грузин, — смутился Костя. — Из любопытства спрашиваю.

— Любопытной Варваре на базаре нос оторвали. Гляди, чтобы Вадим тебе уши не оторвал, — шутиливо проговорил Дроздецкий.

Просека вдруг кончилась, и дорога пошла по густому подъяльнику. Сразу посветлело. Из травы тут и там тянулись молодые, в человеческий рост, хвойные деревца. Только справа вдоль берега, словно отгораживая подрастающий лесок от реки, висилась угрюмая лента таежного пихтача.

— Отсюда начинался лесоповал. Заключенные выхлестали вековую тайгу километров на двадцать в округе, — сказал Дроздецкий и показал рукой влево: — Вон и сам лагерь, где жили ээки.

Около десятка длинных, почерневших от времени барачков с узкими бойницами выставленных окон и прогнившими крышами было обнесено двойным рядом торчавших из травы столбов с обрывками колючей проволоки. В одном из углов проволочного ограждения сохранилась готовая со дня на день завалиться высокая сторожевая будка на четырех покосившихся столбах.

С дороги к лагерю сворачивала промятая трактором колея. Со слов Дроздецкого, месяц назад леспромхозовцы обнаружили на территории бывшего лагеря склад вполне годных для работы трелевочных тросов. Чтобы не пропадало дефицитное добро, тросы перетащили трактором в леспромхоз и раздали лесозаготовительным участкам.

— А там что за террикон? — показывая на высокую конусообразную кучу ржавого железа, спросил Костя.

— Пустые консервные банки. Котлопункт в этом месте находился. Иными словами, лагерная кухня. Учти, ээков консервами не кормили,



а в «терриконе», наверное, более ста тысяч жестянок. Представляешь, сколько охранники слопали! — ответил Дроздецкий и предложил Косте заглянуть в самый ближний барак, где, по его мнению, на стенах были интересные надписи.

Войдя в сумрачный каземат со смердящим запахом, Костя огляделся. Возле стен вдоль всего барака тянулись двухъярусные ряды полуразвалившихся нар. Дроздецкий подвел Костю к одной из стен и показал на дощатый простенок между оконными проемами:

— Вот здесь наиболее разборчиво накорябано.

Костя сосредоточенно присмотрелся. Доски вдоль и поперек были исцарапаны каракулями. Среди прочих выделялась крупная надпись: «Здэс многа сыдэл Карим из Тошкента». Неведомо откуда родом Евлампий Берёзкин нацарапал лаконично: «Скоро загнусь». Казах Асанбаев умолял: «Аллах, помоги». Уркам Сибири от урок Урала передавал привет некий Федька Бамбук. «Пять лет за один пустяковый анекдот! Где ты, Бог?» — вопрошал анонимный экз. Другой пониже добавил: «За два пустяка — десять! Бога нет и не будет». — «Не все еще потеряно. Есть выход — убежать», — восклицал оптимист Ося Стриж Одесский. Словно в продолжение этой надписи безымянный пессимист, видимо, констатируя печальный результат побега, приписал: «Отбегался, дурень».

Чем дальше Костя читал надписи, тем сильнее его донимал смердящий запах. Дроздецкий тоже морщился. Будто рассуждая вслух, спросил:

— Что за вонь?.. Вроде как труп разлагается. Раньше здесь так мерзко не пахло.

Костя показал на обвалившиеся нары в углу барака возле дверного проема:

— Оттуда, кажется, несет...

Дроздецкий подошел к нарам и сразу позвал Костю. Среди хаотически нагроможденных гнилых досок можно было разглядеть взявшийся тлением труп пожилого мужчины с разрубленным чуть не пополам затылком. Из-под задранной рубахи виднелась густо расписанная татуировкой спина.

— Это ж Ломоть! — воскликнул Дроздецкий. — Вот, оказывается, где нашел рецидивист свой последний приют. Кто и чем так глубоко распластал его шальную голову?

Костя, нагнувшись, вытащил из-под гнилушек измазанную запекшейся кровью штыковую лопату с коротким черенком. Едва взглянув на нее, Дроздецкий проговорил:

— Ну е-мое!.. Бори Остаркова лопатка. Всегда в его моторке лежала, чтобы червей для рыбалки копать. — И посмотрел Косте в глаза. — Значит, так, Костик... С Тазарачевым и Стебелевым можешь обсуждать что угодно, но в Притулине о том, что здесь видел, никому ни слова. Завтра утром из области сюда прилетит вертолет со следственно-оперативной группой...



Почтовый катер высадил Костю на перекате ранним утром. Тазарачев со Стебелевым еще не завтракали. Костя выставил из хозяйственной сумки на стол купленные в леспромхозовском магазине гостинцы, умылся с дороги и, причесываясь перед укрепленным над рукомошкой небольшим зеркальцем, спросил:

— Как вы тут без меня жили?

— Мы не тужили, а ты как съездил? — ответил Стебелев.

— Почти случайно в такую криминальную историю попал, что враз не расскажешь.

— Опять «Бригантину» исполнял?

— Не подначивай, Константин, случаем, не шутишь? — недоверчиво проговорил Тазарачев.

— Честное слово, не шучу, Ерофей Кузьмич.

Костя настолько был захвачен увиденным в заброшенном лагере, что начал рассказывать, не дожидаясь конца завтрака. Когда он полностью выговорился, Тазарачев нахмуренно сказал:

— Знаю тот лагерь, что возле дороги, ведущей из Притулина в Усть-Лай. Существовал он до тридцать восьмого года. А к тридцать восьмому вырубали под корень всю близлежащую тайгу, и заключенных перевезли в другое место. Не пойму, чего нашего-то бедолагу в лагерные развалины занесло?

— Участковый предполагает, что он или из Усть-Лая шел в Притулино, или наоборот. На этой дороге кто-то и подкараулил его, — ответил Костя.

— Неужели Борис Остарков?.. Нет, лопату Борисову кинули возле трупа, так и знай, для отвода глаз.

— Вот и участковый так же говорит. Кстати, Ерофей Кузьмич, у «бедолаги» вы не видели драгоценностей?

— С чего бы им завестись у уголовника... — Тазарачев задумался. — Карманные часы у него были. Хвалился, будто еще от прадеда достались. С виду как серебряные и, похоже, очень давние. Формой вроде луковички, с красивой цепочкой. Крышку откроешь — сразу музыка приятная тихонько заиграет. Захлопнешь — молчок. Откроешь — опять музыка. Он как ребенок этими часами забавлялся.

— Вы участковому говорили?

— Нет.

— Почему, Ерофей Кузьмич?!

Тазарачев вздохнул:

— Видишь, в чем дело, Константин... Вы, молодые, теперь ничего не боитесь. У вас, как у пьяных, что в голове, то и на языке. А я человек другого времени, привык держать язык за зубами. При Сталине за неудачно сказанное слово можно было мигом очутиться в таком лагере, который ты смотрел, и очень долго морозить сопли на лесоповале.

— Теперь время другое.

— Время временем, а власть да милиция все те же. Брякнешь невпопад и, чего доброго, за ложные показания в кутузку залетишь на старости лет.

— Убить могли не только из-за драгоценностей, — вмешался в разговор Стебелев. — Сплавщики — народ отчаянный, перед уголовниками спину не прогибают.

— Он в притулинской чайной хотел что-то продать осетинам, — сказал Костя. — Может быть, те самые старинные часы. Не допускаешь мысли, что азартные южане решили завладеть дорогой вещицей бесплатно?

Стебелев улыбнулся:

— Я не настолько испорчен, чтобы мыслить категориями негодяев.

— А что, Константин, Борис Остарков так и не объявился? — спросил Тазарачев.

— Нет, Ерофей Кузьмич. Усть-лайский мастер как в воду канул.

— Утопленники обычно всплывают. Река наша судоходная. Судоводители либо бакенщики наверняка увидели бы плывущее по реке тело.

— Затяжное течение могло унести его в неходовую протоку, — высказал предположение Стебелев. — Там, в глухой заводи, разве только медведь с берега увидит.

— Или убийцы, скажем, привязали к трупу груз, чтобы никогда не всплыл, — добавил Костя.

— Это, конечно, так, — согласился Тазарачев. — Смотри, какая сложная история получилась...

На следующий день после возвращения Кости из Притулина резко похолодало. Студеный северный ветер взъерошил водную гладь переката. Бревна проплывающих плотов и корпуса теплоходов стали покрываться инеем. Зачастили обложные осенние дожди. Вода в реке пошла на прибыль, смывая с берегов оставленные весенним половодьем коряги и всякий мусор. Сказывалась середина октября.

Последним рейсом в верховье реки вез продукты для путевых рабочих «Пионер». На его палубе громоздились ящики консервов, прикрытые брезентом мешки с мукой и сахаром. Пока Тазарачев со Стебелевым расплачивались с продавцом плавмагазина, Костя зашел к радисту Жоре. Тот на удивление был трезвым и копался в радиоприемнике.

Поздоровавшись, он вроде бы завистливо посмотрел на Костю:

— Ты, оказывается герой. В газете про тебя пишут.

— Кто пишет? — не понял Костя.

Радист взял со стола бассейновую многотиражку. Протянув ее Косте, ткнул пальцем в небольшую информацию с нелепым заголовком «Отважный солдат — на перекате Диком» и сказал:

— Вот тут читай.

Костя быстро пробежал взглядом заметку. В ней сообщалось, что награжденный медалью «За отвагу» участник боевых событий на острове Даманском Константин Бояркин, уволившись из армии в запас, добро-

вольно поехал работать на самый трудный перекаат таежной реки, где в настоящее время добросовестно выполняет обязанности бакенщика. О том, как «доброволец» блистательно завалил приемные экзамены, в заметке не упоминалось.

— Везучий ты, друг, — усмехнулся Жора. — А обо мне ни одна газета ни разу словом не обмолвилась. Неприметный я человек. Да разве на этом Ноевом ковчеге отличишься...

— Сдай пустые бутылки и на вырученные деньги купи новый пароход, если этот не нравится, — иронично улыбнулся Костя. — Тогда о тебе все газеты разом заговорят.

— Брось смешить. Бутылкам конец. В этот раз, как мы с тобой громко повеселились, разоблачил меня капитан и конфисковал водочные остатки. С той поры капли в рот не беру. — Радист вздохнул. — Может, это и к лучшему. Поправлю здоровье да махну снова в Одесскую мореходку поступать. Без бодуна любую медкомиссию пройду, а экзамены по шпаргалкам сдам.

— Шпаргалки — дело сомнительное. Учить надо, — сказал Костя и тут же подумал, что за время пребывания на перекаате сам ни разу не заглянул ни в один учебник.

— Авось и подучу малость. У Бога еще дней много. Газету можешь забрать на память.

— Я и без нее свой героический поступок не забуду.

— Ну как хочешь...

«Пионер» уныло затынул отходной гудок. Попрощавшись с радиостом, Костя выбежал по трапу на берег. Густо задымив длинной трубой, пароходик отчалил, выплыл на фарватер и замолотил дальше.

«Через неделю он прокоптит обратно, и до весны его не будет, — подумал Костя. — Полгода втроем, в дикой глуши. Засыпанная снегом избушка, тишина и угрюмая, неприветливая тайга, придавленная серым, холодным небом». От этой мысли стало тоскливо. Захотелось поскорее достать из-под кровати рюкзак с учебниками, запихать в него немудреные вещички и, дождавшись «Пионера», распрощаться с перекаатом.

Вечером после ужина Стебелев спросил:

— Чего скис? Опять затосковал?

— Затосковал, — признался Костя. — Прикидываю, не смотать ли отсюда удочки, пока не поздно.

— Да ты чего, Константин? — удивился Тазарачев. — Зимой у нас тут жизнь вольготная. Уроки для вступления в институт сможешь учить круглыми днями. Если голова устанет, с ружьем на рябчиков в тайгу сходишь, зайчишек погоняешь. Можно и подледной рыбалкой заняться. Соскучишься по людям — становись на лыжи да в Притулино. Вдоль реки за полдня добежишь...

Неожиданно где-то выше переката послышался подходной сигнал плотовода. Обычно плоты проходили перекаат утром или днем, поэтому



появление плотовода близко к ночи показалось странным. Все трое переглянулись.

— Видать, что-то у них неладно, коли так сильно припозднились, — сказал Тазарачев и снял со стены плащ.

— Отдыхай, Ерофей Кузьмич, без тебя провожу плот, — остановил старика Стебелев. Глянув на Костю, предложил: — Поедем со мной, проветришься.

Костя нехотя поднялся. Натянув плащи, оба вышли из избушки на берег. Усевшись в моторку, стали ждать. Сумерки незаметно перешли в темень. Накрапывал мелкий дождик. Глухо шумел в вершинах деревьев холодный ветер, а за поворотом реки слышался гул приближающегося теплохода.

Плотовод показался из-за поворота и начал заходить в перекат. Собственно, в темноте самого плотовода видно не было — светились только сигнальные огни на теплоходе, да тускло желтели керосиновые фонари на плоту. Стебелев подвесил на флагштоке зажженный фонарь, завел двигатель и, усевшись за руль, направился к теплоходу.

Осветив моторку прожектором, с судна прокричали в рупор:

— Вадим, по левому борту за нами здоровенная карча тащится!

— Где вы ее подцепили?! — крикнул в ответ Стебелев.

— От самого Усть-Лая на всех перекатах по грунту бороздит. Кажется, за поперечный счал задела! Как бы нам на гребне Дикого не запахаться?!

— Держитесь к яру поближе.

— Добро! Будь другом, присмотри за плотом!

— А где сопровождающие сплавщики?

— Васька Кульпенев с бригадой должен был сопровождать. Но в Притулине всю бригаду то ли арестовали, то ли они запили, черти! Выручи, Вадим!

— Ладно, постараюсь!

Медленно проплыв вдоль плота, ни Стебелев, ни Костя никаких признаков карчи не увидели. Тогда Вадим высадил Костю из мотолодки на плот и сказал:

— Смотри здесь, а я ближе к середине отъеду.

Первым делом Костя огляделся — кругом темнота! Кроме плотовых фонарей впереди светилась белая точка кормового теплоходного огня да вдали по курсу мерцал красный огонек бакена, ограждающего правую кромку фарватера на гребне — самом мелком месте переката. Монотонно гудел дизель плотовода, где-то рядом хлопала вода, скрипели от напряжения тросы, связывающие громадину плота в единое целое.

Костя плотнее запахнул плащ и, сгорбившись, уселся на бревна с сигнальным фонарем. С теплохода светили прожектором. Его дымчатый луч сквозь сетку моросящего дождя шарил по берегам, дрожал на черной взлохмаченной воде. Иногда свет выхватывал из темноты бревна, и тогда становилось видно, как вся масса плота шевелится, словно

живое существо. Костя старательно присматривался к прогалинам воды между пучками бревен, надеясь увидеть хотя бы одну рогалину зацепившейся карчи, но плот плыл со скоростью течения совершенно спокойно.

Легкое подергивание Костя заметил, когда ограждающий самое мелкое место красный огонь бакена стал виден отчетливо. Потом вдруг бревенчатые пучки в плоту задвигались. Рядом что-то затрещало, словно бревна начали давить друг друга. Костя вскочил на ноги и от резкого толчка чуть не упал. Толстый сук огромной коряжины высунулся из воды между бревен и, зацепив за трос поперечного счала, стал тормозить плот.

— Вадим! — сложив ладони рупором, во всю мочь заорал Костя.

Ветер подхватил его голос и унес в сторону. Костя глубоко втянул воздух, чтобы закричать вновь, но в свете тревожно заметавшегося по плоту прожектора увидел приближающуюся моторку. Когда лодка подплыла к поперечному счалу, ее уже отделяла от Кости широкая полынья. В горячке Стебелев хотел перепрыгнуть эту полынью, однако, опомнившись, закричал:

— Берегись!

Что-то тяжелое пролетело над водой и глухо стукнуло о бревна. Наклонившись, Костя увидел топор.

— Руби счал! — крикнул Стебелев.

— Зачем?! — растерялся Костя.

— Чтобы карча от него отцепилась!

— Плот ведь расплывется!

— Бортовая обонетка его удержит! Руби!

Костя схватил топор и со всего плеча хряснул по выгнувшемуся, как натянутая тетива гигантского лука, счалу. Брызнув искрами, концы лопнувшего троса разлетелись в разные стороны. Коряжий сук нырнул под плот, и тотчас бревна под Костиными ногами стали расплываться. Резко оттолкнувшись, Костя прыгнул на соседний пучок, но не достал до него и сорвался в воду. В последний миг он успел схватиться за проволочную обвязку пучка, однако никак не мог взобраться на скользкие, шевелящиеся бревна. В горячке не чувствуя ледяного холода, Костя пытался разглядеть, что творится вокруг, но ничего не видел, кроме яркого прожектора, светившего прямо в глаза. Он так и не понял, каким чудом Стебелев оказался на прочном пучке и помог ему выбраться из воды. Прожектор увел свой луч от плота и заметался по берегу. Плот, чуть расплывшись вширь, лениво потянулся за теплоходом.

— А где коряга? — удивленно спросил Костя.

— Отстала, зараза! Сейчас отбуксируем ее к песку, чтобы еще кого из плотоводов не подвела! — громко ответил Вадим и приказным тоном добавил: — Быстро в лодку!

На теплоходе, словно разгадав замысел Стебелева, начали шарить прожектором по воде. Торчащий из воды черный сук Костя увидел пер-

вым. Стебелев накинул на коряжий отросток петлю швартовой снасти и направил мотолодку к песчаному берегу, на котором вдали светилось окно постовой избушки. Карча покорно потянулась за кормой моторки. Цепляться за дно реки она стала на глубине около метра. Вадим включил двигатель на полную мощность и тянул корягу до тех пор, пока та не уперлась в песок окончательно.

После этого Стебелев приблизился к карче, чтобы снять с нее швартовую снасть, и вдруг, повернувшись к съезжившемуся от холода Косте, тревожно сказал:

— Поддай-ка мне сигнальный фонарь.

Костя снял с флагштока «летучую мышь» и протянул Вадиму. Когда тот посветил фонарем возле коряги, Косте показалось, что рядом с суком из воды торчит человеческая рука со скрюченными пальцами.

— Что там такое? — быстро спросил он.

— Утопленник в брезентовой робе, — всматриваясь в глубину, ответил Вадим. — Не пойму, то ли привязан, то ли одеждой зацепился за коряжину... — Глянул на Костю: — Сильно замерз?

— Чу-чу-чувствительно, — не попадая зубом на зуб проговорил Костя.

— Вылазь на берег и бегом к избушке, пока вконец не задубел! Я на моторке догоню плотовода. Надо по радию через пароходского диспетчера срочно вызвать участкового милиции из Притулина...

Тазарачев, увидев запыхавшегося мокрого Костю, всплеснул руками:

— Кажись, искупался?!

— Чу-чуть под п-плот не ны-нырнул, — с трудом выдавил Костя.

— Ах ты, мать честная! — Ерофей Кузьмич подкинул в прогорающую печь свежие поленья. — Переодевайся скорее в сухое белье да садись к теплу. А нутро твое щас согреем надежным лекарством.

Пока Костя, приплясывая на одной ноге, менял одежду, Тазарачев достал из шкафчика алюминиевую солдатскую фляжку и набулькал полстакана прозрачной жидкости. Протянув стакан, сказал:

— Дерни для прогрева и сразу водой залей.

— Спирт, что ли? — удивился Костя.

— Чистый, питьевой.

— Такую дозу мне за раз не осилить!

— Тяни через силу. Не пьянства ради — здоровья для.

— А мне говорили, будто вы запаха спиртного не переносите.

— Горьких пьяниц я не переносу. Беды от них шибко много. Тяни, Константин! Против простуды спирт — самое верное средство...

Стебелев вернулся часа через полтора. К этому времени «прогретый» Костя успел рассказать Тазарачеву все перипетии случившегося. Едва Вадим стянул с себя плащ, Ерофей Кузьмич спросил:

— Кто там за корягу-то зацепился?

— Судя по брезентовой робе, сплавщик какой-то, — ответил Стебелев.

- Не Борис Остарков?
- В темноте трудно разглядеть, да и труп, видать, долго в воде пробыл, распух.
- Чей теплоход прошел с плотом?
- Валентина Чалого.
- Ох, Чалый! Ох, рискованный капитан! Как же он, бедовая голова, отважился глубокой осенью отправиться в рейс без сопровождающей бригады сплавщиков?
- Наш перекаат хотел засветло пройти, да карча, как на грех, приперлась.
- Не поинтересовался у капитана, за что Васю Кульпенева арестовали? — вмешался в разговор Костя.
- Валентин об этом толком ничего не знает. Говорит, формировался плот на притулинском рейде. Выписали транспортные документы. Сплавщики установили на плоту сигнальные фонари. Хотели уже крепить буксировочные тросы. В это время подкатил к рейду на мотоцикле участковый и увез Кульпенева, как он сказал, на полчаса к следователю. Через час остальные трое сплавщиков сопровождающей бригады пошли выручать друга. Капитан прождал еще больше часа. Психанув, взял на буксир плот и отправился в рейс без сопровождающих. От Притулина до Усть-Лая шли нормально. А после яра, где затонула баржа с зерном, на первом же перекаате почувствовали неладное. Предполагают, что именно там и подловили карчу.
- Течением не унесет корягу с песка?
- Я надежно ее заякорил. До приезда участкового продержится.
- Когда он приедет?
- Диспетчер пообещал, что срочно свяжется с Притулинским леспромхозом. Если там не проволынят, милицейский полуглиссер должен примчаться сюда на рассвете.

* * *

Как и предполагал Стебелев, Сергей Дроздецкий появился на обстановочном посту ранним утром. Вместе с ним приехал пожилой очкастый мужчина в сером штатском пальто и в шляпе. При знакомстве он назвался следователем областной прокуратуры. После короткого разговора, усевшись в полуглиссер, все отправились к загадочной коряге.

Карча оказалась здоровенным листовым пнем с растопыренными в разные стороны и отшлифованными водой острыми корнями. Застрявшие в трещинах пня разбухшие зерна пшеницы подсказывали, что коряжина находилась в том самом яру, где затонула баржа с зерном. Почерневший труп зацепился брезентовой штормовкой за один из корней настолько прочно, что Дроздецкий со Стебелевым еле-еле отцепили его и вытащили на песчаный береговой откос.

Следователь, пощелкав с разных сторон фотоаппаратом, приступил к осмотру. Оpoznать потерпевшего по лицу, превратившемуся в бесфор-



менное месиво, было невозможно, но по одежде и наручным часам «Чайка» с черным циферблатом Дроздецкий высказал предположение, что это не кто иной, как бывший мастер Усть-Лайского плотбища Борис Остарков. Предположение подтвердилось, когда в кармане штормовки нашли записную книжку и удостоверение личности Остаркова. Оголившийся от разложения череп был глубоко рассечен, что убедительно говорило о насильственной смерти.

Закончив осмотр, следователь пристроился в полуглиссере и, пригласив в понятия Тазарчева со Стебелевым, стал писать протокол. Оказавшиеся не у дел Дроздецкий с Костей отошли от дурно пахнущего трупа и присели на полузамытое в песок бревно.

— Затылок, по-моему, распластан точно так же, как у рецидивиста Ломтева, — сказал Костя.

— Одним почерком разбойник сработал, — мрачно ответил участковый.

— Ты, кажется, Васю Кульпенева арестовал?

— С какой стати? Вася оказался очень важным свидетелем. Хотя следователю пришлось больше трех часов уговаривать его, чтобы рассказал правду. Загвоздка заключалась в том, что не было Бориного тела. А вот теперь убийца не отвертится. Анализ крови на лопате, которую мы с тобой нашли в старом лагере, показал, что ею зарублен Ломоть и еще кто-то. Сейчас, судя по Бориному затылку, стало ясно кто...

— Знаешь о том, что у Ломтя были старинные часы с музыкой?

— Эти часики из коллекции Горицветова уже лежат у меня в сейфе как вещественное доказательство.

— Где ты их отыскал?

— У Дуси Остарковой в шкатулке.

— Как они к ней попали? — удивился Костя.

— Разумеется, нечестным путем. История длинная, хотя и простая до примитива.

— Расскажи вкратце.

— Вкратце ситуация складывалась так... Кроме старинных часов швейцарской фирмы Ломоть грабанул у Горицветова коллекцию монет и антикварных перстней, среди которых был даже перстень с вензелем адмирала Колчака. Монеты рецидивист загнал по дешевке одному из томских нумизматов. Вырученные деньжонки прокутил мгновенно. А с часиками и перстнями приехал на перекат. Когда почувствовал, что запахло паленым, стал искать покупателей, чтобы разжиться деньгами на дорогу. Без денег ведь сильно не разбежишься. Сбыть антикварные цацки в таежном поселке не так-то просто. В нашей чайхане Ломоть познакомился с осетинами. Хитроумные южане, можно сказать, за бесценок купили у него перстни, а от часов отказались.

— То-то они сверкали золотыми перстнями, когда я обедал в чайной, — сказал Костя.

— Да, эти перстеньки теперь тоже лежат в сейфе, — кивнул Дроздецкий и продолжил: — Часы с музыкой приглянулись Гоше Хомуто-

ву. «Крусин», как его называет Вася Кульпенев, при заключении сделки бражничал с осетинами. Однако в материальном плане желания Гоши не совпадали с его финансовыми возможностями. В леспромхозе он почти ничего не зарабатывал и жил в основном на Дусин столовский приварок. А у самой Дуси к тому времени возник серьезный конфликт с мужем. Видимо, Борису стало невозможно терпеть ее любовные художества, и он поставил жесткое условие: «Выбирай, подруга, одно из двух. Или я с сыновьями, или любовник». Дуся предпочла любовника, а чтобы сохранить возле себя детей, пообещала Гоше райскую жизнь, если он уберет Бориса. Хомутов стал караулить Остаркова, но удобного случая не подворачивалось. Борис словно предчувствовал недоброе и постоянно держался на людях. Подвело его, можно сказать, роковое стечение обстоятельств.

Возжелав занять музыкальные часы, изрядно охмелевший Гоша попросил денег у Дуси. Та неожиданно уперлась. Тогда в пьяном мозгу Хомутова родилась шальная мысль — забрать часики у Ломтя бесплатно. Условия для разбойного замысла создались самые благоприятные. Разжившись деньгами за проданные перстни, Ломоть просидел в чайхане до позднего вечера. В сумерках он отправился на берег, рассчитывая ночью отплыть из Притулина на «Смелом», который как раз в те сутки должен был пройти по расписанию в низовье. Пароход задержался, и Ломоть, укрывшись за штабелем леса, стал потягивать из горлышка купленную впрок бутылку рислинга. Здесь Гоша и ухайдакал рецидивиста Бориной лопатой по затылку.

— Где же он взял эту лопату? — спросил Костя.

Дроздецкий вздохнул:

— Вот тут и сказалась роковая случайность. В тот день Остарков с Васей Кульпеневым ездил на вечернюю зорьку в Усть-Лай удить язей. Перед рыбалкой Вася копал на берегу червей и по рассеянности оставил там лопату. Она-то и попала Хомутову на глаза. Дальше — больше. Всегда аккуратный Борис, вернувшись с рыбалки, послал Васю за лопатой, а сам стал отчерпывать из мотолодки воду. Хомутов, обчистив карманы убитого Ломтя, вышел из-за штабеля. Спьяна он не увидел Кульпенева, но согнувшегося в лодке Бориса разглядел. Вот так, на глазах у Васи, решилась судьба Остаркова. Выброшенное из лодки тело погрузилось в воду и опять же, наверное, по случайности зацепилось за карчу в Усть-Лайском яру. Опасаясь, как бы это убийство не приписали ему, Кульпенев о том, что видел, молчал до тех пор, пока следовательно не вызвал его на откровенность.

— А каким образом труп Ломтя и лопата оказались в заброшенном лагере?

— На следующий день, протрезвев, Хомутов осознал содеянное и лихорадочно стал придумывать, как бы понадежнее замести следы. Начинаящий мокрушник сообразил, что упрятанный за штабелем леса труп вот-вот обнаружат сплавщики и тогда мокрое дело может для него закончиться керосином. Первым делом Гоша попросил Дусю запрятать подальше музыкальные часы. Мысль отвезти убитого в старый лагерь

пришла ему позднее, когда он с рабочими ездил туда за трелевочными тросами. Закончив вывозку тросов, работяги по заведенной традиции организовали выпивон. Хомутову в тот день было не до пьянки. Вызвавшись отогнать в гараж трактор, которым вывозили тросы, Гоша вначале отвез в лагерь труп Ломтя и припрятанную Борину лопату. Первоначально планировал закопать свою жертву, но потом решил, что убитый сгниет под обрушенными на него трухлявыми нарами. — Дроздецкий посмотрел на Костю. — Так бы оно и было, если бы не твоя любознательность.

— Выходит, я помог следствию?

— Еще как!

— Где сейчас Хомутов?

— Сидит в КПЗ.

— Решетку не выломает, как в тот раз, когда ты хотел его припугнуть?

— Наручники не позволят сильно выламываться.

— Он что, в наручниках?

— А то как же! За двойное убийство высшая мера наказания предусмотрена. Кому смертный приговор светит — приходится содержать под арестом строже, чем обычных уголовников. — Дроздецкий иронично подмигнул. — Вопросами сыплешь, будто заправский следователь. Чувствую, тебе надо поступать не в водный институт, а в юридический. Подумай над этим...

— Подумаю, — улыбнулся в ответ Костя.

— Да, вот склероз проклятый! Чуть не забыл. Наша почтовая начальница, узнав, что мы со следователем отправляемся на Дикий, привет тебе передавала. Видать, чем-то ты ей приглянулся.

— Это чернобровенькая, которая пуховые варежки на работе вяжет?

— Варежки она уже связала. За шаль теперь принялась. Вместе с устным приветом рукодельница просила передать вот это официальное послание... — Дроздецкий достал заклеенный конверт с почтовыми штемпелями и протянул Косте: — От радости плясать будешь?

— Пока воздержусь.

Костя удивленно стал рассматривать красивый, вроде бы женский почерк на конверте, адресованном в Притулинское почтовое отделение для бакенщика переката Дикий Бояркина Константина. Отправлено письмо из Новосибирска. Обратный адрес и короткая подпись отправителя совершенно ни о чем Косте не говорили. Он хотел тут же распечатать конверт, но в это время следователь позвал его для дачи показаний. Костя сунул письмо в карман куртки.

Завершив необходимую юридическую писанину, следователь и Дроздецкий обернули тело Остаркова брезентом и, уложив его в полуглиссер, отбыли в Притулино. После их отъезда Тазарачев со Стебелевым уехали на мотолодке промерять перекаат. Оставшись в постовой избушке один, Костя нетерпеливо вскрыл загадочный конверт, достал из него убористо исписанный тетрадный лист и торопливо стал читать:

«Здравствуй, Костя! Ты, наверное, удивишься моему письму. Не удивляйся, в жизни все взаимосвязано. Сегодня прочитала о тебе в газете и не утерпела, чтобы не написать. Ты очень странно исчез после экзаменов. Долго думала: почему не попрощался со мной? Наверное, обиделся, что я ушла в ресторан с братьями Марсовыми, да? Если так, то напрасно обиделся. Братишки (кстати, кто из них Олег, а кто Игорь, я так и не поняла) элементарно обманули. Сказали, будто в ресторан попозже придешь и ты. Вот при таком условии я согласилась, а когда поняла, что это ложь, сразу ушла из их скоморошьей компании. Не знаю, простишь ли, но мне хочется, чтобы простил.

Ты на редкость нехвастливый парень. От болтунов Марсовых отличаешься как небо от земли. О твоей боевой награде узнала лишь из газеты. Почему сам-то не рассказал?.. На твоём месте я дошла бы до ректора и добилась зачисления в институт. А ты, даже не объяснившись с председателем приемной комиссии, забрал документы. Эх, Костя, в наше время разве удивишь кого скромностью? Приезжай в будущем году. Я уверена, что во второй раз у тебя осечки не будет. Приедешь?

Как тебе живется на перекате? Сошелся ли характером с Вадимом Стебелевым? Он вообще-то мужик отличный. Передай ему, если не привезет из тайги обещанного мне живого медвежонка, разговаривать с ним больше не буду.

Надеюсь, ответишь на это письмо? Или пустые хлопоты? Буду ждать и верить, что ты вернешься. Мы еще встретимся, правда?.. С уважением Лариса».

Смысл письма Костя осознал только после третьего прочтения, но с какой стати Званцева приплела в письме Стебелева, так и не понял. Весь день он мучился в догадках и только вечером решился поговорить с Вадимом начистоту.

Первый вопрос Костя задал Стебелеву, что называется, в упор:

— Ты знаком с Ларисой Званцевой?

— Нет, не знаком, — вроде бы неуверенно ответил тот.

— А кому обещал привезти медвежонка?

Вадим чуть улыбнулся:

— Так я тебе и признаюсь, что любовнице.

— Ты вообще-то женат? — пошел в наступление Костя.

— Женат.

— Не боишься схлопотать от жены за любовницу?

— Не боюсь. Если она начнет «хлопотать», я ей глаз выткну.

— А по-серьезному?

— По-серьезному — оба глаза.

— Покажи мне фотографию любовницы.

— К сожалению, ее фотки у меня нет.

— А жены?

— Фотография жены есть.

— Покажи.

Стебелев полистал записную книжку и протянул карточку, которую Костя случайно увидел на берегу, когда определяли течение на перекате.

— Вадим, ну что ты мне темнишь, как малый ребенок? — пристально рассматривая снимок, с усмешкой проговорил Костя. — Это же Лариса Званцева.

— Нет, это моя жена Тоня, — не моргнув глазом ответил тот.

— Значит, любовница как две капли похожа на жену?

— Нет, теперь не похожа.

— Ни черта не пойму! — возвращая фотографию Вадиму, запальчиво сказал Костя.

Стебелев спокойно положил фото в записную книжку, лукаво посмотрел на удрученного Костю и вдруг захохотал:

— Успокойся, Отелло. Лариса Званцева — младшая сестра моей жены. А этой фотке уже восемь лет. Тогда Тоня очень смахивала на Ларису. Откуда ты узнал о медвежонке?

— От верблюда. — Костя с внезапным облегчением тоже рассмеялся. — Ну ты артист! Разыграл меня на полном серьезе.

— Без розыгрыша в тайге скучно. Значит, из-за Ларки ваша светлость провалились на вступительных?

— Из-за нее. А сегодня участковый привез мне письмо с покаянием.

— Все ясно. Лариса — девка не шаловливая. Если написала, значит, влюбилась в тебя. Не будешь лопухом — можем свояками стать.

— Ты против этого не возражаешь?

Стебелев улыбнулся:

— А чего возражать? Ты ж не на мне будешь жениться, а на моей свояченице.

— Считаешь, это возможно?

— Почему нет? Девке девятнадцатый год и, как говорится, уж замуж неverteпуж. Глядишь, и медвежонок не понадобится. Своего собственного заведете.

— С собственными — придется повременить до конца учебы.

— Умного человека приятно и послушать...

Окрыленный Костя тут же сел писать ответное письмо. Первый вариант получился длинным и слишком сентиментальным. Второй — короче, но с лирическим уклоном. Третий вышел вообще ни бэ ни мэ ни кукареку. Исписав в общей сложности полтетради, изорвал листки и бросил их в печку. После этого опять сел за стол, подумал и решил ответить Ларисе лаконичной телеграммой: «Жди меня и я вернусь».

...На другой день он отправил эту депешу с капитаном почтового катера, уходившего в Притулино на зимовку.

Святослав МИХНЯ

ПЕРЕД ХОЛОДАМИ

* * *

Звезды выступили, замерли,
так отчетливо видны
среди ветреной, беспамятной
отмороженной страны.
Уж они видали разное —
половецкой булавы
взмах, костры Ивана Грозного
и набег татарвы.
И Сусанина с поляками,
и купание княжны
Стенькиной. Видали всякое,
только светят — хоть бы хны.

* * *

Ветер тревожно о жизни моей шумит,
да на мой век хватит и так тревог.
Кратко живет человек, зато вечно спит.
И облака обивают земной порог.
В мире привычном солнце сменяет тень.
Вдруг на озерный берег плеснет волна...
С лесом в обнимку дремлют остовы деревень.
Но на ветру оживают хвойные письма.

* * *

Хочу, чтоб память о земном
 вовек со мною пребывала:
 чтоб тихо в сумраке лесном
 листы на влажный мох сдувало,
 в потяжелевших облаках
 прохладное мелькало солнце,
 сидели дети на руках,
 а дождь постукивал в оконце.
 И пусть особенный уют
 царит в натопленных жилищах,
 где так несуетно живут,
 беседуют, готовят пищу.
 Гудит, запрягано в печах,
 успокоительное пламя.
 И жизнь на ощупь горяча,
 тем паче — перед холодами.

* * *

Предсмертный воздух чист.
 Еще вчера речист,
 внезапно замер лес
 среди стынувших небес.
 А снег идет, лежит,
 летит, а жизнь бежит,
 привычно беребя
 как будто не тебя.
 От всех твоих длиннот
 останется вот-вот
 спасительная тишь.
 Из света и во тьму —
 зачем и почему? —
 жизнь, бедная, летишь...

* * *

Просторным горячим предмартовским днем
 не счастье само, только память о нем
 так явственна. Кажется, так же и впредь
 мне радостно будет на солнце смотреть.
 Снег, смирный в последней своей белизне.
 И капля на ветке подобна блесне.

Ударился ветер в ликующий плач,
хозяйничая меж пустующих дач.
И хлопанье двери, и хлопанье луж,
и призрачность давних и давешних стуж.
И все, что так запросто ранить могло,
безудержно с талой водой утекло.

* * *

О жизни моей взывает труба,
и ложью горчат слова.
А ты, земля, чересчур груба,
а нежны — лишь синь и трава.
И хочется выбрать, куда упасть,
в посмертье легко скользя.
Но так надежна суглинка власть,
что выбрать уже нельзя.

* * *

Январь. Блокада Ленинграда.
Рояль меняют на собак.
Из леденеющего ада
куда ты вырвешься и как?
Все люто. Люди — людоеды.
Голодный человек свиреп.
И режут своего соседа
за смешанный со жмыхом хлеб.
...Жилось бы ведь куда как просто,
когда б не этот смертный вой:
не Хиросима с Холокостом,
не мрак над сталинской Москвой,
не огонечек Люцифера,
зло холодеющий в ночи,
не эта искренняя вера
в то, что гуманны палачи.
От ужасов войны и мира,
от быта или бытия,
от смерти медлящей секиры
укрыться можно ли, нельзя?
Укрыться лучше одеялом,
накрыться лучше с головой.
...Но если б это порастало
быльем, забвеньем, трын-травой.

Елена ЛОБАНОВА

У МОРЯ ПОГОДЫ

Р а с с к а з

И ведь как заведутся, как начнут пугать: караул! участились цунами! и ледники тают! и моря вот-вот выйдут из берегов! Так и хочется рявкнуть в ответ: достали уже со своим глобальным потеплением! По какому, спрашивается, праву вы лезете в мое море? Со своими потопами и концами света? Не отдам. Не ждите. Не получите.

Море — оно вам не клочок географической карты! А оно, может, щель между мирами: привычным и забытым. А тело вспоминает. И человек, возможно, становится отчасти сверхчеловеком. Русалкой или Ихтиандром. Ну вспомните же!

Вспомните хотя бы, как это первый раз — из города к морю?

Дома все расписано и установлено: платье, туфли, колготки. Не стой перед форточкой, продует. Не забудь зонт, обещали дождь. Обходи лужи, ноги промочишь. Промочить ноги — трагедия, катастрофа! Сразу чаю с малиной — и в постель. Укутаться теплее. И температуру, срочно померять температуру!

И вдруг ты, босиком и практически гольшом, ступаешь по горячим камням среди таких же, еле прикрытых тряпочками взрослых. Некоторые взрослые удивительных цветов: нежно-розовые, ярко-красные и темно-коричневые. Жаль, разглядывать некогда, потому что мама тащит тебя за руку и, чему-то смеясь, заводит во что-то огромное, мокрое и — а! а-а-а! — к тому же холодное! И — бултых! И все, прощай, прежняя жизнь со всеми правилами! Вынырнешь с вылупленными глазами, бешено молотья руками, и поймешь с восторгом: ты в новом мире! Здесь все можно: плескаться, и болтать руками-ногами, и плюхаться с головой, и мама только смеется, и взрослые вокруг визжат и тоже хохочут, и папа уплыл в неоглядные дали, только голова черной точкой мелькает среди живой дрожащей синевы.

А еще нежность, нежность! Конечно, в этот момент не помнишь, что давно уже тебя никто не подхватывает на руки, не норовит ни подбросить, ни покачать — еще чего! здоровенную дылду, почти первоклассницу! — но вот море, оказывается, все это умеет: и раскачивать, и убаюкивать, и

веселить, и понарошку пугать, и все это сию же минуту и сколько душе угодно!

А диковинные пляжные шляпы, а резиновые круги и матрасы, а россыпи разноцветных камней и ракушек! А крики белокрылых чаек и гортанные возгласы: «Кукуруза молодая, чурчхела — желающие!» Но хоть после пары-тройки купаний есть хочется так, что полцарства бы отдать за кукурузу, все-таки понятно, что все эти прибрежные забавы всего лишь вступление к морю, легкие штрихи по краю. Главная же встреча уже свершилась. И море любит тебя — это ясно. Взаимное чувство, ура! Любовь с первого бултыха!

И потому на какой-то следующий год ты без сопротивления и даже с радостью пихаешь в сумку вещички для лагеря — да-да, специальный детский лагерь, буквально в трех кварталах от моря! И почти на целый месяц! И не то чтобы совсем без страха и слез, но все же послушно напяливаешь панамку, и лезешь в автобус, и знакомишься с вертлявыми, любопытными девчонками, и вот уже обживаешь собственную койку в палате — а на самом деле в парусиновом домике — и бежишь строиться на линейку. А до моря отсюда и правда рукой подать.

Тут-то и обнаруживается подлог! Это что же, по-вашему, море? Вот этот крохотный квадратик, огороженный веревкой с прицепленными поплавками? Вот это барахтанье по свистку — купание? По-вашему, можно так почувствовать нежное объятие волны?

Конечно, это взрослые так шутят, притворяются. А бедным детям ничего другого не остается, как учить речевки, участвовать во всяких там культмассовых мероприятиях и мазаться пастой. Ну, еще праздник Нептуна туда-сюда: это игра такая в русалок, и можно косы в кои веки не заплетать. Хотя, по-хорошему, на суше русалкам не сильно удобно, с хвостом-то вместо ног.

Так что на второй год собираешься в лагерь без особого энтузиазма... так, лишь бы дома не сидеть все лето. Ну и в море хотя бы окунаться.

Но если очень, очень повезет — в очередной лагерный год придет в отряд очередная воспитательница. Такая старенькая уже, лет за сорок, на голове волосы серенькие смешной шапкой и голос тихенький. И платье незначительного оттенка.

Пришли с моря перед обедом, она сразу бух на кровать и лежит. Девчонки расселись на соседних кроватях, всякую ерунду рассказывают, она слушает, улыбается. После обеда то же самое: приглашенная болтовня, таинственные истории, смешки. Так и весь тихий час.

А назавтра выводит отряд из ворот и, ни слова не говоря, поворачивает в другую сторону. «Куда это мы, Наталья-Лексевна?» Молчит, слегка улыбается. Движемся по тропинке в неизвестном направлении — через горку, через лес. И вдруг — вниз, вниз и... на пляж! Только совсем маленький, с пятачок, и совершенно дикий, отрезанный скалой от знакомого побережья. Наталья-Лексевна расстилает свое выдавшее виды одеяльце, бросает сумку — и бух! А нам: «Плавайте, тут мелко!» Осматриваемся изумленно, кидаем вещички и боязливо вступаем в воду, тут

совсем прозрачную. Но вскоре осваиваемся — и ну плескаться, бултыхаться и вопить! Наконец-то без всяких буйков и свистков. Наконец-то в объятиях волны. И, доверившись этим объятиям, наконец-то... плывем! Наталья-Лексевна лежит себе, посматривая на нас, и задумчиво улыбается. А мы плывем с каждым разом все дальше, все быстрее и увереннее — наращиваем спортивное мастерство. И вот уже плаваем практически всем отрядом. Хотя общая картина стиля, надо признать, оставляет желать лучшего.

И никакой премии, ни маломальской грамоты не получила наша наставница за свои тренерские достижения. Однако не получила и выговора, поскольку — дураки мы, что ли, разбалтывать свои тайны другим отрядам? У нас, может, экскурсии по окрестностям. Мероприятия такие. Очень любим мы лесные экскурсии. А вечером и в общий лягушатник, так и быть, не брезгуем окунуться.

Потом-то некоторые наверняка догадались, кто она была, наша Наталья-Лексевна. И почему ходить долго не любила. Бывшие русалки — они, когда даже с ногами, не очень-то любят ими пользоваться. И говорят немного.

А глаза у нее, между прочим, были зеленые.

Ну а дальше, конечно, начинается возрастная болезнь под названием «юность». Начинается у кого остро, у кого постепенно, но основной симптом всегда один — жажда совершенства. То есть если уж родился ты в этом прекрасном и яростном мире, так надо соответствовать. Ибо здесь приветствуются всякого рода герои, абсолютные чемпионы и королевы красоты, на худой конец — рыцари без страха и упрека. А если уж не повезло бедняге попасть в сборную или не пригласили сниматься в кино, так хотя бы, будь добр, придерживайся каких-никаких стандартов. По крайней мере считай калории и выучи три аккорда на шестиструнке. Для решительных есть еще поэтические клубы, альпинизм и прыжки с парашютом. Так что не все потеряно! Дерзай!

В этом свете и море меняет свое назначение. Приезжаешь в знакомый поселок, а там уже все по-другому. Вдруг становится ясно как день, что море — это никакая не колыбель, а дерзкий вызов и сплошная конкуренция. Все начинается прямо на пляже, не успеешь раздеться. Вдруг становится крайне важно, какого цвета у тебя тело: если изнеженно-белое, домашнее, то фу-фу-фу, позор тебе и бесчестье, белая ты ворона! Не добиться тебе уважения, пока кожа не примет хотя бы легкий бежево-золотистый оттенок. Ну, или оттенок поросычьего визга, если не повезет. Зато кто способен достичь уровня кофе средней обжарки — тот счастливее и кандидат на звание местного(ой) короля(евы) красоты. Если, конечно, объемы позволяют. Кстати, где это я возьму такое совершенство, чтобы девяносто-шестьдесят-девяносто? И как, спрашивается, быть всем несчастным, которые заданным параметрам не соответствуют? Кто втайне преступно накопил, например, семь лишних килограммов?

Суровый ответ очевиден: сейчас же добиться. Отказаться, стерпеть, достичь, отработать, сбросить, убавить. Оголодать, съежиться, почер-

нет и ушить платье, непрерывно тренируясь. Накопить мышечную массу и напрочь вывести жировую. Да вот же, море рядом. Вперед! Достичь буйков. Быстрее, выше, сильнее! Вернуться назад играючи, с победной улыбкой на посиневших устах. Какие там объятия волн! Ты на поединке. На экзамене. И вся жизнь, как выясняется, сплошной экзамен. Даже танцплощадка. Пригласили на медленный танец — зачет, неважно что дядька был старый, лет тридцати, весь провонявший куревом. А торчишь в углу — сама понимаешь что.

О проклятушие эти семь килограммов! Не будь их, ты стала бы совершенством. Легкая, как бабочка, ты порхала бы по жизни с цветка на цветок, и восхищенный мир пал бы к твоим ногам и преподнес лучшие свои дары — счастье и вечную любовь. Прекраснейшим — им ведь всегда и достается самое лучшее, это же как дважды два. И вот уже ты на полпути к счастью, уже избавилась от ужасных двух с половиной — ура! ура! — и невесомой походкой пробираешься во мраке вслед за подружкой от танцплощадки к хлипкому домику, где сладко похрапывает подружка — бабушка, которой на неделю доверена твоя пятнадцатилетняя жизнь и здоровье, и восьмилетний подружкин брат, чья жизнь и здоровье временно доверены взрослой старшей сестре.

Из лет сегодняшних — только вздрогнуть бы и ужаснуться: две домашние девочки! одни! на краю дикого поселка ночью! А если — местные хулиганы, бандиты, маньяки да просто коварные соблазнитель юных девиц с гитарами наперевес? А угроза анорексии вплоть до полного истощения, наконец?

Но сейчас, в перзрелую августовскую полночь, все тихо и безмятежно, и судьба хранит двух юных дев на полпути к совершенной красоте, и они легко ступают по узкой тропинке при свете южных звезд, овеваемые ветром с моря и оглушаемые неистовым стрекотом цикад. А волны издали нашептывают тайное, романтическое, небывалое...

Ну а потом, конечно, возвращаешься в город — и нате вам, пожалте в обычную жизнь, вот вам школьная форма, а вот ваша насиженная парта и все те же одноклассники. Конец фильма.

И продолжения не последует.

Потому что какое же это продолжение — приехать спустя десять лет всем семейством, а ребенка не пускают в столовую: не положено, вас должны были предупредить. «Но как же так? Мы не знали...» — «Да ладно вам, все мамы так говорят! Уж в номере устраивайтесь как хотите, а в столовую чтоб ребенок ни ногой!» — «Но как же...» — «Ваши проблемы, мамочка!»

Находим простейший выход: едим по очереди, кормим ребенка из унесенного в сумке. Жаль, не ест почти ничего столовского — привык к домашней пище. С купанием тоже неувязка: под коленкой фурункул — расчесал укус комара. Три дня в воду ни-ни, сами купаемся поодиночке под оскорбленный рев. Поодиночке ходим на пляж, дорога минут тридцать, окунешься и бегом назад. Знала бы — не тратилась на новый купальник. Море грязное, взбаламученное, выплескивает бумажки

и окурки. На пляже гвалт и детский визг, лежаки платные, да и брать их никакого смысла. В домике читаем сказки и играем в настольный футбол. Пробовали ходить в лес, но бросили: все тропинки ведут к берегу. Нечего нам там делать. По вечерам оттуда светят разноцветные огни, слышится музыка и смех. Это параллельный мир, забытый и недосыгаемый. Через пять дней ребенок уже не просится на море. Фурункул практически исчез, только послезавтра уезжать. Права была свекровь: с маленьким ребенком на море делать нечего.

И вообще — нечего. Есть дом, ремонт, дача, новые обои. Эх, море, море...

Еще несколько лет со свистом проносятся мимо.

Следующая попытка дается с трудом.

— Слушай, ты достала уже со своим морем!

— А для чего тогда машину купили? Для чего?!

— Для чего все люди покупают? На работу ездить, в магазин! На дачу! И вообще, чем тебе дача не море?

— Тем, что там... нет моря! Ну сам же обещал, вспомни: как пойдешь в отпуск, сразу...

— А ты кредит наш вспомни! И какой был год. Дай хоть отоспаться! Ну ладно, может, на следующий... за границу, может, съездим, как люди. В Европу.

— Не хочу я в Европу! Поедем на море, в поселок! Готовить сами будем. Дети не маленькие. Утром можно чай с бутербродами, тушенки с собой, картошки... Там и отоспишься.

— Притом за перевалом дожди, говорят, уже неделю!

— Ладно, давай подождем дня два.

— У моря погоды?

И все-таки едем, едем! Это не сон. На своей машине. К морю. И дети взяты и хохочут на заднем сиденье. И надувной матрас в багажнике. И ничего я не толстая. Главное — сразу окунуться в воду. Как только я коснусь воды, тотчас превращусь в стройную девушку. Море — оно ведь такое... оно вообще... чайки... белые корабли на горизонте...

— Просыпайся, морячка! Приехали. Вон мужик жилье предлагает.

Что-что? Куда приехали? При чем тут эти тучи и пейзаж в серых тонах? И мужик с командирским голосом, как у нашего школьного военрука: «Подешевле хотите? Не попр-р-рос! Устр-р-роим!» А глаза хитренькие. Не надо бы ехать за ним, не надо — сердце подсказывает. Однако поздно, уже сворачиваем за битой «шестеркой» в какой-то закоулок, вниз по ухабам, направо, еще вниз, и стоп.

Тишина. Только дождик шуршит по стеклу.

— Ну что ж вы? Выходите! Вот ваши апар-р-ртаменты.

Кирпичная каморка сторожа. Военрук гремит ключами, молодецки распахивает синюю дверь:

— Четыре койки, как договор-рились! Холодильник. Стол.

Действительно, стол каким-то чудом втиснулся в середину. Как же к нему пробираться? По кроватям?

— А готовить где?

— Плитка под навесом, не заметили? И кран есть, все как полагается. Миски, сковородка. Хозяйка, правда, уехала, но послезавтра будет. Оперная певица, кстати! Она вам тут напевать будет. Мне только задаток давайте... Да, туалет во-он там.

— Через речку?

— Да какая там речка, что вы! Это ж р-ручей. Р-р-ручеек буквально! И мостик есть. Душ там рядышком — пожалуйста.

Мне что-то не хочется в душ. И дети вопят: на море! на море! А муж зачем-то спрашивает:

— А где она поет, хозяйка ваша? — и подозрительно щурится.

— Как где? В опере «Кар-р-рмен»! Эту, как ее... Микаэлу! Сопр-р-рано!

— Так у вас тут оперный театр есть? — поднимает брови.

— Не-ет, зачем же? — оскорбляется военрук.

Действительно, зачем?

— В Кр-раснодаре! В музыкальном театре! В общем — р-располагайтесь!

Пост сдал — пост принял. И двинулся строевым шагом к «шестерке». Та с прощальным рыком скрылась за пеленой дождя.

А что делать на море в дождь? Только торчать под тентом. На пляже ни души. Нет, вру, какие-то двое плещутся в мутных серых волнах. Мало им мокроты на берегу. И мои туда же:

— Мам, мы чуть-чуть! Мо-о-ожно?

Мученически смотрю на мужа. Он с мученическим вздохом стягивает футболку:

— Ладно уж, окунемся...

Но вот странность: пока они там хохочут и плещутся, ветер явственно усиливается. И, кажется, дует с берега. Или и раньше дул, а я не заметила? Отчетливо видно, как их сносит вправо и вглубь. А дно, какое здесь дно? Дети восторженно орут. Младший только-только научился барахтаться. В страхе выбегаю из-под тента, зову. Не слышат, хохочут. Ливень лупит отчаянно. Я оглядываюсь в ужасе — где же спасатели? Никого нет. Что за глухая дыра! Тех двоих, что плавали, тоже уже нет. И табличка у пирса: «Купание запрещено». Где были мои глаза?! Наконец муж что-то заметил, махнул рукой. Кажется, двинулись к берегу. Я бессильно шлепаюсь на мокрую гальку. Выбираются, выбирают... а волны все еще нороят утащить назад...

— Зря ты, мама, с нами не пошла! — наставительно замечает младший посиневшими губами.

По счастью, к вечеру дождь кончается. Правда, тучи так и висят над головой, не пропуская солнце. А наутро новая напасть: я впала в спячку. Оказалось, в нашей каморке прекрасно спится. Вернешься с моря, организуешь какой-никакой обед, выбросишь арбузные корки — и глаза сами закрываются. После ужина то же самое.

Смутно доносятся голоса:



— Пап, мы ж карты взяли! Давай в дурака!
 — Сначала маму разбудите.
 — Мам! Ма-ам!
 — Отстаньте... Я не умею... — бормочу, зарываясь в подушку подозрительной свежести. — У меня был тяжелый год.
 — Мы научим! Это легко! Смотри...
 — А то ведь еще бывает такая сонная болезнь, по телевизору показывали... Может, врача вызвать?

Хихиканье. Шепот.

— Ма-ам! У меня ножка боли-ит...

— Что? Где? Покажи!

Смех.

— Проверка боевой готовности! Ну раз уж проснулась, смотри: раздаем по шесть карт каждому...

Но карты расплываются перед глазами.

— А можно я лежа?

— Ну что с тобой делать...

— Папа, я в туалет.

— Па-адьем!

В туалет по шаткому мостику ходим организованно, всей семьей. Обеими руками хватаемся за веревочные перила, внизу опасно журчит и плещется.

Наконец прибывает хозяйка, оперная дива. Смотрим во все глаза: обычная женщина, в годах. Лицо усталое, волосы неопределенного оттенка. Странно. Разве Микаэла не молодая девушка, первая возлюбленная Хозе? Однако что-то напевает, действительно. Точнее, издает странные блеющие звуки, рассеянно улыбаясь. Под эти звуки меня одолевает дрема. Даже под плеск волн одолевает дрема. Замечаю сквозь сон: девушки носят совсем узенькие купальники. Загорая лицом вниз, расстегивают лифчик и снимают бретельки. А мне муж вдруг говорит:

— Хочешь парео?

Закутаться в этот прозрачный платок? Прикрыть позорный жирок?

— Не хочешь — не надо! — отступает он, прочитав по глазам мою мысль.

— Нетушки! Предложил — покупай!

Нарочно выбираю самое яркое, с пальмами. Типа, жить не могу без этой красоты. Снимаю только в море.

Какая-то невеселая выдалась поездка.

— Ну что, мать, будешь еще бухтеть — на море, на море?

— А почему бы иногда не съездить? — вяло препираюсь.

— Сама ж не купаешься почти! Не успеем прийти на пляж — домой, домой!

— Потому что не хочу обгореть. Я читала, можно обгореть даже сквозь тучи.

— Читатель! Ты свой детектив никак не дочитаешь, засыпаешь через пять минут.

— Это морской воздух действует. А сон у моря — лечебная процедура.

И действительно, на четвертый день чувствую: пришла в себя, сил прибавилось. Поздновато, конечно: муж уже на низком старте, складывает в багажник пожитки — домой, домой! Оперная дива рассеянно улыбается на прощание. Интересно, встретит она меня завтра — узнала бы? Или все отдыхающие для нее на одно лицо? Деловито урчит двигатель, и вот в последний раз узкой синей полоской блеснуло море за окном. Все. Можно вздохнуть с облегчением: дети загорели, все наплавались, надышались морским воздухом, никто не свалился с мостика в ручей и не отравился местным арбузом. Откуда же смутное недовольство? Как будто чего-то не случилось? Или что-то не сделано? Забыто?

— Ну как впечатление? Наездилась? Наотдыхалась? — хитро интересуется муж.

Ага. Прямо так сейчас я ему и сознаюсь. Так и скажу — прощай, молодость и морские пейзажи.

— Люблю Черное море, — отвечаю неопределенно.

И думаю: да, наездилась. Прощай, молодость. Куплю себе картину с морским пейзажем. А на следующий год — за границу.

Но на следующий год выясняется: за граница вполне может подождать. Поскольку у нас дом, ремонт, дача. Потом еще — забор вокруг дачи. А потом — какой-никакой домик на даче.

И вот уже младший вопит:

— Опя-а-ать в лагерь?! А что там делать? Только пастой мазаться?

Я помалкиваю: пусть отец решает. С некоторых пор экономлю нервы. Я-то на море, понятное дело, больше ни ногой. Во-первых, уговаривать супруга — себе дороже. Во-вторых — что в этом возрасте делать на море? Веселить молодежь? В-третьих, опять же, давление. Не говоря уже о доме и даче.

Поэтому идиотская идея мальчика-лаборанта — а поедемте на море! всей семьей! на майские! — вызывает естественное желание покрутить у виска.

На майские! На море!

Впрочем, и у других аналогичная реакция. В отделе люди солидные, трое с ученой степенью. Наш НИИ вообще учреждение солидное. Правда, сильно обнищавшее. Держимся на плаву благодаря личному обаянию и связям директора. Пока у него на «Фейсбуке» замминистра в друзьях, у нас есть надежда доработать до пенсии.

Лаборант Паша — мальчик странный. Всегда веселый, как пташка, и со всеми на «ты», кроме заведомо Райсы Петровны. И всегда хочет есть. Молотит все без разбора: столовские сосиски, домашние бутерброды, киосочные хот-доги. Не говоря уже о Райсы-Петровниных пирожках. У него привычка: разговаривает с тобой или шевелит мышкой зависшего компьютера, а сам мимоходом оглядывает твой стол и тихонько интересуется: «Пожевать есть?» И невольно тащишь из ящика какую-нибудь «Милки-вэй». Райса Петровна негодует: «Как щенка завели!»

И вот теперь — «всей семьей на море». Когда температура от силы восемнадцать градусов! Хотя под самый конец апреля вдруг взяла и скакнула до двадцати шести.

Ирка, которая сама недалеко от Паши ушла, уточняет тупо:

— Так на море точно не едем?

И смотрит любознательно. Раиса Петровна кидает на нее соответствующий взор. И вдруг — я не верю ушам:

— А может, правда проветримся?

Нет, мне-то оно, конечно, до лампочки. Пусть кому делать нечего суетятся и сбрасываются на шашлыки. Только почему я-то в стороне? Я что, хуже всех? Даже не поинтересовались, почему это я не еду.

А дома муж:

— Чего не спишь, чего ворочаешься? Думаешь, купальник мал? Так новый купи.

— ?!

— Ну вдруг не вытерпишь, окунуться захочешь?

— Да не еду я никуда!

Начинаешь понемногу отключаться. Мелькают последние обрывки мыслей: «Еще не хватало... море это... три часа в автобусе трястись... да и в старый купальник вполне влезаю...»

И действительно, влезаю. Другой вопрос — зачем. Все равно погода даже не для загара — холодный ветер и волны. Не так чтобы большие, но не располагающие. С какого перепуга вообще было тащиться в такую рань, выезжать затемно? Кроме нас на пляже только группа подростков — эти, похоже, забрели сюда случайно, уселись прямо на холодные камни. Читают что-то в своих телефонах, хохочут. Моря даже не замечают.

Между тем тенты и лежаки на месте, передевальная кабинка синетет недалеко и катамараны уже покрашены бело-желтым. Даже туалет и душ функционируют.

— По прогнозу, в полдень будет двадцать четыре градуса, вода — восемнадцать! — радостно объявляет Паша. — Как раз шашлычки успедем пожарить!

— А не лучше наоборот? — сурово пресекает Раиса Петровна. — Сперва аппетит нагулять надо! Освежиться после дороги!

И под изумленными взглядами скидывает кроссовки, с визгом расстегивает молнию на куртке и выбирается из своих великанских джинсов. И вот эта женщина с лицом и голосом Раисы Петровны, в купальнике как у моей мамы — трусы как шорты, лифчик как топик — решительно шагает к воде! И мы, разинув рты, следим, как она рассекает прозрачную полоску и смело ступает прямо в синюю глубину! И с легким всплеском погружается по плечи! И плывет, словно так и надо! И призывно взмахивает рукой в нашу сторону!

— Не боишься замерзнуть? — опасливо интересуется у меня Паша.

Тут я обнаруживаю, что и мои джинсы с футболкой уже валяются кучкой под ногами, а сама я сдергиваю ремешки босоножек.

Притяжение моря иногда охватывает человека внезапно, как любовная страсть. Оглянуться не успеешь, как ты уже на недостижимой ногами глубине, в восторге от холодного ожога, каким встречает тебя водная стихия. И от этого восторга оно понемногу оттаивает, и постепенно узнает тебя, и гладит, и наконец-то обнимает как раньше — упруго и ласково.

А ты в порыве страсти теряешь память, рассудок и чувство времени. Выйдя на сушу, но не в силах разлучиться с любимой стихией, растягиваешься греться тут же, у кромки воды. И слышишь сразу два прибоя: с одной стороны — ш-ш-ш, р-р-р — море, с другой — бормотание со-служивцев:

— ...мангал подальше.

— Вы внюхайтесь только... Главное, грамотно замариновать.

Ш-ш-ш-ш... р-р-р-р...

— Но все-таки, знаете, покупные угли — это как бы не совсем то.

— Да что за глупости! Вся Европа давно пользуется!

Ф-р-р-ф-р-р! — это чайка энергично рассекает воздух. Так низко, совсем не обращая внимания на людей. Должно быть, за зиму отвыкла от пляжных толп.

— Я говорю, в морской воздух внюхайтесь! Сравните...

Ш-ш-ш-ш... и белые корабли — один поближе, другой на самом горизонте... ну в точности те же самые! Нет, этого не может быть...

— ...и с другой стороны. Переверни, говорю!

— Нормально уже. Можно снимать. Тарелки...

Р-р-р-р... А раз все так и стоит перед глазами, значит, оно никуда не ушло? Оно есть? И юность тоже? И ты окунаешься в море, как в юность...

— А эти две, гляньте! Разнежились на солнышке. Обгорели уже, сони! Идите скорей, шашлыка не достанется!

С телом происходит что-то странное. Челюстные мышцы исправно работают, расправляясь с шашлыком, а вот сидеть почему-то неудобно. Лежать вообще невозможно. Лучшее положение — ноги на ширине плеч, руки на отлете, как крылья.

— Та-ак, некоторые уже назагорались! Гляньте — вся малиновая! Ее ж спасать надо! Там кефира не осталось?

— Да не надо кефира, — бормочу я, — само пройдет...

Мне бы поскорее в море, в прохладу, в глубину.

— Вообще, с морем, девочки, надо как с любимым человеком — не обострять. Не надоедать со своей любовью. Время от времени отходить на три шага — и под тент.

— А вон шары на горе видите? Я их с детства помню. Говорили, это обсерватория. А я астрономом быть собиралась, серьезно так. Рассчитала, что к следующему великому противостоянию Марса буду здесь работать. То есть ночью работать, днем спать, а под вечер спускаться на пляж...

— Хорошо как, девки! Останемся тут жить?

Паша на «девок» ничуть не обижается. Предлагает с набитым ртом:
— Правда, давайте тут и заночуем? Жилье найдем. А вечером на танцы, всей семьей!

Все, конечно, возмущаются и отказываются. Потом, конечно, сокрушаются, что не взяли платья и косметику. И успокаиваются, только твердо решив летом приехать с ночевкой, лучше даже дня на три. Всей семьей. И вечерами ходить на танцы.

Вокруг уже люди, парочки, группки. Сбоку на один лежак уселись две сердитые старушки — решили, видно, на денек сбежать от правнуков. И разругались.

— А я виновата? Мутит меня, и все! И плавать не могу, боюсь! — скрипуче жалуется та, что помоложе, слегка за восемьдесят.

— Ну правильно, мутит! — с вызовом передразнивает другая, посолидней и побасовитей. — Ну-ка, всю ночь не спать!

— Я автобус проспять боялась, — оправдывается младшая. — Будильник поломался. А электронные твои, что в прошлом году подарила, я вообще не понимаю!

— Вот-вот, второй год уже! Да еще и не поела! — уличает басовитая.

— Потому что я в пять утра кушать не могу. А если в туалет захочу? Что ж, из-за меня автобус останавливать?

— Ну так и нечего здесь заплывы устраивать! — отрезает старшая. — В нашем возрасте как надо купаться? Зашла. Присела. Выпрямилась. Постояла. Два шага влево, два шага вправо. Присела, выпрямилась, постояла. И на берег!

Наши переглядываются с усмешкой. А ты, хихикнув, вдруг чувствуешь, как смех замер на губах, потому что тебя осенило... точно, осенило!

Твоя инструкция на будущее — вот что такое эти две старушки! И не хихикать надо, а запоминать ее в точности!

Потому что вот она перед тобой — пожизненная гарантия пользования морем. Так что теперь оно навсегда в пределах досягаемости. То есть, в общем-то, выходит, мы еще бросимся в морские объятия! И загорим, и посмеемся, и потанцуем. А если понадобится — изобретем что-нибудь для спасения человечества.

Серьезно. Здесь все возможно.



Всеволод ИВАНОВ

ПРОСПЕКТ ИЛЬИЧА

Р о м а н*

Глава сорок девятая

Для того чтобы понять все дальнейшие события, стремительные и крупные, необходимо рассказать об изменениях в сознании нашего героя, происшедших вскоре после смерти Рамаданова.

Матвей прежде всего по-особому отчетливо разобрался в том вещественном процессе, который на СХМ назывался созданием пушки. Раньше он не так ощущал пушку, а в особенности последние недели, когда отдельный агрегат ее «Ш-71» был закреплен за станками его цеха и он привык думать об ускорении и улучшении операций этих станков. Теперь то он видел весь процесс создания пушки и снарядов к ней, — и это поднимало и окрыляло его сознание необычайно! Когда он проходил вдоль конвейера сборочного цеха, ему казалось, что катящиеся медленно к выходу из цеха пушки катятся, впитав всю его энергию, — и он расставался с ними, впитав их прочную силу.

Но, разумеется, он почувствовал остро не только светлые стороны своей новой профессии, но и темные. В каждой профессии, — и чем она выше, тем это опаснее, — таится возможность одностороннего и противообщественного использования своих профессиональных знаний, как и вообще всех преимуществ, связанных с выполнением данных профессиональных функций. Человека иногда охватывает стихийная игра личных интересов, — и тогда конец этому человеку! Одной из сторон таких стихийных стремлений является дурно используемый элемент власти, в особенности когда общество не имеет возвышенного представления о задачах той профессии, которой занимается данная личность.

Конечно, общество, окружавшее Матвея, — рабочие, мастера, инженеры, конструкторы, директора подсобных заводов, работники партии, исполкомов, советов, школ, институтов, клубов, — в большинстве своем не подавляли в себе силу профессионального сцепления, а использовали ее для высших целей, — защиты родины. Между Матвеем и обществом

* Окончание. Начало см. «Сибирские огни», 2016, № 7, 8, 9, 10, 11.

сразу возникло крайне живое чувство взаимной ответственности за общее дело, что помогло ему благоприятно направить те элементы власти, которые очутились в его руках и которые как раз он опасался дурно использовать, — и вовсе не потому, что уж считал себя таким дурным человеком, а потому, что боялся, как бы ему не ошибиться и не спутаться.

Он почти все время спрашивал сам себя: «Есть ли у меня особые психические свойства, необходимые директору? Обладаю ли я социальной функцией организатора, — которой в таком богатстве обладал Рамаданов, что никто даже и не мог объяснить, откуда он ее берет, — и одновременно с этим, смогу ли я проявить культурную роль новатора? И, наконец, смогу ли я уговорить людей в необходимости с почтением относиться к моей власти? Ведь инстинкт неповиновения, — а в особенности к человеку из своей среды, — так неискореним!»

Вскоре он увидел, что людей не надо уговаривать. Они признали его власть. Они почти мгновенно почувствовали его крайне благожелательное отношение к себе, его серьезное внимание к общему делу, а главное, — его способность достигать реальных успехов. Матвей, как директор, признали они, — есть необходимый и важный результат замечательной комбинации социальных явлений. Его деятельность — необходимое условие нормального отправления жизненных функций советского общества. Это — не осадок, который иногда кажется даже неустраняемым, а важнейшее бродильное начало!

Матвеем удивлялись. Его внутренние возможности преувеличивали. И так как все новое и возвышенное легко принимает таинственный вид, то его даже стали побаиваться. «Надо быть проще, надо быть возможно проще», — твердил себе в таких случаях Матвей, — он чувствовал, что это ему доставляет удовольствие.

Да, у него появилась и проявилась воля к власти. Он желал не только служить народу, но и управлять им. Конечно, помогая. Конечно, будучи слугой народа! Но, помогая, но будучи слугой, он, не отделяясь от масс, — <желал> вести за собою массы, по в е л е в а т ь ими. Разумеется, это трудно, как трудно всякое большое дело, но тут поможет дисциплина Великой Армии, части которой находились в городе и за городом и стройность духа которой проникала всюду. «Да и традиции СХМ не так уж плохи и профессиональный долг не столь уж мал среди нас», — думал он. И думы его подтверждались ежечасно.

Конструктор Новгородцев был ранен во время бомбежки одного из эшелонов завода, ушедшего на восток в день похорон Рамаданова. Конструктора положили в лазарет. Он ослеп. Но, раненый, слепой, он продиктовал сестре милосердия письмо к Матвею, в котором сообщал, что, по его мнению, деталь «З-9», изготавливавшаяся методом свободной ковки под молотами и обрабатывающаяся на чрезвычайно загруженных станках, да еще с применением сложного инструмента, — следует штамповать. И Новгородцев указал, как надо изменить деталь. Попробовали. Теперь деталь штампуются и обрабатывается на простейших станках с применением самого обычного инструмента. Тот же летчик, который

привез письмо Новгородцева, отвез раненому благодарность коллектива завода.

— Да, традиции не так уж плохи!

Или возьмем, например, так называемый «обмен опытом». Часть завода, уже начавшая монтаж в Узбекистане, шлет по телеграфу свои предложения по усовершенствованию технологии производства. Телеграммы доходят до конечной станции, а затем их везут в город на самолетах. Так производится, — под взрывами вражеских бомб, — специализация участков и создание поточных линий, которые позволят резко сократить цикл механической обработки и сборки.

— Мечите бомбы! Взрывайте дома! В тысячу раз больше, ненавистнейший враг, намечем мы бомб! В миллион раз разрушим домов! В триллионы раз отомстим за нашу родину!

Требования к увеличению производства пушек возрастали, а завод продолжали эвакуировать. Правда, немцы отрезали город, но тем не менее то оборудование, которое решено было вывезти и которое не успели, погрузилось и стояло в эшелонах, готовое уйти каждую минуту. Это раздражало рабочих и техников, — раздражало и Матвея, — да к тому же им стало известно, что хотя народ и правительство Узбекистана встретили прибывших превосходно, однако же, несмотря на все усилия (много заводов приехало раньше их), СХМ получил едва ли 40 % необходимой производственной площади, не говоря уже о жилищной. База не отвечает самым минимальным требованиям. Надо строить новые корпуса. «Стройте!» — приказывал Матвей, с болью чувствуя, что эшелоны мучаются и тоскуют по работе в Узбекистане. Коротков, с которым Матвей расстался крайне дружески, залетел на несколько дней зачем-то в Москву, а теперь телеграфировал уже из Узбекистана: «Энергетику надо создавать заводу здесь заново! Силовых машин нет. Все воздушное и водопроводное хозяйство отсутствует...» — Матвей ему телеграфировал: «Создавайте!» Вскоре Коротков сообщил, что из вещевого склада они сделали станцию для сжатого воздуха, а из гаража — цех главного механика, а цех падающих молотов стоит под открытым небом, работает, а вокруг него воздвигаются стены... Матвей написал Короткову: «Вижу, дело налаживается. — И, подумав, добавил: — Скоро ожидай остальные эшелоны».

Но — так ли скоро ожидать?

Немцы плотно сжали кольцо своих войск вокруг города.

Хлебный паек уменьшался. В столовых, — сначала в городе, а затем и на СХМ — исчезло сначала третье, затем второе, и первое кушанье становилось все жиже и жиже. О работе говорили меньше, о питании — все время, о деньгах — никогда...

«Сколько же мы выдержим?» — с мучительной тоской думал Матвей.

Но хотя о работе говорили мало, работали все яростно. Эсхаэмовцы сами научились делать специализированные станки, которых не хватало. За короткий срок их сделали 145, а добытых со склада — старинных, в системе которых даже трудно было и разобраться, — модернизирована-



ли 466. Производственный цикл полного изготовления машины, — от первой заклепки до последней окраски, — сократили: вместо полутора месяцев стали делать в три недели.

— И мало, — сказал Матвей на одном из совещаний. — Надо две недели!

— Что же, подумаем, — ответил конструктор Койшауров, назначенный теперь помощником главного инженера Никифорова.

— Следовательно, возможно?

— Вообще-то невозможно, но для победы — возможно, — ответил, улыбаясь, Койшауров. — Вам только, Матвей Потапыч, придется поднять соревнование рабочих на большую высоту.

— Сами поднимут, — сказал Матвей уверенно.

Накануне совещания Матвей просматривал оставшиеся после смерти Рамаданова бумаги. Какой мощный ум! Только сейчас Матвей понял выдержку Рамаданова, ни разу не пожаловавшегося на трудности и неудобства, а наоборот, все время утверждавшего, что его работа легка и проста. Где там легка! Посмотреть только на записи. Сколько к нему обращалось людей, какие жалобы, какие требования, сколько сплетен, сколько обиженных самолюбий, сколько негодования! Все это Рамаданов мог так улаживать и утишать, что диву даешься.

Среди бумаг Матвей наткнулся на записи, которые стали ему ясны лишь на заседании. Рамаданов шел в работе из идеи отдельных конструктивно-технологических изменений, предложенных Дедловым, Рамаданов замышлял большое дело: продуманно заменить целые агрегаты пушки новыми агрегатами, более простыми в изготовлении, таким образом, чтобы создать по существу новое орудие, совершенное и еще более великолепное! Рамаданов не успел закончить своей мысли, как и не успел связаться с Дедловым...

Говорил Никифоров:

— Быстро учится молодежь. Семь токарных станков, где шла обработка ответственной детали «4-КЕ», очень трудоемкой, обслуживает два квалифицированных токаря, остальные новички...

Матвей прикрыл глаза ладонью. Сквозь открытые окна врвался свежий воздух осеннего вечера. Матвею почему-то вспомнился Ленинград, куда однажды он ездил с экскурсией рабочих. Вот такой же свежий воздух с Невы обдавал его, когда он торопился к Эрмитажу, боясь, что уже будет поздно и музей закроют. Но, оказалось, не опоздал. Он шел по залам... Удивительно! Никогда позже он не вспоминал этих зал и картин, как и вообще никогда не вспоминал виденных спектаклей, фильмов или музыки. Сейчас он вспомнил залы с отчетливостью поразительной. Он видел натертые паркетные дорожки, красные шнуры вдоль стен, золоченую разнообразную мебель, золотые рамы... и одна за другой, в его воображении вставали картины.

Он не помнил имен художников. Ему крайне хотелось сейчас вспомнить их — и оттого еще ярче видел он картины! Вот по пояс стоит мужчина в красном кафтане, опираясь левою рукой на стол, покрытый красной

скатертью. На столе — часы. Вдали — море и горы... Богиня сидит на морском чудище, повернувшись спиной к тебе. Слева крылатый мальчишка с луком едет на дельфине, а вверху, в облаках, видны мордашки двух детишек. Вдали — пейзаж... Кто писал это? Для чего? Почему?.. Рослый мужчина, совсем нагой, стоит у древесного ствола. Бедрa его прикрыты белой драпировкой. Руки его связаны за спиной. Взор обращен вверх. Три стрелы вонзились в его туловище, и одна в левую руку... Да, это другие стрелы, чем у того крылатого мальчишки... да и боль-то, небось, другая!..

Матвей вдруг быстро спросил у Никифорова:

— Узел «Д-3» собирался из скольких отдельных деталей?

— Из трехсот двадцати четырех, — быстро, как ученик, ответил Никифоров.

— Какие предусматривались технологические процессы для его изготовления?

Никифоров, чувствуя, что сейчас произойдет что-то важное, ответил еще быстрее, почти скороговоркой:

— Для деталей «Д-3» предусматривалась клепка, штамповка, применение легализованного <так в рукописи; очевидно, легированного. — Ред.> проката.

— После изменений что произошло?

Никифоров сказал:

— После проведенных изменений узел «Д-3» отливался целиком в виде одной детали из углеродной стали...

— Следовательно?

— Следовательно: а) сэкономили легированную сталь; б) организовали поточное производство узла; в) путем оснащения станков местными приспособлениями и сборным инструментом время обработки узла «Д-3» сократили в три раза.

— В три раза?

— Да.

— Экономия?

— Сто шестнадцать тысяч.

Матвей сказал:

— Приказываю: применить эти изменения ко всему производству, с тем чтобы благодаря модернизации пропускная способность оборудования завода возросла в десять раз по сравнению с прежней! Несмотря на то, что больше половины завода уехало.

Матвей возвысил голос:

— Мало того! Приказываю: погрузить и отправить в Узбекистан все новые, созданные нами специализированные агрегатные станки, с тем чтобы нам создать другие. И тем не менее продумать целую систему наращивания мощности на всех производственных участках завода за счет модернизации и специализации станков. Предусматриваю конструктивные изменения девяноста процентов деталей пушки. Я сейчас намечу какие... Ты слушаешь, Койшауров?

— А еще бы, Матвей Потапыч!

Три недели спустя старший бухгалтер завода принес наметку телеграммы Наркому, в которой завод сообщал, что благодаря сокращению производственного цикла и конструктивным изменениям СХМ сэкономил ч е т ы р н а д ц а т ь миллионов рублей и в пять раз увеличил количество своей продукции...

Бухгалтер, льстивший не потому, что ему это было выгодно, а потому, что это ему доставляло удовольствие, — знал, что Матвей не любит лести, <но> не мог удержаться. Бухгалтер сказал:

— Что значит хороший директор!

Матвей хмуро ответил:

— Нету и не будет хорошего врача в народе, если народ мечтает о колдунах, как нету и не будет правдивых людей, если верить льстецам и брехунам.

Рассмеявшись, Матвей сказал:

— Впрочем, это к вашей бухгалтерии не относится. Говорите вы одно, считаете вы другое. Дай бог и дальше вам так жить!

И он подписал телеграмму.

Секретарша сообщила, что генерал-лейтенант Микола Ильич Горбыч желает поговорить с Матвеем Потапычем по срочнейшему делу.

— Я слушаю вас, Микола Ильич, — сказал Матвей, поднимая матово-блестящую трубку телефона.

Глава пятидесятая

Матвей сел за стол в кабинете генерала:

— Ну-с, я слушаю вас, Микола Ильич.

Горбыч задумчиво посмотрел на него:

— Вы любите музыку?

Матвей не удивился странному вопросу: это был один из тех вопросов, какие он себе сейчас задавал довольно часто. Кроме того, серьезный тон генерала заставлял отвечать так же серьезно.

— До последних дней, Микола Ильич, я не думал о музыке. Ну, попоешь песню, послушаешь радио, сходишь на концерт — и все. А так, чтобы звенело в ушах, такого не было. А тут... не знаю, разрывы мне, что ли, надоели... я много думаю о музыке. Даже очень много! И хочется музыки. Идешь по цеху, и кажется тебе, он вроде музыки поет... мерещится, конечно.

Генерал молчал, глядя на него пристально. Матвей продолжал:

— И дошло у меня, Микола Ильич, до того, что стал я вспоминать песни и даже... прилепляю их к тем, кто никогда их и не пел. Вспомнился мне один голос...

— Чей?

— Так, слышанный... на грампластинке... я ее в лицо не видал... певица...

— А может быть, видел?

— Нет, не видал. Вспомнился мне этот голос, песня ее вспомнилась. И прилепил я эту песню к одной знакомой, которая, конечно, не поет и которая...

Матвей махнул рукой.

Генерал, глядя на него, думал: «Сказать или не сказать?» Старик погладил ладонью стол и продолжал: «Но ведь если говорить, так я должен был сказать это месяц тому назад, когда поговорил с Полиной. Почему же тогда не поехал и не сказал?» Горбыч испытывал неудовольствие. Ему хотелось все-таки отличиться от тех генералов, которых выводят в водевильях. А помимо этого, «свадьбы свершаются в сердцах, а не в кабинетах генералов». И он решил молчать. Не для свадьбы он вызвал Матвея! «Но с другой стороны, зачем же вы, товарищ генерал-лейтенант, заговорили о музыке? Чтобы узнать: родственна ли душа Матвея сердцу Полины... Ах, какой вздор вмешивается всегда в высокий тон марша!»

Горбыч сказал:

— Мне всегда думалось, что вы преклоняетесь перед музыкой, Матвей Потапыч, а перед военной в особенности.

Лицо Матвея выразило недоумение: он ожидал, видимо, других слов от Горбыча. Генерал недовольно пожевал губами и продолжал, выходя на ту дорогу разговора, ради которой он призвал Матвея:

— Я не люблю говорить патетически, но свершенное вами, Матвей Потапыч, свершенное вами и вашим заводом невольно настраивает всякого на патетический лад. От лица Красной Армии благодарю вас!

Он вздохнул, выпил стакан воды, а затем спросил спокойно:

— Сколько у вас на складе «дедловок» нового образца?

— Шестьсот одиннадцать.

— Черт возьми!

— А что? Мало? — с гордостью спросил Матвей.

— Какое мало!

— Да, заказчики довольны. Только как их, орудия эти, доставить заказчикам, не знаю. Вы должны мне помочь, Микола Ильич! Я раньше хотел к вам обратиться, но неудобно мне вмешиваться в военные дела. Опять, думаю, мне влетит, как раньше...

Генерал рассмеялся.

— В чем же вам помочь?

— Вы мне скажите точно: выгружать мне мои эшелоны или же их отправят когда-нибудь? Пробьются к нам части Красной Армии?

— Нет.

— Значит, надо выгружать. А то ведь сидят, едят хлеб, досаждают, обидные выражения всякие слышишь.

— Нет, и выгружать не нужно.

— Как же?!

— Да так же.

Генерал сложил руки, помахал ими перед своим лицом. Все его движения указывали, что он скажет сейчас нечто необыкновенное. Матвей ждал с нетерпением.



— Стало быть, пушечек шестьсот одиннадцать? Много. Если, допустим, каждая пушка способна задержать три танка, то, выходит, мы задержим тысячу восемьсот танков генерала фон Паупеля...

— Полковника, — поправил Матвей.

— Нет. Его уже произвели в генералы. Мне теперь лестно бороться, — сказал, громко смеясь, Горбыч. — А то что ж такое? Против полковника стоял генерал-лейтенант! И так, мы способны задержать одну тысячу восемьсот?.. Превосходно!

— И больше задержим.

— И больше? Верно!

Генерал, прищурился веселые глаза и поигрывая пустым стаканом, глядел на Матвея загадочным взором.

— А ведь дальше-то вы подобными темпами не поработаете? Не выделают вам дальше-то столько орудий.

— Почему же?

— Металла нет. Стали мало осталось, знаю.

— Все ножи, вилки, все гвозди выдержаем. Весь город оберем! Снимем замки, кровли, дверные ручки. Топлива не будет, дома деревянные сожжем, двери, рамы... вагоны, в конце концов.

— Верю. И одобряю. Жечь мы любим. Но ведь есть еще выход.

— Какой же?

— Поставить все шестьсот одиннадцать орудий вдоль линии железной дороги и пробиться к нашей Красной Армии, которая идет навстречу, к металлу, который вам везут, к хлебу, которого нам недостает! Пушки ваши уважают, — да не мы, мы что? — враги уважают, и я думаю, расступятся перед ними...

Глава пятьдесят первая

Силигура получил приказ об эвакуации. Он собрал остатки своего читательского актива — судьба раскидала его и помяла так же, как и пожар книги, — и с помощью актива на тачках, на носилках, на плечах перетаскал уцелевшие книжные сокровища в эшелоны. Он распихивал книги всюду, куда только можно, — и с огромным удивлением позже, в Узбекистане, разгружая эшелоны, узбеки находили под станками, среди частей, закрытых толем и фанерой, толстые тома «Русской мысли», или том «Теории исторического знания», или «Древний Вавилон и его культура».

Мимо Силигуры, — на металлических катках по железным листам, системой блоков, помогая себе трактором, — тащили, волокли и грузили в вагоны и <на> платформы новые станки, материал, трос, тащили чемоданы, узлы, плакали, прощались, встречались. Силигура тоже пролил не одну слезу.

А завод по-прежнему работал. В металлическом цехе в тот день рабочий-стахановец Кожебаткин, обучающий вместе с тем пять учеников, дал 73 <0> % нормы. Сборщик Андрианов, стоящий у своего дела только две недели спустя после выхода из учебного цеха, дал — 365 %!

Клепальщик Данилова, учившаяся всего восемь дней, — 420. Какая-то особо красивая жизнь!

Силигура знал, что и там, в Узбекистане, его ждет не менее эффектная жизнь, но все же расставаться ему с городом не хотелось. Помимо других соображений, ему надо было, — для завершения его «Истории» на данном этапе, — увидеться с Матвеем Кавалевым, теперешним директором.

Все директора трудноуловимы, но Матвей особенно. Силигура бегал даже к нему на квартиру, мало надеясь, что встретит там его. Двери квартиры были раскрыты. Серенький котенок осторожно ходил среди осколков стекла и, увидев Силигуру, замыкал. Силигура сунул его за пазуху и, прикрыв дверь, ушел.

Тощий старичок, встретивший его на лестнице, сказал, указывая на мяукавшего котенка:

— Обождали бы, гражданин, есть. Передают, что наши соединились и нонче эсхаэмовские эшелоны уже уходят.

В кабинете директора конструктор Койшауров читал агитаторам доклад «О стахановце военного времени».

Уже смеркалось, когда Силигура отыскал Матвея.

Матвей стоял возле могилы Рамаданова, опустив голову и глубоко засунув в карманы руки. Он думал о Рамаданове, Горбыче, Стажило... Сегодня трое, они соединились в своих мыслях, чтобы, наконец-то, направить своего ученика в погоню за полковником фон Паупелем! Мстить, мстить!.. Догоню, догоню!.. Шестьсот одиннадцать орудий пустятся сегодня за тобой в погоню, — и, думаешь, не догонят? Догонят непременно!

И еще Матвей думал о Полине. Ему нисколько не было неловко у этой святой для него могилы думать о человеке, которого он любил. Да, несомненно, любил! Теперь совершенно очевидно, что ее образ незримо присутствовал во всех его замыслах, во всех его мыслях, так же несомненно, как то, что он непременно найдет ее. Ему даже почудилось, что генерал Горбыч знает кое-что о Полине, когда тот завел разговор о музыке. Но, кажется, он ошибся. Во всяком случае, намек Матвея на «одну знакомую» генерал обошел.

Только сейчас, — именно у могилы учителя и друга, — Матвей понял, как он ее любит. Нет, «старик», так обожавший жизнь во всех ее проявлениях, не осудит своего ученика! К тому же не грубая кровяная чувственность, избыток здоровья, влечет Матвея к Полине. Его присоединяет к ней мучительнейшая загадка красоты и великой женственности, которую он видит и в картинах художников, что мерещатся ему непрерывно, и в аккордах музыки, колышущихся где-то за картинами, — и во всем прекрасном ходе прекрасной жизни. Она — воплощение всей этой красоты! То низкое, которое он некогда думал о ней, — прямо надо сказать: его ревность к ее прошлому, — все отошло так далеко, что и вспомнить невозможно. Красота, неотразимая, вечная и возвышенная, как гимн, стоит перед его очами.



Любовь? Да, любовь! А как же бы посмотрел на эту любовь «старик»? Очень хорошо! Он-то, как никто, знал, что плечи у человека не слабы. Он снесет и битву с врагом, и любовь с любимой. Он, «старик», — воплощение и символ прошлого нашей страны, ее нетленное сердце, он, друг Ленина, знал, что родина не ревнова к своим сынам, ибо верит, что они способны воплотить в своем сердце и любовь к родине, и ненависть к врагу, и нежность к любимой.

И Матвей мысленно издал тот возглас, который до него издавали миллионы влюбленных:

— «Но, любимая, где же ты? Где ты меня ждешь? Куда ты ушла?»

И со скорбью величайшей, добавил:

— И любишь ли ты меня?»

Он взглянул на Силигуру таким странным взглядом, что Силигура растерялся и сказал:

— А как же некролог, Матвей Потапыч?

Месяц тому назад Силигура попросил Матвея написать некролог о покойном Рамаданове. Матвей обещал и передал ему вскоре. На небольшом листке было написано: «Рамаданов — боец социализма. Группа товарищей». Силигура сказал: «Это эпитафия, а отнюдь не некролог». На что Матвей резонно сказал ему: «Никаким некрологом не скажешь лучше того, что здесь сказано. Длиннота не дает качества». Сейчас он, видимо, погруженный в мысли о Рамаданове, спутал дни и, забыв, что уже говорил это однажды, повторил:

— Никакой некролог не скажет глубже. Рамаданов — боец социализма!

Он сжал кулаки. Ненависть опять нахлынула в его сердце, терзая его. Лицо его изменилось и потемнело. Силигура, угадывая его мысли, ужаснулся.

— Ну да. Я засыплю вот этой землей глаза полковнику фон Паупелю. Я убью его!

Он наклонился к земле и стал наполнять ею карманы, как будто хотел засыпать глаза не только фон Паупелю, но и всей немецкой армии.

— Засыплю. Живому! Не мертвому!

Силигура посмотрел ему вслед. Он шел сгорбившись, прихрамывая, карманы его куртки оттопыривались от земли. Что-то страшное и в то же время привлекательное чувствовалось в нем. Силигура подумал: «Во-первых, история уважает красивые слова, но того более — красивые поступки, заключения которых я еще не вижу. Во-вторых, разве недостаточно в Узбекистане библиотекарей?»

И он пошел за Матвеем.

Матвей миновал Заводоуправление, подошел было к своему дому, но, обернувшись, посмотрел на Силигуру и сказал:

— Да, ведь котенок-то мой у тебя, Силигура?

— У меня, — сказал Силигура, ожидавший, что Матвей сейчас отнимет котенка и прогонит бедного библиотекаря.

— Ну и держи!

- Силигура обрадовался:
- У меня, Матвей Потапыч, даже молоко найдется!
 - Скажи, пожалуйста, какой богатей! Только ты его на нынешнюю ночь спрячь куда-нибудь. Он тебе иначе помешает. Ты пойдешь рядом со мной.
 - Чем же он мне может помешать?
 - Неизвестно еще, как он отнесется к залпу из шестисот орудий. Вдруг да поцарапает!

Глава пятьдесят вторая

Едва ли в какое другое утро всей его жизни Силигура так отчетливо понимал, насколько человек связан с другим человеком, если он охвачен стремлением честно относиться к своим обязанностям, к своему долгу человека и патриота. Силигура всматривался в свершающееся столь прилежно и внимательно, что ему иногда казалось, будто силы его приметно слабеют. Но проходила минута, — и Силигура опять куда-нибудь бежал, кого-нибудь торопил, кому-нибудь передавал приказания и поощрения Матвея.

Длинные осенние туманы покрывали поля.

Эшелоны погрузались в этот туман, как в вату, или выходили из него, словно из разорванного войлока. Ночью шел дождь со снегом, и крыши эшелонов были покрыты белыми полосами. На площадках стояли рабочие с винтовками, и когда Силигура, спрыгнув с машины, подбегал к эшелону, чтобы узнать его номер, рабочие спрашивали с надеждой:

- Ну как он? Каваль? Говорит: прорвемся?
- Обязательно прорвемся! — отвечал Силигура тоненьким голоском. — Зачем же иначе беспокойство?

Какой-нибудь рабочий говорил:

— Карты стасованы, сданы, надо и банк сорвать! — И, оглядывая тощую фигуру Силигуры, он добавлял со смехом: — Ходи, Силигур!

Грязь со снегом хлипала под ногами. Чем дальше подвигались они, тем глубже и жиже становилась грязь, так что казалось — вскоре пойдут они в нее по горло. Машина иногда сворачивала на проселок. Они пропускали мимо себя несколько танков. Грязь ручьями стекала с них, и странно было видеть, когда открывался люк башни, возбужденное и чистое лицо радиста или пулеметчика в шлеме со складками, похожими на черные локны.

Вскоре все чаще и чаще стали попадаться сначала батареями, а затем и поодиночке «дедловки». Их везли на грузовиках, на тросах или на цепях. Тросы слабо блестели, цепи позванивали, «дедловки» на своих высоких колесах, словно посмеиваясь, с легкостью выскакивали из любой лужи или рытвины. Иногда их тащили два-три коня, а однажды они увидели лохмоногого и, видимо, упрямого ломовика с широченной грудью, который волок «дедовку» да еще вдобавок ящик со снарядами. Матвей, сверкая глазами, показывал на коня Силигуре:



— Видал, какую машину выпустили! Одноконь! А?

Силигура похвалил. Ему подумалось, что такой одноконь стоит трех коней, но промолчал: Матвей казался страшно возбужденным и едва ли перенес бы какое-нибудь возражение. Он мог еще выбросить Силигуру из машины! Силигура поглядел на его лицо, темно-багровое при свете начинающегося утра, с капельками воды на небритом и темном подбородке, и, сам чувствуя нарастающее возбуждение и, как подлинный историк, желая знать причину этого возбуждения, спросил:

— Матвей Потапыч, скоро?

— А ты что, не видишь?

И Матвей указал на группы людей в штатском, — жителей города, — которые то там то сям помогали артиллеристам везти орудия, устанавливать за прикрытия, маскировать их. До того Силигура почему-то думал, что обещанный залп раздастся из шестисот орудий, которые выстроят в ряд, как строят дети игрушечных солдатиков, и так же в ряд повалятся немцы и их укрепления.

Но сейчас Силигура видел, что орудия гораздо умнее и ловчее его тактических построений. Они прятались и крались к врагу крайне искусно, рассыпавшись по балочкам, по-за пригорочкам, из-под холмов, и странно-отважными казались два грузных и тяжелых бронепоезда, которые шли впереди эшелонов, как ножом, разрезая жерлами своих орудий туман, покрывавший рельсы и телеграфные столбы.

Несколько ворон, хлопая крыльями в сыром воздухе, поднялись со жнивья. Тотчас же за воронами, словно дождавшись их сигнала, стал приподниматься туман. Солнце заблестело на свежей окраске орудий, на белых пятнах краски, положенной ночью, когда пошел снег, и похожей на приставшие хлопья хлопка.

Машина опять свернула. Мимо них, обдавая их струями грязи, пронесся большой танк. Силигура, чуть было не свалившийся от этой грязной струи, сокрушенно оглядел свой плащ. Матвей потянул его за рукав. Силигура, ничего не понимая, стоял. Тогда Матвей схватил его за плечи. Силигура подумал: «Раз меня бросают на землю, значит, — бомбардировка». Он приобретал навыки войны.

Залп!!!

Ивы и речка, возле которой они остановились, качнулись от взрыва. В деревне, за ивами, завывли и мгновенно замолкли собаки. Затем доносился крик петуха.

Вдоль берега послышался дробный звук шагов. Показалось несколько крестьян. Правду сказать, Силигура почувствовал к появившимся сильнейшее расположение: они как бы говорили ему, что залп окончился, что он может встать и идти.

Силигура дрожал, все тело его было словно выжато и скомкано, как белье в стирку. Тем не менее он смог подумать и даже вывести заключение: «Стрельба в полях гораздо отвратительнее стрельбы в городе».

Матвей, поговорив с крестьянами, вернулся к машине. Директорский шофер, один из уцелевших библиотечных активистов, конопатый,

пожилой, с маленькими ушами, был заметно бледен. Он глядел на Матвея так, словно ждал от него, что тот прикажет поворачивать к городу. Матвей, не обращая на шофера внимания, сказал, сядясь рядом с ним:

— Двигай!

— Куда, Матвей Потапыч?

— А все туда же!

«Но куда? — хотелось спросить Силигуре. — Куда вы мчитесь, кого вы ловите, Матвей Потапыч?» Однако же спросить было явно невозможно, да притом скачка эта начала нравиться Силигуре. Ему казалось, что они мчатся среди боя, но так умело, что не могут наскочить ни на пехоту, ни на артиллерию противника. Естественно, что ему, как библиотекарю, пришли на ум разные литературные реминисценции. То он вспоминал Фабрицио на поле при Ватерлоо, то Пьера при Бородине, а то, глядя на воспаленные глаза Матвея, ему чудился тот таинственный жюльверновский капитан, который без компаса ведет свое судно к полюсу, руководствуясь только одним своим неистощимым страстным стремлением розыска.

А кого ищет Матвей? Почему он вдруг приказывает вести машину прямо на огонь? А то внезапно мчится от огня, будто его охватил страх неудержимый. Зачем? Куда?

Из-за кустов выскакивают дозорные, смотрят на пропуск. Иногда подходит какой-нибудь командир, подсаживается на свободное место в машине и говорит что-то, стараясь перекричать канонаду. Однажды между сосен пронесся самолет. Шофер остановил машину. Все трое упали в канаву. Самолет выпустил по машине очередь и опять унесся за сосны. Оказалось, что это немецкий разведчик.

Силигура, потный от испуга, лежал в канаве. Легкий ветерок пошевелил деревья. Тихий, насмешливый слегка шепот пробежал по хвое. Затем ветки выпрямились, и еще гулче на востоке забились взрывы, словно выбрасывая куда-то в сторону, далеко, гигантские комья земли.

Когда они сели в машину и Силигура пощупал сукно сиденья, уныние и томящая слабость, охватившие его было в канаве, опять исчезли. Он улыбнулся с важностью — затем, что понял, куда и к кому стремится так страстно Матвей.

Он стремился к полковнику фон Паупелю!

Он знал, где этот полковник!

Он найдет его — и именно живого, а не мертвого!

И чем больше Силигура рассматривал Матвея, тем увереннее укреплялся в своих предположениях. Матвей имел все основания корчить из себя просто вельможу, а не кого-либо меньше. Когда слышался особенно тяжелый залп орудий на востоке, пробивающих себе дорогу среди немецких колонн, лицо Матвея светлело, будто это стреляли не орудия, а падали тяжелые оковы и — рухнули стены темниц!

Стали попадаться навстречу машины и повозки с ранеными. Тела убитых обжигали сердце, как молнии... Затем встретилось немецкое укрепление.



Позже по опросам пленных и рассказам красноармейцев Силигура восстановил историю гибели этого укрепления. Немецкие офицеры, гордые, уверенные, великолепно выпавшиеся и наевшиеся, вышли на бруствер укрепления: солдаты донесли, что приближаются русские. Отселе они, немцы, увидят рождение своей победы. Они подняли бинокли — и увидели другое: рождение своего обвала.

— По местам! — слышится немецкая команда.

И вот Силигура своей ногой идет по уничтоженным, разрытым, разорванным в клочья укреплениям немцев. Вьется дымок. Поднимается пыль. «И скоро завьется над вами ковыль, — думает Силигура торжественно. Лежат мертвые немцы. — Вам уже не топтать моей земли, не издеваться над нею...» Поодаль, возбужденно размахивая руками, красноармейцы бегут к какой-то избе, где в подвале нашли спрятавшегося офицера.

Матвей, сильно припадая на ногу, подошел к Силигуре и сказал протяжным и довольным голосом:

— Вот ты, Владислав Николаич, жаловался, что я написал плохой некролог о Рамаданове? — Он вытянулся, засунув руки в карманы куртки. — Нет! Хороший некролог, я считаю. Мы добавим только одно: «Там лежит прах с могилы того, кто рассеял врагов своих, как прах!»

Он выбросил руки вперед и разжал пальцы.

Земля с могилы Рамаданова упала на остатки укрепления.

...После первого танкового сражения на подступах к СХМ Силигура, как и многие городские жители, ходил осматривать поле сражения. Правда, майор Выпрямцев бранился: «Еще рано экскурсии, да разве вас остановишь?» Силигура, таким образом, видел, как могут быть разбиты танки, разрушительная сила которых дотоле не позволяла и предполагать такое их унижение. Но со всем тем перед ними лежали танки, смятые, как чайники, брошенные где-нибудь на свалке, или скомканные, как листы ржавого железа.

Но здесь торжество «дедловок» было еще явственней! Мертвенная обреченность чувствовалась в этих уничтоженных машинах. Даже железо казалось мягким и жалким, и было несколько обидно, что подобные плоские и неуклюжие машины способны внушать страх.

Зато как величественно стояли они в каре, высматривая русских! Какая походка у солдат! Какие мысли у офицеров! Сколько надписей: «Я брал Фермопилы!» Как глядят они, ища своего отображения в свинцовых волнах русской реки, которые грустно катятся, словно старческий сон, в однообразных берегах.

А теперь танки недвижны — и недвижны навек, так же как и недвижны, спят вечным немецким сном, жадные до сна немецкие солдаты. Ах, эти свинцовые русские реки! Ах, эти реки преисподней! Ах, эти в лаптях и зипунах!..

Матвей повернул вытянувшееся лицо к Силигуре и сказал:

— Сейчас я его убью!

— А что ж? — сказал Силигура. — В конце концов, он вполне достоин смерти.

И Силигура был искренен. Впрочем, он редко был неискренен.

Глава пятьдесят третья

— Я его сейчас убью! — повторил Матвей почти со сладострастием. — Я его убью за все, что он наделал у нас! И за то, что собирался наделать! И за то, что собирался еще жить...

Солнце спускалось к западу. Утихающая на востоке канонада говорила, что наши пробились, что немцы отступали. Да это было ясно также из того, что сообщили: генерал фон Паупель — в бегстве! Все это настраивало думы Силигуры на крайне торжественный лад. Ему казалось, что солнце, — человечество всегда считало солнце покровителем справедливости, — солнце медлит, дабы увидеть акт справедливости. Силигура уже настолько считал месть эту необходимой, что он крайне обиделся, если б ему предложили устроить суд или нечто подобное над генералом фон Паупелем. Из этого нельзя подумать, что Силигура в какой бы то ни было мере был настроен против права, — нет! — он просто жаждал немедленной и самой яростной мести. Если Матвей мстил за свою личную обиду, за обиды, нанесенные немцами своим <очевидно, должно быть: его. — Ред.> родственникам, друзьям и согражданам, то Силигура, помимо всего этого, жаждал отмщения за библиотеку, за сожженные книги и залы!

Небо приобрело однообразную окраску, свойственную мокрому пологу палатки и осени.

Они остановились на широком шоссе. Командир соскочил с мотоциклета. Он подал бумагу Матвею, попросил у Силигуры огня, закурил и вскочил обратно в мотоциклет. Силигура не вытерпел и, высунувшись из машины, повторил вопрос, на который только что получил утвердительный ответ:

— Пробились, значит?

— Так точно! — ответил командир, отъезжая.

Машина опять свернула в проселок.

Странно гнались они за врагом. Впереди на дороге никого не было. Никто, казалось, не указывал им дорогу, — и не встречалось никаких признаков убегающего врага. Ведь он мчится, небось, на самолете или, — раз уж так развезло и самолету трудно подняться, — на каком-нибудь вездеходе. Ведь бежит не кто-нибудь, а сам генерал фон Паупель, виднейший водитель танковых войск! И однако же они чувствовали, что враг где-то недалеко, что того и гляди покажется, отстреливаясь, машина, — Матвей выхватит автомат, шофер пригнется...

Горбатенький крестьянин, накинув на голову рваный солдатский плащ, вышел из кустов. Он поднял руку. Машина остановилась.

— Здравствуйте, товарищ Каваль! — сказал крестьянин бабьим голосом. — У мостика попрошу вас остановиться. Дальше придется на тарантас сесть, там дальше никакие машины не действуют.

Они нырнули вниз, с трудом подкладывая цепи, поднялись на пригорок, а затем пересекли луг и уткнулись в разрушенный мостик.

Матвей выскочил из машины и быстро, переминаясь с ноги на ногу, сказал, весь вздрагивая и облизывая губы:





— Вот здесь я его и встретил... Вот здесь... колхозники ему танки вытаскивали, а он их... бил, сволочь!

Матвей перебежал по оставшимся плахам на ту сторону речки.

Несколько крестьян, в шинелях, подтянутых ремнями, с винтовками, ожидали возле дубов, на высоком берегу. Они молча повели приехавших. Молодящийся старик с подстриженными усами, видимо, весельчак и бабник, сказал только:

— В такую погоду не воевать, а на печке лежать.

— Тебе бы только и лежать, — отозвался кто-то позади, с силой вытаскивая увязший в грязи сапог.

Они увидели мокрый кирпичный дом, крытый железом. Валявшаяся подле вывеска говорила, что здесь прежде была больница. Возле дома и дальше, на площади, где некогда Матвей видел виселицу, стояло много подвод с бочками. Возы и бочки увиты были ветками дубов. Вода стекала по буро-зеленым листьям, чуть тронутым морозом. Ближе, у крыльца, три рослых коня, впряженных в длинный и тяжело нагруженный ходок, переминались с ноги на ногу. Возница, узнавший Матвея, крикнул, указывая на коней:

— Матвей Потапыч, а кони-то у венгерцев уведены!

— Эх вы, конокрады! — сказал Матвей без улыбки и остановился, прислонившись к ходоку. — Где он?

Но ему не ответили.

Из дома вышел, держа в руках красный небольшой флажок, человек в невероятно длинной шинели, с такой же невероятной кобурой у пояса. Лицо у него было маленькое, глаза острые, а голос — угрюмый и гулкий бас. Он заорал на всю площадь, сзывая колхозников. Они сбежались и встали у крыльца. Басистый прочел вслух обращение колхозников партизанского района к жителям города, а затем предоставил слово Матвею.

Матвей поблагодарил колхозников за подарок: «красный обоз с хлебом», и очень коротко, — почти плакатно, — рассказал, как держится город. Крестьянин с передней подводы, когда Матвей окончил свою речь, захолопал. Похлопали и остальные, а затем подводы двинулись, погрохатывая бочками, в которых хранили крестьяне зерно от немцев и которые, выкопав, так и повезли, не пересыпая в мешки. Красный флажок укрепили к дуге передней подводы, и скоро он, колыхаясь, скрылся в дубовой роще. Площадь опустела.

Человек в длинной шинели подошел к Матвею.

— А я товарища П. жду, — сказал он. — Я политрук отряда.

— При мне вас не было.

— У немцев в гестапо сидел, — с гордостью сказал человек и сразу же добавил: — Не примите за гордость, привык так для агитации говорить. Я действительно сидел, товарищ Каваль.

Он полез в длинный карман, долго там рылся и достал, наконец, запачканную маслом телеграмму.

— Деша, — опять с гордостью сказал он, — у нас уже ребята и связь восстановили. Приказано вам в личные руки, так как от генерал-лейтенанта Горбыча.

Матвей, не раскрывая телеграммы, передал ее Силигуре. Тот, недоумевая, держал ее в руках. Ему вспомнился тот полуразвалившийся городишко, мимо которого они промчались полчаса-час тому назад. По обе стороны грязной широкой улицы за высокими, омытыми дождем липами стояли обгорелые каменные домики. Дома, вопли немногих жителей, всюду следы недавнего боя, — все это так непроглядно тоскливо, что захотелось поскорее расстаться с этим городишком. А вот теперь городишко, собрав все свои силенки, принял телеграмму, — «депешу», — как гордо сказал политрук, — для Матвея Кавалева, директора СХМ! Казалось бы, стоило отнестись более внимательно к ее содержанию.

— Проходите в комнаты, — сказал политрук.

Матвей поднялся на крыльцо, под навес, и ответил, что подождет здесь. Вся его фигура внушала такое беспокойство и волнение, что политрук тоже постепенно проникся этим волнением. Подошла группа крестьян. Среди них были те, которые встретили Матвея у речки. Матвей обратил внимание на одного из них, высоколобого, с седенькой бородкой и длинными черными усами. Он спросил его:

— А мы с вами, товарищ, вроде где-то встречались?

— Вот и верно, что вроде, — ответил старик. — Мы с тобой рядом стояли, когда мой брат за тебя на смерть пошел. Как раз напротив виселицы.

Матвей повернулся к политруку и резко проговорил:

— Я больше ждать не буду!

— И не надо, — подхватил старик, — он нас не ждал, когда вешал.

Повесить его — и вся его судьба!

— Где он? — спросил Матвей.

— Сейчас ключи принесу, — ответил политрук и скрылся.

Как только он ушел, колхозники наперерыв стали рассказывать о зверствах немцев, и в частности полковника фон Паупеля. Тысячи людей погибли безвинно. Можно ли прощать такому? Какой там еще суд! Восклидания эти казались Силигуре совершенно справедливыми, но, однако же, что-то в них неладно! Он долго и мучительно, — прислушиваясь к разговорам, — искал причину своего беспокойства. Наконец, нашел. Депеша! Может быть, именно в депеше генерала Горбыча находятся такие инструкции, по которым генерала фон Паупеля, в случае его поимки... Ясно, что его надо повесить. Но все же и телеграмму надо прочесть?

И Силигура сказал:

— Матвей Потапыч, разрешите вскрыть телеграмму?

— Обожди, — решительно ответил Матвей.

Вышел политрук. Они пересекли площадь и остановились возле длинного кирпичного сарая. Дождь улегся. Светили последние длинные лучи солнца. Пахло осенними листьями, и так приятно входили в эти запахи те запахи вина, которые неслись из сарая, где хранились некогда бочки с плодовыми винами, выделявавшимися в совхозе.

Политрук сделал знак рукой. Его помощник вставил многозубчатый ключ в старинный замок и толкнул вовнутрь подвала низкую дверь, обитую железом. У порога внизу сверкнули тонкие серебристые полоски



воды, скопившейся здесь от дождя. Силигура не отрывал глаз от этих полосок, за которыми уже начиналась тьма подвала. Они напоминали ему след рыбы, метнувшейся из вечерней воды... Затем блеснули щегольские сапоги, и на пороге, прямо в луже воды, остановилась высокая фигура немецкого офицера.

Матвей достал револьвер.

— Позвольте, — сказал резко политрук, — вы что хотите делать?

— Убить, — ответил Матвей, глядя на сапоги генерала.

— У вас какие инструкции?

— Иди ты!.. К тебе не инструкция приехала, а Матвей Каваль!

Матвей поднял револьвер:

— Ну, генерал, подходи! Не пришлось тебя в бою убить...

— Да чего ж, Матвей Потапыч, — сказал высоколобый старик, кладя руку на руку Матвея, — чего ж на него советские патроны тратить? Ты уж позволь, мы его повесим! Он наших сынов-братьев вешал, а мы его! У него смотри какая шея длинная, крепкая...

— Он хорошо висеть будет, долго!

— Наука!

— Всю эту Германию надо повесить, от мала до велика!

— Позвольте! — крикнул политрук, подбегая к Матвею.

Матвей оттолкнул его. Политрук упал на руки Силигуры. И тут тот вспомнил, что в руках его телеграмма Горбыча. Он разорвал ее. Сильно смеркалось, но все же он прочел: «Доставить в случае пленения генерала фон Паупеля ко мне живым» — приказывал Горбыч. Прочтя, Силигура огорчился. Ну, за каким дьяволом надо было читать эту телеграмму? Ведь теперь, если ее огласить, то Матвей уже не только не повесит генерала фон Паупеля, но даже и не пристрелит его! Силигуре и раньше, по описаниям, был противен фон Паупель, а теперь, когда он увидел его, слегка склонившего направо голову и глядящего достаточно смело и презрительно, он стал Силигуре совершенно противен. Но как же быть с телеграммой?

Высоколобый старик, скинув шинель, размахивал уже веревкой:

— Ну как, Матвей Потапыч, вешаем?..

Матвей глядел на фон Паупеля. Какой он!.. Тут не только волнения ночи, бегство, плен и подвал, где он сидел прямо в грязи на соломе, — в последнее время в подвале на соломе немцы держали своих раненых, — среди вони, смрада и странно сохранившегося еще запаха вина, нет! — немца волновало кое-что и другое. Он, правда, еще не очень отчетливо, стал понимать, что могут быть замыслы бесчисленного ряда побед, но нельзя, чтобы этот ряд действительно был бесчисленным. Его судьба — прискорбное тому доказательство. Разве полковник фон Паупель не побеждал? Ах, как побеждал!

Фон Паупель после тьмы подвала отчетливо мог видеть тех, кто его собирался убить. Он видел высоколобого мужика с седенькой бородкой и черными усами. У него широкие плечи. В руках его веревка. Фон Паупель глядел на политрука, о чем-то спорившего с хромоногим человеком, нервное лицо которого передергивалось. «Ах, боже мой, как он побеждал!»

«Как побеждал! А теперь? Но разве одно поражение одной танковой части есть поражение всей Германии?» — с отчетливостью необыкновенной продолжал думать фон Паупель, словно отчетливостью этой цепляясь за жизнь. — Да, поражение всей Германии, раз солдаты ее сочли возможным бросить знаменитого генерала фон Паупеля! Значит, если он попал в плен, абсолютный дух победы и славы покинул Германию? Неверные сараины побеждают».

«Побеждают?» — в ужасе от вопроса своего подумал фон Паупель.

Он презирал русских, — как в последнее время он вообще презирал все народы, кроме германского, — да и то за то, что среди него соблаговолил родиться он, Паупель. Ему казался совершенно невозможным какой-либо стратегически важный удар русских армий, а тем более на него, генерала фон Паупеля! Да, умирать русские умирают, и умирают храбро, но они не умеют стройно и умно двигаться, а движение в современной войне — самое важное. Сила, быстрота, плановость и стройность движения — вот атрибуты победы, вот ее категорический императив!

Фон Паупель, получив генеральский чин, решил озаглавить его решительным ударом по русским. Он вновь, — в последний раз, — приказал атаковать город Р. со стороны СХМ и Проспекта Ильича. Последний и решительный раз! Конец городу. Нет пощады! Конец!

«Почему я не застрелился?» — все в возрастающем ужасе думал фон Паупель.

А стоило! Во время последней атаки <на> СХМ, — он управлял ею лично, — ему сообщили, что многие сотни русских орудий подкрались к войскам, охранявшим линию железной дороги, — и атаковали их. Немцы не выносят чудовищного огня противотанковых... «К дьяволу психологию, умирать!» — воскликнул фон Паупель и ринулся к линии железной дороги.

Он не увидел линию железной дороги. Конвоировавшие его танкетки были уничтожены, а он сам... «Почему ты не застрелился?» — в яростном нестерпимом ужасе спрашивал он сам себя.

Он глядел в лица русских, окружавших его. Такими он видел их впервые. Перед ним словно бы раскрылись железные ворота сарацинских замков, и он — крестоносец — вошел туда невидимый — и увидел истинные лица своих врагов. О, рыцари. О, крестоносцы. Прежде чем биться с врагом, загляните за его забрало, разглядите его глаза, его волю. Дьявол его побери, не от острых ли стрел минаретов родилась средневековая готика, и не сараинам ли подражали рыцари, когда строили свои замки?

Фон Паупель торопливо искал внутри себя презрение к русским, — и как проигравшийся игрок тщетно рассматривает свой бумажник, не находя ни гроша, так же тщетны были усилия фон Паупеля! Не презрение, а нечто другое, готическое, вассальное, страшное и унижительное, находил в себе фон Паупель.

Веревка? Неужели этот высоколобый старик хочет повесить его, генерала фон Паупеля, как бандита, на веревке? Зачем разглядывает он деревья? И почему низки так сучья дубов?



— Я солдат! — воскликнул фон Паупель. — Я имею полное право на пулю!

Но едва он воскликнул это, как последние капли мужества выпали из него. Внутренний голос сказал ему: «Да, ты имеешь право на пулю. Но почему же ты не застрелился тогда, когда крестьяне подбежали к твоей машине? Ах, ты отговаривал себя, твердил, что это ошибка, что они бегут поздравить тебя с победой!»

— Прикажи начинать, Матвей Потапыч, — сказал высоколобый старик, желавший, чтобы все вышло по ритуалу: старший командир прикажет, а он с крайним удовольствием накинёт веревку на шею фон Паупелю.

Матвей молчал.

Он глядел на генерала фон Паупеля.

— Матвей Потапыч! — сказал умоляюще Силигура. — Взгляните на депешу генерала Горбыча.

— Надо взглянуть, — подтвердил политрук.

Матвей молчал.

— Значит, вешаю?

— Нельзя вешать! — воскликнул политрук. — Матвей Потапыч!..

Матвей молчал.

— Вести его к дубу, Матвей Потапыч?

— Эх, на осинку бы его вздернуть!

Матвей молчал.

Птица, питающаяся падалью, несомненно, обладает зрением, о котором не может и мечтать человек. Но мозг ее ничтожен, но зрение для грифа не для раскрытия тайн природы, и те высоты, на которые она поднимается, служат ей лишь для выслеживания падали, а не для того, чтобы понять мир. Тьфу!

Как стремился Матвей сюда, чтобы отомстить фон Паупелю, немецкому фашистскому офицеру, приведшему под родной город Матвея немецкие танки и войска! И вот сейчас этот офицер стоит перед Матвеем в жалкой позе, с каждой секундой сгибаясь все больше и больше, — и на душе Матвея только отвращение к нему.

Повесить? Пристрелить?

Фон Паупель глядел на веревку.

Матвей глядел на него.

Вдруг фон Паупель сделал движение, то самое движение, которое, по его мнению, есть мозг современной войны.

Раскрыв рот с толстыми синими губами, он бросился в ноги к высоколобому старику, державшему в руках веревку.

Фон Паупель припал к его ногам движением вассала. Этим движением фон Паупель признавал все: свою ничтожность, свою ограниченность, свой ужас перед смертью, свое желание — жить и жить...

И тогда Матвей захохотал!

Он хохотал, упершись руками в бока, и откинув все тело назад.

Он вспомнил грозное лицо фон Паупеля, его важный шаг, когда он, выскочив у машины, — тогда, возле деревянного моста, — подняв палку,

бежал к замученным и без того крестьянам. Затем Матвей вспомнил день с широкими белыми тучами, нестерпимо синее небо, — и толстое бревно виселицы, возвышающееся на площади села Низвопящего. Он вспомнил комсомольца Семёна, глядящего на него умным и твердым взглядом, крестьянина Охраменко, пожертвовавшего жизнью за жизнь Матвея, крестьянина, лицо которого он даже и не разглядел тогда, — и опять деревянный шаг фон Паупеля и его недвижимое мраморное лицо всемирного победителя.

— Всемирного? Ха-ха-ха!..

Всемирного? Теперь это кажется удивительным и смешным, но фон Паупель шел всемирным прусским шагом, так что звон от его железных сапог отдавался по всему миру.

А теперь?

Кто это лижет сапог крестьянина, чтобы спасти свою шкуру? Не твой ли ученик, Гитлер? Не твой ли генерал, фюрер?..

— Всемирный шаг? Ха-ха-ха!..

Матвей хохотал неудержимо.

Он хохотал то басом, то смеялся тонко-тонко. То он выбрасывал из себя смех отрывисто, а то хохотал такой ровной и длинной волной, что смех его шел по всему селу, и со всего села бежал к площади народ, как бы желая наполниться этим смехом.

В хохоте его слышались насмешка, радость, восторг победы, — и надежда на главную победу, которой подвигнется века! Он радовался своей воле, своей сдержанности, — и даже, черт возьми! — своей мудрости. Он понимал, что если он нашел в себе силы рассмеяться над генералом фон Паупелем, то придет время, когда он будет смеяться над Гитлером. И мало того, смеясь сейчас над фон Паупелем, он уже тем самым смеется над Гитлером и его всемирным шагом! Ха-ха-ха!..

— Что пишет депешей Горбыч? — спросил вдруг Матвей у Силигуры. — Велит отправить генерала фон Паупеля в тыл? Угадал? Ну что ж, отправить!

И он опять захохотал. И смех его был так убедителен, что захохотали все, и захохотал высоколобый старик, уронив веревку.

Хохотал и Силигура. Он хохотал с достоинством, как и подобает библиотекарю, ибо кто, кроме библиотекаря, способен вспомнить в такие смешные минуты сентенцию о тех, кто будут смеяться последними, — а последними-то будут смеяться Матвеи!

Глава пятьдесят четвертая

Эшелоны пробились на соединение во вторник. В среду пришли «красные партизанские обозы» от крестьян. В пятницу с востока в город привезли хлеб. В субботу норма выдачи хлеба не только на СХМ, но и в городе была увеличена. И в субботу же обком предложил Матвею Кавалеву выступить по радио. И Матвей и генерал Горбыч должны были дать понять гражданам города Р., что хотя сражение выиграно, но враг окончательно не разгромлен и беспечностью играть сейчас опасно. Сказать это необходимо в крайне вежливой и деликатной форме, чтобы



не оскорбить достоинства горожан, которые проявили удивительное мужество и, естественно, несколько возгордились. Гордость эта — настоящая гордость, и ее стыдиться нечего, а даже и наоборот...

Естественно, что Матвей находил объяснения, почему генерал Горбыч все время пьет воду и лицо у него серое, и он твердит постоянно, что не любит радио. Матвей, правда, сам всегда волновался, когда выступал на заводе по радио, а тут ведь не только на весь город, а чуть ли не на всю страну... Тем не менее он был спокоен. Он стоял в коридоре, пол которого был покрыт толстым ковром, и где все говорили шепотом. Лампочки, — красные, синие, — то и дело вспыхивали над головой, освещая серое лицо генерала. Знакомая песня неслась из рупора.

— А ведь это Вольская поет? — сказал Матвей.

Генерал вдруг заторопился и увел его в комнату, где обычно ожидали своего выхода дикторы. Он плотно закрыл дверь и, приблизившись к Матвею, начал было:

— Матвей Потапыч, нам нужно переговорить. У меня такое мнение, что лучше быть...

Вошел секретарь обкома Стажило. Здороваясь с генералом, он сказал:

— А вы что такой? Может быть, рассчитывали, партия опоздает и первой выступит армия? Нет, где-где, а на радио мы выступаем первые!

Он рассмеялся, ласково глядя на Матвея. По всему было заметно, что он крайне доволен и Матвеем, и генералом Горбычем, и всем течением дела. Сам он не курил, но папиросы привез с собою. Он угостил Матвея и генерала, а затем стал рассказывать, как превосходно прошел вчера концерт певицы Вольской.

Говоря о концерте, он лукаво посматривал на Матвея, и тот стал оправдываться, что не смог приехать: дело в том, что секретарь прислал ему билеты, а Матвею надо было сидеть в ту ночь за чертежами.

Генерал, тоже посмеиваясь, сказал:

— Вот я и пришел к мысли, что лучше быть водевильным генералом, чем оставлять людей без счастья.

Матвей, не понимая их, сказал:

— А чего вы бьетесь за тот концерт? Пойдем сейчас в студию и послушаем Вольскую.

Дверь приоткрылась. Диктор сказал торопливо:

— Товарищи. Концерт окончен! Через две минуты ваше выступление.

— Видишь, Матвей Потапыч, опять опоздал, — сказал, смеясь, генерал. — Признаться сказать, удивительный ты человек. Сделай милость, скажи, почему ты такой большой любитель другим устраивать жизнь, а на себя талант этот не применяешь?!

— Уж куда лучше как применил...

— Товарищи, товарищи!.. — торопил диктор.

Стажило и генерал Горбыч вышли. Матвей затыкнул последний раз папироской и стал искать глазами пепельницу. Когда он, погасив папироску, обернулся к дверям, на пороге их он увидел Полину. Она была в длинном белом концертном платье, — и лицо ее белее платья.

— Вас приглашают в студию, Матвей Потапыч, — сказала она чуть слышно...

...Окна уже вставили, и в тесной квартирке Кавалей по-прежнему могло быть душно, если выкурить две-три папиросы. Поэтому, помогши внести рояль, Матвей вышел курить на балкон. Правду сказать, вышел он сюда еще и потому, что его невероятно смешила аккомпаниаторша Софья Аркадьевна, длинная, худая, с мехом на шее. Она резким и скрипучим голосом разговаривала с Силигурой о прочитанных ею книгах, а Силигура благоговейно слушал ее. Она знала три языка. Ах, Силигура, Силигура, можно знать сотню языков, и все же быть смешным!

Утро было раннее. Ночью пал иней, и деревья по ту сторону моста от инея казались слишком хрупкими. А ведь они уцелели при каких немецких атаках. Направо, как раз против того места берега, откуда шли немецкие танки, стоят и колышутся сосны. Они привыкли к зеленой своей одежде, и им хочется стряхнуть иней. Ниже, возле быков моста у берега блестит лед, а с крыши дома, мимо балкона, падают уже тяжелые капли тающего инея. Ух как хорошо! Так хорошо, что немножко стыдно. Но ведь, в конце концов, разве вот те зеленые сосны стыдятся своего убора, хотя все вокруг покрыто инеем, или капающие с крыш капли стыдятся того, что они текут, хотя вокруг них много еще не растаявшей холодной материи.

Жизнь есть жизнь! Она прекрасна. Надо ее любить! Вот три фразы, — «где все законы и пророки», — как говорит Силигура. Да, она прекрасна, хотя она и трудна. Но ведь все прекрасное трудно, — и только работа побеждает трудности и создает прекрасное. Работа и мысль! Работа, мысль, вдохновение!..

Он пощупал телеграмму в кармане, которую ему внизу, когда он помогал втаскивать рояль, передал лифтер. В телеграмме Коротков сообщал решение рабочих: Проспект в Узбекистане, где стоят уже здания завода, а также и кладутся новые, решено назвать Проспектом Ильича. Мало того, оказалось, что Коротков не напрасно заезжал в Москву. В условиях эвакуации и беспокойства, он нашел скульптора, который ваял статую Ильича, — и взял у него первый вариант статуи. Разве это не вдохновение? Разве это не работа мысли? И разве этому нельзя порадоваться? Работать, работать, так работать, как приказывает Республика! Воевать, воевать, воевать, как приказывает Республика!

— Матвей! Тебя к телефону с завода, — услышал он позади себя голос Полины. Дробный стук ее высоких каблучков приближался к балкону. Звуки рояля вторили ее шагам, — аккомпаниаторша пробовала, не испортили ли его? От реки повеяло теплой сыростью. Значит, солнце поднялось уже высоко. И ему захотелось ощутить на своем лице теплое дыхание солнца. Ему подумалось, что сейчас оно, наверное, светлое, светлое, и в то же время голубое, — как те глаза.

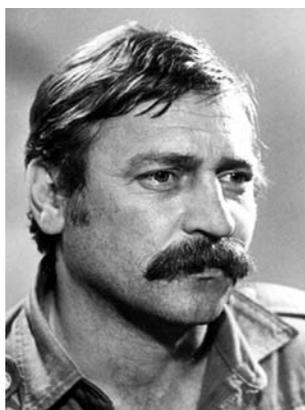
Он вышел на край балкона, туда, куда падал луч солнца, и закинул голову, подставил лицо его лучам. Мимо него упало две-три больших капли тающего инея. Солнце светило справа, а слева, над головой, он увидел что-то сильное, мощное и неудержимо стремительное.

Это была рука Ленина, указывающая на запад.

Николай ШИПИЛОВ

«НИКОГО НЕ ПОЩАДИЛА ЭТА ОСЕНЬ...»

Неопубликованное интервью 1993 года



Так многое хочется сказать, когда вспоминаешь Николая Александровича Шпилова, которому в декабре нынешнего года исполнилось бы 70 лет. И всякий раз невольно спохватываешься, потому что начинает одолевать опасение. Оно очень простое: не перебрать бы со славословием, которого сам Николай всегда упорно сторонился. Как человек талантливый, он прекрасно понимал, что рассуждения, даже самые хвалебные, никогда не смогут заменить написанного автором. Вот по этой причине и не появилась юбилейная статья. Может, оно и к лучшему, потому что возник вдруг сам Николай. Возник, как всегда, внезапно и необычно.

Позвонил автору этих строк поэт Александр Денисенко, друг Николая Шпилова, и сообщил, что нашел пленку, которую считал утерянной, а на этой пленке — беседа двух писателей, которая вышла в эфир осенью 1993-го. Сам я, если честно, уже и запамятовал о ней, и канула бы она бесследно, если бы Александр Денисенко не записал ее на магнитофон и не сберег.

Двадцать с лишним лет минуло с тех пор. Много воды утекло... Но шпилевский голос слышится и сегодня. Слышится в его романах, песнях и в этом давнем интервью.

Михаил Щукин

Михаил Щукин. Николай, что ты привез на родину, с чем приехал из Москвы?

Николай Шпилов. Я привез с собой огромную тоску, Миша, которую никуда не денешь. И только здесь, на родине, я ее могу утолить. Без Москвы русскому мальчику, русскому таланту худо. Она для нас была сказочным городом, начиная с букваря, со Спасской башни. Это был праздник души. Город для русской души. А сейчас там — шабаш. Привез второй роман трилогии, который называется «Детская война». В нем — предчувствие того, что случилось в сентябре-октябре. Привез еще песни и желание работать, дописывать роман здесь. Я как бы отслужил свой срок на московской войне и приехал на побывку.



М. Щ. Вспомни ЛИТО своей юности.

Н. Ш. Я вот несколько лет работал завотделом «Литучебы», на мой стол стекалась поэзия чуть ли не со всего Союза. Потом начал ездить по адресам авторов стихов, которые запали в душу, которые меня потрясли. Перезнакомился с великой российской провинцией, с сотнями поэтов, но нигде не было такой высококонцентрированной дружбы, как в Новосибирске, она и сейчас жива. Мы читали и западную литературу, но прошли через нее невредимыми и теперь думаем по-русски. И выжили из нас только те, кто писал и думал именно по-русски. У нас невероятное множество одаренных людей, настоящих писателей, с художественным виденьем мира, которого, кроме России, нигде нет. Стихи Ивана Овчинникова, Жанны Зыряновой, Миши Степаненко, Валеры Малышева, Саша Денисенко, Геннадия Карпунина, Александра Плитченко, Жени Лазарчука — это огромная духовная зона, русский кислород.

М. Щ. Ты так хорошо говорил о товарищах, и в этой связи у меня к тебе вопрос. Ты был очевидцем, участником событий у Белого дома, у меня там были друзья, в самом польеме, Серёжа Алексеев например, писатель русского масштаба и силы, — и вдруг всех нас обозвали «коммунофашистами», в том числе и меня, ибо я душой был там.

Н. Ш. Сейчас, Михаил, уже что-то можно оценивать. А вот десять дней назад — невозможно, потому что в гуще событий не видишь общей картины. Была глубокая провокация. Спровоцировали обиду людскую: две недели защитников унижали, терроризировали, били, загоняли в метро. При мне на Смоленской площади старика убили, фронтовика, потому что он был на одной ноге, на которой вернулся с той войны, а на родной земле, за которую он тогда ногу отдал, — его растерзали. Зацепился протезом за камень и упал. И его размолотили дубинками. Могли бы не убивать — но им нужна была кровь, им нужна была ярость оскорбленных людей, ярость толпы. Эту ярость я сам на себе испытал: я бежал, как и другие, с Октябрьской площади с камнем в руке, и мы одни из первых прорвались к Белому дому. Я в это время не чувствовал себя неуязвимым, бессмертным, я знал одно: надо прорваться. Мы хотели на обиду ответить порывом, прорывом, ибо мы живем на своей земле, у себя дома. Ведь не ответить на эту гнусность, на провокацию тоже было нельзя. Как молчать, если тебе плюют в голубые глаза? Иначе будет взрыв, выброс.

М. Щ. Прости, что перебиваю. Вернувшись из Приднестровья, из этого пекла, я до сих пор переживаю ощущение глотка свободы...

Н. Ш. Ты, Миша, упредил меня. Это было именно как глоток свободы. Это продолжалось две недели, но до сих пор в груди чувство, что эти страшные дни я не мог прожить по-иному, а только так, под пулями: как гражданин, как писатель, как мужчина. Мы были как толпа эмигрантов, которые стосковались по своей Родине, по своей свободной Родине, которая вся сосредоточилась в малом клочке земли возле Белого дома, и мы прорывались к этой милой несдавшейся Родине, и были готовы за нее умереть, а многие и в самом деле заплатили за этот порыв, за глоток свободы жизнью. И в этом огромная разница между той войной в юности, когда мы поодиночке завоевывали, штурмовали Москву, кто с мольбертом, кто, как я, с рассказами... Мы были тоже эмигрантами, внутренними, но — и это важно — без обиды на Родину. А в 93-м было по-настоящему страшно, ибо погибали твои близкие, мои ровесники — писатели, русаки в расцвете сил. Выживали лишь те, кто прошел ярость мук, и стыд, и страшные уро-



ки Приднестровья. Один мой знакомый восемь часов пролежал в луже крови в позе убитого, отлежал, выстоял — и по темноте уже сумел уйти. А погибла еще масса невинных, тех, кто до последнего надеялся, что их стойкость поднимет праведную Россию, сидящую у телевизоров. Безумство храбрых. Остальных добивали и расчленили в подъездах и на стадионе ненавистники России в мышином камуфляже.

У нас народ — он детский народ, исторически всегда ему нужен был отец. Как в русской семье. А народ наш одарен обильно, безмерно. Я вырос среди этого народа, я знаю, что в каждом рассказчике где-нибудь в цеху, в колхозной столовке или на лесоповале — там такой сидит артист! Это народ очень артистичный, эмоциональный, его легко увести, облукавить, обмануть, спровоцировать со злым умыслом, как это сделали кроваворукие квартироръемщики Кремля.

М. Щ. Когда ты закрываешь глаза, что ты видишь?

Н. Ш. Да я и без закрытых, Миша, вижу: костры ночные. Вот эти ночные костры, эти первые дни на баррикадах, когда постоянно шла передислокация войск, тайные маневры, наглость Дзержинской дивизии — никто тогда не осознавал, что происходит.

М. Щ. Давили на нервы?

Н. Ш. Все время давили. У нас же почти не было оружия, харчей, дров на растопку: спустишься под горбатый мосток, притащишь досок с опалубки, грешься... И второе, что стоит в глазах, — лица людей: изможденные, безмерно усталые, но просветленные. Они для меня сейчас — как бы одно лицо, состоящее из сотен лиц защитников: вот баянист с фронтовой «Катюшей», с «Золотой Москвой», девчата забинтованные, русские казаки, священники. Ведь их нельзя обвинять и убивать за то, что они были советские. Они здесь родились, выросли, их отцы победили, они пели эти песни с детства. Кто имеет право запретить? Что, в этих песнях коммунистическая идеология? И если она была где-то, то кто ее нам втирал? Да те же люди, кремлевские оборотни, которые из бункеров руководили расстрелом Белого дома, да их кукловоды. Так, простите меня, а в чем тогда дело? Ладно, Миша, пусть пока это будет «тайна» России, покрытая первым октябрьским снегом, щемящим костровым дымом... И когда я наконец-то после долгих ночей ввалился домой, Таня спросила: ой, никак от тебя колбасой копченой пахнет? Что ты, милая, это я от московских костров.

М. Щ. Будешь писать про то, что пережито?

Н. Ш. У меня во втором романе люди уходят под землю, в подземное Подмоскovie. С воздуха Родины. В третьем романе, «Ловцы и ловимые», это развивается. Возможно, это еще и метафора. У нас и так страна почти вся прошла через тюрьмы, ссылки, лагеря. А демократы все садят и садят. У них два пути: или выпустить всех прямиком на мафиозную работу, или вообще всех пересажать и завезти в Россию монголов, китайцев, филиппинцев, чтобы они работали. Потому что у нас поколение за поколением в лагерях, а тысячи настоящих преступников кутят, сбратались с властью. Той властью, которая фамиллярно рыдает и умиляется: какой у нас народ терпеливый! Да он потому такой и терпеливый, что потерял терпение: что бы он ни сделал, этим кровососам все в масть, все в выгоду — молчание людское выгодно и немолчание выгодно. Ведь обзывать русский народ националистами — это бред. Национализм — здоровое

качество человека, у которого оскорблено достоинство, обгажен отчий дом. Это все равно что хозяина, придя в его дом, оскорбили, но перед этим попросились пожить или переночевать, потом как бы невзначай скажут хозяину, что у тебя мебель не так поставлена, у гармони басов не хватает, шляпа не того фасона и что вообще хозяин, оказывается, говорит не на том языке: надо говорить не «у», а «хе». А человек терпит. Потому что он воспитан в православных традициях. Потому что он культурен великим православием и глубочайшими традициями. И если народ сейчас безмолвствует, то это потому, что он ждет своего часа. Этого часа никто не знает. Но этот час неизбежно приближается.

М. Щ. Вот говорят, что красота спасет мир, а спасет ли ее сама наш народ, литература?

Н. Ш. Я бы не взялся отвечать, потому что я сам — народ, сам читатель. Я не философ, Миша, и не могу отвлекаться до таких категорий, я могу только сказать, что «мир спасет красота» — это так потому еще, что оно, это спасение, взаимное. Мы, русские, должны спасать красоту, а она нас.

М. Щ. А мы, Николай, не раз спасались твоими песнями...

Н. Ш. Тут, Миша, была такая история. И я в связи с ней сделал для себя одно открытие. Есть такая радиостанция «Эхо Москвы», меня долго разыскивали, как мне сказала ведущая, и когда наконец я приехал, она этак жеманно округлила глаза и говорит: «О, вы такой бодрый, такой крепкий, а я почему-то думала, что вы, извиняюсь, убогий». Вот, понимаешь, Миша, они считают, что такой человек, как я, русский провинциал, который пишет какие-то песни, он обязательно должен быть убогим, с надломом, с надрывом, желательно даже — алкашом, вот это им как-то нравится, для них это сласть, что вот мы такие убогие. Им нравится, когда мы пьяницы, еще лучше — диссиденты. А я считаю, что диссиденты — это психи, которые только тем и занимаются, что пытаются из хорошего сделать чуть-чуть лучше. А я считаю, что хорошо — то хорошо. От добра добра не ищут.

И в песнях у меня никогда не было обиды на Родину. Я жил как жил. Мне каждый куст при дороге казался родным. Честное слово! А вот сейчас иду по Москве, а она как женщина после угара: все немило сердцу. А оптимизм, Михаил, — да! Нас никто не заставит дышать по-иному, особенно здесь — в чистой и благословенной Сибири. И выборы показали, что у дяденьки президента лакеев не прибавилось.

Об этом писать больно, натужно, но я убежден, что мы обязательно должны сохранить об этом память: и через документалистику, и через художественное слово, через те романы, о которых я уже упоминал. Впрочем, не я один, Россия невероятно богата на таланты, если все это издать, особенно сибирское — мощное и честное, — мы зарубцуем эту боль и этот московский шок и на наши улицы вернется песня.

*Новосибирск, осень 1993 г.,
«Радио "Слово"»*

Семён ВЕНЦИМЕРОВ

ГОЛОС, ЗВУЧАЩИЙ В ЭФИРЕ

*Главы из исторического исследования**

Новое время — новые возможности

В июле 1928 г. Первую Сибирскую широковещательную станцию передали из акционерного общества «Радиопередача» в подчинение краевому управлению связи. Заведующей радиоцентром была утверждена Р. И. Кронгауз.

Летом 1929 г. Новосибирское радио на некоторое время прервало свои передачи. Это было связано с работами по расширению студии. Широковещательная получила ряд новых помещений, благодаря чему стало возможным объем студии увеличить в три раза. 15 августа 1929 г. передачи были возобновлены.

В 1929 г. Наркомпочтель утвердил план радиостроительства в Новосибирске. Было решено построить в городе на Оби 100-киловаттную радиостанцию, третью по мощности в стране — по типу Московской радиостанции ВЦСПС. Возведение радиостанции началось в этом же году. Для ускорения строительства было решено привлечь средства населения. С этой целью была проведена специальная радиолотерея. Сибиряки охотно приняли в ней участие.

Также был взят курс на развитие проводной сети. В 1929 г. в Новосибирске был построен первый радиоузел. Вслед за ним радиоузлы стали сооружаться во многих городах и райцентрах края. По темпам радиофикации Сибирский край занимал первое место в стране.

Было намечено установить 290 уличных громкоговорителей, создать 145 студий для низового вещания при радиоузлах. Возникновение таких студий — характерная черта нового этапа в истории радиофикации Сибири. Повсеместно работники радиоузлов из студий выходили в эфир со специальными радиогазетами, подготовленными на местном материале.

Первый заводской радиоузел на 320 точек и первая в Западной Сибири заводская радиогазета появились в 1932 г. на «Сибкомбайне». Самое активное участие в этом принимали сотрудники Новосибирского радио. Для дальнейшего развития низового вещания в крае Сибирская широковещательная создала курсы подготовки организаторов радиопрограмм в трансляционных узлах. 115 человек окончили эти курсы. В свою очередь первым работникам Новосибирского радио большую помощь оказывали специалисты из Москвы и Ленинграда.

В этот период Новосибирское радио значительно повысило культуру вещания и дисциплину эфира. Нарушение хронометража передач стало недопустимым явлением. Слушатели привыкли к тому, что радио работает точно, как часы.

Ежедневно ровно в семь утра на волне 1117 м знакомый голос одного из дикторов (Зои Александровны Викторовой, Александра Евгеньевича Замя-

* Окончание. Начало см. «Сибирские огни», 2016, № 11.

тина-Белокашникова, Марии Алексеевны Тиуновой, Василия Васильевича Васильева) привычно произносил: «Слушайте, слушайте! Говорит Новосибирск. Первая Сибирская широковещательная станция начинает свои передачи». Утренние передачи продолжались два часа. Они включали обзор утренних газет, два выпуска последних известий, одну 30-минутную и одну 15-минутную передачу по актуальным проблемам и 3—5 концертов продолжительностью по 10—15 минут. Дневные передачи, начинавшиеся в 15 часов, были, как правило, более продолжительными. Днем поочередно передавались в эфир рабочая, крестьянская, военная, молодежная, горняцкая и другие радиогазеты, состоящие из материалов, подготовленных общественными редакторами различных организаций. Звучали также в эти часы концерты, трансляции дневных спектаклей и другие крупные передачи. Завершались они в 19.30—20.00 словами диктора: «Слушайте! Говорит Новосибирск. Проверьте часы. Сейчас ровно... часов по сибирскому времени».

Значительным шагом в развитии образовательного вещания стали радиокурсы. Они признавались полноправным элементом системы народного образования наряду со стационарными курсами и школами. По окончании слушатели получали особые свидетельства.

В 1930 г. в Сибирь прибыли рабочие-двадцатипяти тысячники из Ленинграда. Много передач Новосибирского радио было посвящено их самоотверженному труду по «социалистическому переустройству села».

В особом режиме работало Новосибирское радио в дни посевной и уборочной кампаний. В эфире проводились переключки соревнующихся районов, транслировались также радиомитинги. Для повышения агротехнического уровня тружеников села были организованы и сельскохозяйственные курсы.

Новосибирское радио большое внимание уделяло и вопросам здравоохранения, образования, права, морали, особое место в сетке вещания отводилось военной теме. Еженедельно по вторникам радио передавало концерты самодеятельных коллективов города, популярных исполнителей, среди которых особой любовью слушателей пользовался баянист Иван Иванович Маланин. В 1929 г. начал свою работу на радио, продлившуюся десятилетия, музыкальный редактор, концертмейстер и дирижер Николай Иосифович Иванов, ставший позднее организатором ряда творческих коллективов Новосибирского радио.

В детской редакции сложился сплоченный кружок энтузиастов, горячо любящих свое дело и понимающих запросы юных слушателей. Здесь самозабвенно трудились, воспитывая подрастающее поколение сибиряков, литературный редактор А. И. Герман, музыкальный редактор С. Л. Талубкина, редактор передач для дошкольников М. П. Протопопова, культмассовик Л. И. Афанасьева, артистка Т. С. Борисова, пианистка Т. М. Жихарева. С участием этих мастеров своего дела было создано много живых и ярких передач, с восторгом принимаемых детской радиоаудиторией.

Работники детской редакции стремились быть в курсе всех пионерских и комсомольских дел, поддерживать все добрые начинания школьников. Пионер Владик Савельев из села Северного вызвал своего отца, директора МТС, на соревнование по изучению немецкого языка. Об этом рассказал журналистам сам Савельев-старший, приехавший по делам в Новосибирск и специально для этого посетивший детскую редакцию радио. И радио передало в эфир: «Вызываем Владилена Савельева из Северной МТС, Владилена Савельева. Владик, слушай, твой папа просил сказать, что он твой вызов на соревнование по немецкому языку принимает...»

К героям литературных передач и детских радиоспектаклей ребята относились как к реально живущим людям, писали им письма, желали здоровья, предлагали свою дружбу.

Много откликов вызвали радиопостановки «Барон Мюнхгаузен» по Р. Э. Распе, «Петрушка», «Саша-затейник», «Тартарен из Тараскона» по А. Доде и другие.

К созданию передач для детей редакция активно привлекала сибирских писателей. Это, как правило, помогало добиваться высокого качества передач и способствовало росту слушательского интереса. Хорошие отзывы детей вызвал прозвучавший по радио рассказ Г. Пушкарёва «Пулемет» о Гражданской войне. 8 декабря 1935 г. по радио выступил писатель Афанасий Коптелов. Он рассказал детям о походе на Белуху, по местам боев красных партизан.

Много места в программах детского вещания уделялось пропаганде произведений русских писателей-классиков — Лермонтова, Гоголя, Некрасова, Толстого. Особой любовью пользовался у юных слушателей «Дубровский» Пушкина в исполнении Николая Михайловича Коростынева.

Литературно-драматическое вещание достигло высокого уровня в этот период. И большая заслуга в этом принадлежит пришедшему в 1933 г. в коллектив радиокomiteта актеру театра «Красный факел» Н. М. Коростыневу, главному режиссеру этого же театра В. П. Редлих, народному артисту СССР Н. Ф. Михайлову, артисту С. С. Бирюкову и многим другим краснофакельцам и тюзовцам. Инсценировки и литературно-драматические композиции, созданные в эти годы драматической группой радиокomiteта, стали значительным явлением в духовной жизни края.

Дважды в месяц звучали в эфире творческие радиовечера писателей-сибиряков. Слушатели познакомились с произведениями писателей К. Урманова, В. Итина, Г. Павлова, А. Коптелова, Н. Кудрявцева, И. Мухачёва, Г. Пушкарёва.

Одним из ведущих художественных коллективов музыкальной редакции радио был хор. Поначалу его состав был невелик: в каждой группе голосов пело всего по четыре человека. Но, постепенно пополняясь — в основном выпускниками Томского музыкального училища, — коллектив рос. Возрастало и исполнительское мастерство хористов. Под руководством хормейстера Е. П. Горбенко коллектив разучивал и исполнял такие серьезные и сложные произведения, как хоры Танеева, осуществлял постановку отдельных сцен из опер и даже целых оперных спектаклей. Были поставлены и переданы по радио оперы «Царская невеста», «Русалка», «Борис Годунов», «Князь Игорь», «Иоланта», «Евгений Онегин», «Сказка о царе Салтане». Участники хора А. В. Любин, И. И. Ковальчук, М. А. Столяров, В. Ф. Лукьянова, В. В. Фалеева, О. С. Иванова нередко выступали по радио как солисты.

Богатую и разнообразную музыкальную часть вещания обеспечивал оркестр русских народных инструментов, работавший в те годы под руководством Н. М. Хлопкова, и симфонический оркестр, которым дирижировали И. А. Теслер, П. П. Вальдгартд, Н. И. Иванов и другие талантливые интерпретаторы симфонической музыки.

Многочисленные письма, поступавшие в адрес радиостудии, свидетельствовали о том, что голос Новосибирска был слышен не только в Западной Сибири, но и в других регионах. Таким образом, за короткое время Новосибирское радио стало одним из авторитетнейших радиоцентров страны.

В 1932 г. в Новосибирске была введена в строй новая, значительно более мощная 100-киловаттная радиостанция РВ-76. Новосибирский радиоцентр получил возможность вести передачи по двум каналам: на волне 1380 м через 100-киловаттную радиостанцию и на волне 742,6 — через старую 4-киловаттную.

К этому периоду радио стало тесно в прежних организационных рамках. Было принято решение о создании Всесоюзного комитета по радиовещанию. Тем самым подчеркивалось важное самостоятельное значение радио и его особые функции. Вслед за этими переменами и в Западно-Сибирском крае при крайисполкоме появился комитет по радиовещанию. Его председателем (по совместительству) был секретарь крайисполкома С. М. Быстров.

В новых условиях Новосибирскому радио пришлось согласовывать свою сетку вещания как по времени, так и по содержанию со Второй общесоюзной программой вещания.

В 1933 г. в крае было семь тысяч радиоприемников. Значительно возросла проводная радиосеть. Число радиоточек достигло в 1935 г. сорока тысяч. Успешно велась сплошная радиофикация кварталов жилых домов в Новосибирске, Омске, Томске. Радиоточки устанавливались в комнатах рабочих и студенческих общежитий. Были радиофицированы 600 школ и многие учреждения и организации.

Радиогазеты создавались не только при районных трансляционных узлах, но и на многих предприятиях, в крупных совхозах и МТС. Например, в селе Кочки в двух комнатах бывшего кулацкого дома разместился радиопузел: в одной комнате радиоаппаратура, в другой — нефтяной двигатель мощностью 18 лошадиных сил с динамо-машиной. Из полутора десятка действующих в крае радиопузлов собственную энергетическую базу имели лишь 35. Остальные зависели от сельских мельниц, где устанавливались динамо-машины, или других внешних источников питания.

Любопытно, что в этот период в Западной Сибири появились первые любительские телевизоры. Опытный образец телевизионной установки был создан В. Г. Денисовым в Сибирском физико-техническом институте и испытывался в Новосибирске.

Планы корректирует... война

Система радиовещания страны в 1936—1941 гг. переживала сложный этап реорганизации. Для координации вещания в стране на всех уровнях в 1936 г. Всесоюзный радиокomiteeт ввел в действие пять сеток вещания — Центрально-Европейскую, Среднеазиатскую, Западно-Сибирскую, Восточно-Сибирскую и Дальневосточную. Каждый из вариантов учитывал местные территориальные, языковые, производственные, социально-культурные и прочие особенности.

Новая единая Всесоюзная сетка вещания, введенная с 1 февраля 1937 г., определила те передачи центрального вещания, которые должны были в обязательном порядке транслироваться местными комитетами. Это были выпуски «Последних известий», трансляции съездов, конференций, совещаний, другие важные передачи. Передачи Новосибирского радиокomiteeтa должны были дополнять центральное вещание, информируя трудящихся о важнейших местных событиях.

Постановлением Всесоюзного комитета по радиофикации и радиовещанию в связи с новым административным делением страны был учрежден Новоси-

бирский областной комитет по радиофикации и радиовещанию. Его возглавил П. О. Бекшанский, внесший значительный вклад в развитие радиовещания в области.

Народно-хозяйственный план третьей пятилетки предусматривал выделение значительных средств на развитие радиовещания. В частности, в Новосибирске было запланировано строительство нового Дома радио. Предполагалось, что это будет четырехэтажное здание объемом 22 тысячи кубических метров. В здании должны были разместиться редакционные и технические помещения, библиотеки (в том числе нотная), репетиционные залы для оркестра и хора, фонотека и пять вещательных студий. Даже малая концертная студия в будущем Доме радио должна была превосходить по площади существовавшую на тот момент в Доме Ленина. А кроме нее в новом здании проектировалась и большая студия: площадью в 230 кв. м и высотой в два этажа, отделанная материалами, обеспечивающими высокие акустические качества, и оборудованная по последнему слову техники. Дом радио должен был возводиться как левое крыло здания театра оперы и балета. Ожидалось, что в 1941 г. здание будет подведено под крышу, а в 1943-м радиокомитет справит новоселье...

День 21 июня 1941 г. в истории Новосибирского радио был отмечен большой творческой удачей. Сибиряки услышали в блестящем исполнении симфонического оркестра Новосибирского радио симфонию Мясковского. Концерт этот доставил большое удовольствие знатокам музыки.

А 22 июня Новосибирское радио транслировало передаваемое из Москвы заявление советского правительства о вероломном нападении фашистской Германии на СССР. С первых дней войны Новосибирский обком партии принял меры к тому, чтобы все жители области получили возможность оперативно слушать сводки Совинформбюро и другие передачи центрального и местного вещания. В Новосибирске и других крупных городах и райцентрах было установлено дополнительно 50 громкоговорителей. Началось строительство новых радиозузов в Здвинске и Веселовке, увеличивалась мощность старых. Значительно расширилась сеть радиоточек и радиоприемников.

План радиофикации в 1941 г. область перевыполнила на 23%.

Деятельность Новосибирского радио в этот период, направленность и содержание передач, так же как и вся жизнь сибиряков, определялись лозунгом — «Все для фронта».

Радио рассказывало о всенародном политическом и трудовом подъеме, охватившем жителей городов и сел Сибири, о сибиряках, вступавших добровольцами в Красную армию. Многим из них были посвящены отдельные передачи.

Вслед за служившими уже в армии братьями Виктором, Сергеем, Аркадием, Олегом, Николаем и Владимиром Игнатовыми добровольцами пошли на фронт седьмой их брат Спартак и сестра Мария. Провожая детей в армию, 5 декабря 1941 г. выступил по радио их отец А. Н. Игнатов: «Даю наказ своим детям — самоотверженно защищать нашу Советскую Родину от коварного врага — германского фашизма, быть стойкими и непоколебимыми».

Около тридцати тысяч заявлений о добровольном вступлении в ряды Вооруженных сил СССР подали за эти годы новосибирцы. Новосибирское радио своими передачами о первых добровольцах немало способствовало развитию этого движения. Его размах был так значителен, что привел к созданию ряда добровольческих формирований.

В первые дни войны Новосибирское радио организовало цикл выступлений сибиряков — героев Гражданской войны. 1 июля 1941 г. в одной из та-

ких передач выступил бывший командир партизанского корпуса Западно-Сибирской крестьянской красной армии И. В. Громов.

Новая сетка вещания учитывала особую потребность радиослушателей несколько раз в день получать информацию о событиях на фронте, узнавать международные, общесоюзные и местные новости. Учитывалось также важное значение музыкальных и литературных передач для формирования у сибиряков чувства оптимизма и уверенности в победе, готовности отдать все силы для ее достижения.

Корреспонденции об успешных боевых действиях сибирских формирований, очерки о подвигах героев-сибиряков были весьма популярны у слушателей. Для участия в передачах на эту тему радио привлекало участников боев, прибывших в тыл для лечения после ранения или за пополнением.

В одной из таких передач 16 октября 1941 г. с рассказом о том, как воины-сибиряки бьют фашистов, выступил лейтенант М. А. Присяжук, а 5 февраля 1942 г. с рассказом в стихах о бойце-сибиряке Тарасе Клинкаве выступил старший политрук А. Смердов, впоследствии — известный поэт, редактор «Сибирских огней».

Перед микрофоном Новосибирского радио выступал и прославленный летчик трижды Герой Советского Союза А. И. Покрышкин. Он рассказывал о подвигах советских летчиков, среди которых было немало сибиряков.

«Письма с фронта» — эту передачу Новосибирского радио слушали все. Она звучала в эфире ежедневно в 17.00, 18.20 и в четверть первого ночи. В письмах на Новосибирское радио сибиряки, участвовавшие в боях, писали о подвигах товарищей, выражали непоколебимую уверенность в победе. Они передавали приветы близким и родным, оставшимся в тылу, сообщали им свои адреса. Слушая эти бесхитростные рассказы, труженики сибирских заводов и полей стремились работать так, чтобы приблизить день победы, приблизить встречу с теми, кто ушел из родного города на фронт.

Новосибирское радио передало за годы войны около 30 000 писем с фронта. С помощью этих передач сотни людей, потерявших связь, смогли вновь разыскать друг друга.



**Дикторы Новосибирского радио в 1941 г.
Сверху вниз: А. А. Артуров, В. А. Вольская,
Л. П. Токарева, В. Н. Дубровин, Новожилова.
Из альбома председателя радиокomiteта
П. О. Бекшанского**

Осенью 1941-го радио начало вести цикл передач, посвященных организации сбора теплых вещей для фронта. Не в последнюю очередь благодаря им это патриотическое движение приняло массовый характер. Уже к 1 ноября новосибирцы собрали для фронтовиков более 60 тысяч различных вещей.

Не только теплые вещи, но и свою кровь отдавали воинам сибиряки. Свыше 17 500 переливаний крови было осуществлено за годы войны в новосибирских госпиталях. Организации широкого движения доноров в немалой степени способствовали передачи Новосибирского радио. 20 февраля 1942 г. в такой передаче участвовала жительница Новосибирска домохозяйка Данильченко. «Я выступила с призывом стать донорами, возвращать жизнь таким дорогим людям», — написала она в книге выступающих у микрофона.

Новосибирское радио активно включилось в организацию всеобщего военного обучения, объявленного в Новосибирской области, так же как и по всей стране. В частности, были организованы заочные радиокурсы по подготовке санитаров. 17 июля в программе радиокурсов выступил доцент Новосибирского мединститута Мыш. Он прочитал лекцию об оказании первой помощи при ранениях.

Регулярно звучали по радио в военный период и репортажи о так называемых тысячниках. Движение тысячников — рабочих, которые выполняли дневную норму на тысячу процентов, в годы войны стало массовым.

Как и прежде, одной из самых эффективных форм общения со слушателями сотрудники радио считали митинги, проведенные в эфире.

Радиомитинги — одна из наиболее популярных, но в то же время весьма сложная и трудная для осуществления, требующая большой технической и творческой подготовки форма радиопередачи. Тот факт, что Новосибирское радио регулярно проводило радиомитинги даже в годы Великой Отечественной войны, когда ушли на фронт журналисты Ф. С. Солопов, В. Н. Мордвинов, О. Н. Карташова, диктор В. Н. Дубровин, дирижер симфонического оркестра Н. И. Иванов и другие опытные сотрудники, свидетельствует о высокой творческой зрелости коллектива.

Один из таких радиомитингов состоялся 14 апреля 1942 г. Он был посвящен награждению лучших тружеников Новосибирской области орденами и медалями.

Редактору сельскохозяйственных передач В. К. Полторыгиной пришлось побывать в районах, обсуждать с председателями колхозов и директорами совхозов планы радиопередачи, подбирать и готовить выступающих, договариваться со связистами о точном времени подключения каждого из участников, находящихся в трансляционных узлах разных районов, студиях разных городов, к общей передаче. Но весь этот громадный труд окупался живым интересом слушателей.

Участники молодежного радиомитинга решили начать сбор средств на строительство боевых кораблей для Северного флота. Уже во время митинга начали поступать первые взносы. В течение нескольких минут было собрано около пяти тысяч рублей.

Участники радиомитинга от имени всех комсомольцев и молодежи области взяли обязательство к 25-й годовщине Красной армии дать эшелон вооружения и боеприпасов для сибирских дивизий, добыть 50 тысяч тонн угля, изготовить три с половиной тысячи тонн проката.

Спустя несколько месяцев на Северном флоте начала боевые действия подводная лодка «Новосибирский комсомолец», построенная на средства, собранные молодыми сибиряками.

Огонь по врагу из сибирской студии

В годы войны Новосибирское радио продолжало выполнять важную роль одного из ведущих учреждений культуры в Сибири. В этот период для пропаганды лучших произведений литературы, театра, музыки на радио появились новые возможности — благодаря тому, что в Новосибирск эвакуировались многие известные творческие коллективы и деятели искусств: Ленинградский академический театр драмы имени Пушкина, симфонический оркестр Ленинградской филармонии, джаз-оркестр Леонида Утёсова, железнодорожный ансамбль песни и пляски под руководством И. О. Дунаевского, театр кукол Сергея Образцова, композитор Д. Д. Шостакович, крупный ученый-искусствовед И. И. Соллертинский и многие другие.

Творчеству выдающихся советских музыкантов и мастеров сцены Новосибирское радио посвятило немало передач. Большие радиовечера были подготовлены к 50-летию деятельности актера театра драмы имени Пушкина народного артиста СССР М. Ю. Юрьева и к 40-летию работы на сцене артистки этого же театра Е. Т. Жихаревой. 21 ноября 1942 г. состоялся творческий радиовечер народного артиста СССР Николая Симонова, о чем сообщает сделанная им запись в книге выступающих у микрофона.

23 декабря, в день 68-летия народной артистки СССР Е. П. Корчагиной-Александровской, передавался творческий вечер этой ведущей актрисы театра драмы имени Пушкина. В программу вечера были включены сцены из спектаклей «Гроза», «Лес», «Таланты и поклонники» Островского, «Страх» Афиногенова, «Платон Кречет» Корнейчука.

В передачах принимали участие молодые поэты-сибиряки Б. Богатков, А. Смердов, К. Лисовский, Н. Мейсак.

В годы войны продолжало развиваться и музыкальное вещание. Оно связано с именами Д. Шостаковича, И. Дунаевского, В. Левашова, Г. Свиридова, ряда замечательных коллективов, находившихся в то время в Новосибирске.

28 октября 1941 г. квартет имени А. К. Глазунова и пианистка С. Ортман впервые исполнили по радио квинтет Д. Шостаковича, отмеченный Сталинской премией. В том же году были впервые исполнены первые песни В. Левашова «Советской женщине» на стихи М. Алигер и «Степная кавалерийская» на стихи А. Суркова.

Поистине выдающимся достижением коллектива Новосибирского радио была передача «Огонь по врагу». Вряд ли будет преувеличением назвать ее одной из лучших серийных передач советского радиовещания за все годы его существования.

В архиве Новосибирского радио сохранилась копия письма из Всесоюзного радиокомитета, пришедшего в адрес редактора передачи «Огонь по врагу» Г. В. Карпенко:

Уважаемая товарищ Карпенко. К нам приехал бывший работник ВРК Боймстрахер. Он наговорил таких чудес о ваших передачах «Огонь по врагу», так очарован ими, что я решила обратиться к Вам с просьбой прислать копию одной из этих передач в порядке обмена опытом. Все мы, работники радио, ищем новые формы, и Вы, по отзывам Боймстрахера, внесли свежую волну своим «Огнем по врагу». Итак, буду ждать копии вашей передачи. Ответственный редактор литературно-драматического вещания Жильцова.

Красноярский учитель С. Я. Швед, настроивший в годы войны свой приемник на волну Новосибирского радио, чтобы услышать «Огонь по врагу», уве-





рял, что более интересной, жизнерадостной и в то же время пронизанной высоким мужеством и заставляющей сопереживать передачи он никогда более не слышал. Популярность ее у сибиряков была сравнима с популярностью лучших советских фильмов о войне.

Авторы определили ее жанр как радиобозрение. Сводки Совинформбюро соседствовали с новыми песнями, письма радиослушателей — с фронтовым юмором, сообщения о помощи тыла фронту — со страстными публицистическими монологами и диалогами, звучащими на фоне музыки.

Инициатором этой передачи был молодой артист театра драмы имени Пушкина Александр Борисов. Еще в Ленинграде он принял участие в радиопередаче, в которой действовал бесстрашный боец Сеня Ястребов. Приехав в Новосибирск, Борисов решил возродить хорошо воспринятую радиослушателями передачу и рассказал о своих замыслах режиссеру Ленинградского радиотеатра Владимиру Васильевичу Лебедеву. Известный советский режиссер радио со своей стороны развил эту идею, правильно рассудив, что в передаче должно участвовать двое действующих лиц — это позволит ввести диалоги, песенные дуэты, то есть расширить творческие возможности передачи и силу ее эмоционального воздействия на радиослушателей. Имена героев позаимствовали из рассказа Леонида Ленча: Кузьма Ветерков — его роль поручили исполнять Александру Борисову — и его боевой товарищ Илья Шмельков — артист Константин Адашевский. Редактором передачи стала журналистка Г. В. Карпенко, для музыкального оформления привлечен талантливый баянист-самородок И. И. Маланин, ставший равноправным участником передачи.

4 сентября 1941 г. вечером впервые прозвучала в эфире исполненная И. И. Маланиным на баяне задорная мелодия и в гости к слушателям пришли молодой фронтовик, сибиряк, храбрый разведчик, неунывающий парень Кузьма Ветерков и его товарищ Илья Шмельков. И отныне каждый понедельник, когда время приближалось к шести вечера, тысячи людей по всей Сибири, отложив все дела, спешили к репродукторам и с волнением и интересом слушали рассказы двух друзей об их новых боевых приключениях и подвигах.

Еще Красная армия вела тяжелые оборонительные бои, сдерживая наступление врага на каждом боевом рубеже, а Шмельков и Ветерков, «пробравшись» в имперскую канцелярию, уже расправлялись с главарями фашистов.

Эта передача была сродни «Василию Тёркину» Александра Твардовского. Она искрилась тем же юмором, неистребимым оптимизмом. Песни, частушки, прибаутки, шутки перемежались страстными публицистическими монологами героев.

Успех передачи был колоссальный. Было замечено, что кое-где на предприятиях в час, когда шла передача, люди отрывались от работы, чтобы не пропустить очередного выпуска. Об этом писали на радио руководители предприятий, требуя перенести выпуски на выходной день. Эта просьба была удовлетворена: в 1942 г. «Огонь по врагу» зазвучал по воскресным дням, а ее аудитория еще более возросла.

На примере бесстрашных разведчиков-сибиряков Ветеркова и Шмелькова учились бойцы сибирских дивизий, уходившие на фронт. Служить, как они, обещали призываемые в армию юноши сибирских заводов и колхозов. Эти передачи слушали находившиеся на излечении в тылу раненые бойцы и командиры. «Мы, бойцы и командиры, находящиеся на излечении в госпитале, шлем вам

свой боевой привет с наилучшими пожеланиями, — говорилось в одном письме, пришедшем в радиокомитет весной 1943 г. — Вы, как настоящие воины, рубите врага своей песней. Мы под ваши песни вспоминаем боевые дни, боевые эпизоды, и они воодушевляют нас на новые подвиги».

В своих письмах, адресованных Шмелькову и Ветеркову (чаще всего именно им, а не артистам Борисову и Адашевскому), слушатели обращались к ним как к реально существующим людям. Заботливо просили побережься от пуль, спрашивали, не встречались ли разведчикам на фронте родные и близкие слушателей.

Летом 1942 г. театр драмы имени Пушкина выехал на пароходе в гастрольную поездку по Оби. В этой поездке Борисов и Адашевский опробовали эстрадный вариант обозрения «Огонь по врагу». А позже с радостью восприняли долгожданное разрешение выехать в качестве фронтовой бригады в одну из сибирских дивизий в район Гжатска.

«Два месяца пробыли артисты в действующей армии. Выступали перед бойцами на лесных опушках и в оврагах, в блиндажах и полуразрушенных сараях, — вспоминает народный артист СССР А. Ф. Борисов в своей книге «Из творческого опыта», в которой радиопередаче «Огонь по врагу» посвящена целая глава. — Вместе с дивизией совершали немалые переходы, и каждый день нашего пребывания на фронте был для нас большой жизненной школой».

После возвращения в Новосибирск творческая группа передачи «Огонь по врагу» предприняла новую гастрольную поездку по краю.

В этих поездках первое отделение представляло собой своеобразный отчет о поездке на фронт, о встречах с воинами-сибиряками. А во втором отделении зрители получали возможность вновь услышать (и увидеть) фрагменты из любимейшей радиопередачи.

Одно из таких выступлений было намечено провести в кемеровском цирке. Здесь возникло непредвиденное осложнение. Приехав в Кемерово, артисты узнали, что сезон в цирке еще не закончился и цирковые представления не отменены. Было решено дважды дать по два концерта ночью, начав их в полночь и в 2 часа. Несмотря на позднее время, на всех четырех ночных представлениях цирк был полон. Дополнительные места были устроены в проходах и даже на самой арене.

Более 50 выпусков передачи «Огонь по врагу» прозвучало в эфире до того времени, когда была прорвана блокада Ленинграда и театр драмы имени Пушкина, а вместе с ним и артисты Борисов и Адашевский вернулись в свой родной город. Но на этом она не прекратила свое существование. Своеобразным продолжением ее стало радиообозрение «До скорой встречи», в котором были заняты артисты Ю. Хачинский, Л. Красиков, Н. Коростынев. Тексты выпусков нового радиообозрения писал Евгений Мин — автор значительной части выпусков радиопередачи «Огонь по врагу».

...А 7 мая 1945 г. в театре «Красный факел» впервые торжественно отмечался День радио, учрежденный в этом году в связи с 50-летием изобретения радио.

Александр КОСЕНКОВ

ПЕРВАЯ «СИБИРСКАЯ ФИЛЬМА»

В последнее время нередко встречаешь в Интернете, а то и в телевизионных новостях высказывания типа: «первый сибирский художественный фильм», «первый художественный фильм, снятый новосибирцем в Новосибирске». И даже сообщения о премьерах этих фильмов в кинотеатрах. Не будем сейчас говорить о качестве или художественной ценности этих самодельных фильмов, будем говорить о другом — об исторической точности.

Так вот — первый художественный фильм был снят в Новосибирске и с успехом прошел по киноэкранам страны в 1924 г. и был назван «лучшим достижением советской кинематографии». 13 декабря 1924 г. газета «Правда» печатает заметку: «С пятницы 12 декабря в госкиноотеатрах идет картина производства Сибгоскино “Красный газ” из жизни партизан в Сибири в период борьбы с Колчаком. Картина на просмотре представителей печати и Главполитпросвета заслужила одобрение и последним рекомендована как “лучшее достижение советской кинематографии”». Днем раньше фильм вышел на экраны новониколаевских кинотеатров, и за два дня его посмотрели более семи тысяч человек. В городе шли общественные обсуждения, дискуссии, встречи с участниками съемок. А полтора года спустя местная газета, ссылаясь на сведения из Москвы, сообщает: «Сибирская фильма “Красный газ” имеет огромный по сравнению с другими фильмами тираж в 53 копии против 25—30 других картин. По успеху она уступает лишь фильму “Красные дьяволята”».



«Красный газ». Кадр из фильма



Рабочий момент
съемок фильма
«Красный газ».
1924 г.

«Красный газ».
Кадр из фильма.
В роли
крестьянина —
режиссер
Иван Калабухов



«Красный газ». Финальный кадр



«Красный газ» собрал целый букет откликов. Рецензии на него публикуют газеты «Правда», «Известия», «Вечерняя Москва», «Кино-газета», журналы и еженедельники «Кинонеделя», «АРК», «Рабочий и театр», почти все сибирские газеты. Вот что писала «Правда»: «Картина смотрится с непосредственным интересом... она подкупает свежестью, искренностью, простотой... Фильм дает ощущение действительной, не инсценированной борьбы, и борьба эта показана в буднях, в суровой ее простоте: в этом несомненное достоинство картины».

Думаю, стоит привести целиком и рецензию известнейшего в то время кино-критика Х. Херсонского, напечатанную в газете «Известия»:

Серебряная рота из тайги. Лесовики — крестьянские деды в серебряном уборе старости, поднявшие на Колчака берданки, вилы и топоры. Восставшие в тылу белых армий, в деревнях Алтая — партизаны крестьянской революции, соорудившие свою партизанскую пушку, которая разорвалась после первого выстрела. Ушедшие с детьми и женщинами в лес и ждущие от рабочих подмоги — пороху. Самодельными бомбами, пушками с пулями, подчас рогатиной и голыми руками отстаивающие свой дом, свою соху и чернозем от «белых гадов»... Первобытная дикая лента, снятая в горах Алтая старым аппаратом, который чинили в кузнице. Без запаса пленки, кустарная работа современного кино. В ней много наивного примитивного искусства. Но ее искренность, правдивость и подлинный пафос сибирской крестьянской партизанщины, взятые самородным куском, делают эту ленту нашей родной, без цены. В своем роде единственной.

КРАСНЫЙ ГАЗ.

Картина «Красный газ» является одной из лучших постановок нашей советской кинематографии, не только по техническому выполнению, а по правдивому революционному содержанию.

В картине «Красный газ» зритель на верных примерах видит те причины, которые зажгли сибирское крестьянство революционной ненавистью к колчаковщине. Особенно порка крестьян карательным отрядом (во второй части) является характерным примером того, что заставило сибирское крестьянство взяться за оружие и убивать своих врагов из-за угла.

В картине правильно показана трудность борьбы, которую вели партизаны с колчаковщиной. В картине верно отмечена потеря наиболее передовых бойцов,

которые, действительно, много погибло в Сибире. Освобождение



Из фильма «Красный газ». Серебряная рота выступает на позиции.

Сибири от колчаковщины на самом деле дорого обошлось рабочим и крестьянам. И еще что хорошо в картине — в ней нет шаблонного любовного романа, которым изобилует большинство картин на революционные темы.

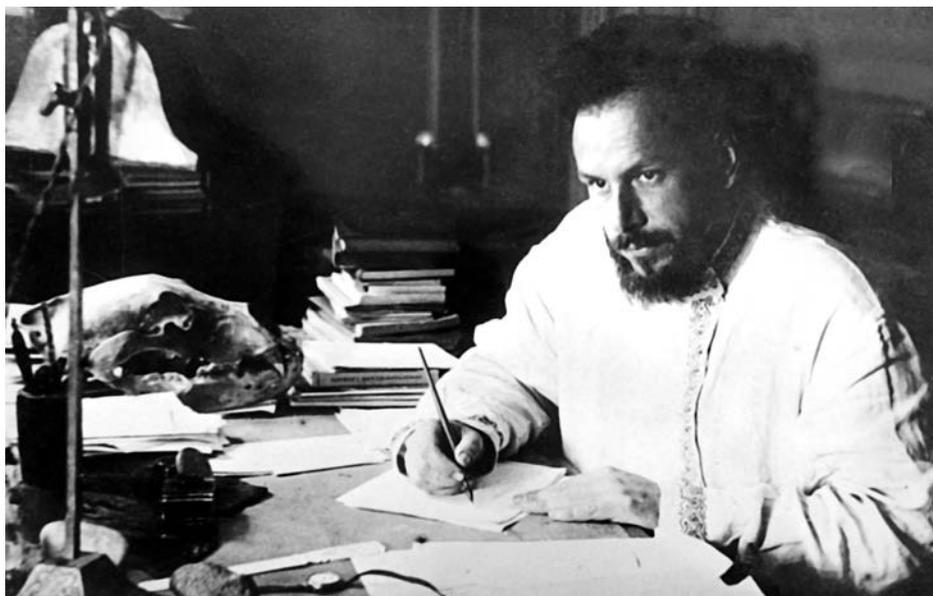
Несмотря на то, что картина имеет мелкие недостатки, она, безусловно, заслуживает того, чтобы ее как можно больше показывали рабочим и крестьянам.

Единственно, что нужно изменить, — это название картины, которое неудачно и непонятно.

Участник гражданской войны в Сибире.

А. Базылев.

Рецензия на художественный фильм «Красный газ» с кадром «серебряной роты»



**Владимир Яковлевич Зазубрин, писатель,
один из авторов сценария художественного фильма «Красный газ»**

Кто хочет более подробно ознакомиться с тем, как и у кого возникла идея съемок этого фильма, как и где отыскивали режиссера и кинооператора, как непросто проходили съемки фильма, большинство актеров которого были непосредственными участниками запечатленных на пленке событий, найдите и прочитайте посвященную этим съемкам главу из книги члена Союза кинематографистов СССР, редактора и киноведа В. А. Ватолина «Век сибирского кино». Хотелось бы только процитировать отрывок из этой главы, в котором рассказывается, какая литературная основа была заложена в сценарий «сибирской фильмы», рассказывается об ее авторе, который принимал в этих съемках непосредственное участие, как принимал он участие и в появлении на свет первого советского сибирского литературного журнала «Сибирские огни».

«Мгновенно решился сценарный вопрос. Только что в городе был переиздан опубликованный раньше в походной типографии 5-й армии роман ее политуправленца, будущего известного писателя Владимира Зазубрина «Два мира». Он тут же был окрещен первым советским романом в истории русской литературы и вызвал горячие отзывы Луначарского и Горького. Сам Ленин нашел возможность отозваться о нем так: «Очень страшная, жуткая книга, конечно, еще не роман, но хорошая, нужная книга».

Роман подкупающе эмоционально отразил жизненную эволюцию самого автора — от поручика, мобилизованного в колчаковскую армию, перенесшего в ней немалую часть ужасов ее духовного разложения, до красноармейского журналиста. Зазубрин, правда, взявшись писать сценарий, быстро почувствовал: оказывается, книга и кино — совершенно разные искусства и живут по своим особым законам. От романа придется отсекасть, отсекасть, отсекасть. И в конечном счете в готовом сценарии, к написанию которого вскоре подключился режиссер Иван Калабухов, от книги, при сохранении ее пафоса, осталась лишь побочная ветвь, разработанная заново с учетом кинодинамики».

«Тунгус
с Хэнычара».
Кадр из фильма



Съемочная
группа
художественного
фильма
«Огненный рейс».
1930 г.



«Конец Журавлихи». Кадр из фильма



Перипетии съемок были поистине уникальны. При всеобщей тогдашней разрухе и бедности снять подобный фильм можно было только всем миром. Всем миром и снимали. По словам Зазубрина, «можно с уверенностью сказать, что фильма создается не только Сибгоскино, но и всеми советскими и партийными учреждениями». Нужны съемки на пароходе — вот вам судно на неделю, с обслуживающими катерами, буксирами, лодками. Съемки забастовки в депо — несколько дней в нем командуют только киношники. Нужно снять интерьер приглянувшейся богатой крестьянской избы (а никакой осветительной аппаратуры еще не существует) — разбирается одна из стен дома, и съемка ведется при солнечном свете. Эпизод бесчинств колчаковцев в деревне — в Колывани сжигают несколько строений. Нужна экспедиция на Алтай — выделяются лошади и пустырь за городским кладбищем, где артисты осваивают верховую езду, потому что по Алтаю больше ни на чем не проедешь. И так далее.

Невольно приходит в голову — в наше бы время так. Вполне могли бы стать «сибирским Голливудом». Чего у нас окрест только нет: и тайга, и горы, и степь, и пустыня. Снимай что угодно. А вот Вегмана нет и в ближайшие годы не ожидается. (Вегман — стойкий большевик с огромным подпольным и эмигрантским стажем, руководитель антиколчаковского подполья в Томске, а во время съемок — партийный функционер, историк, главный идеолог культурно-просветительской работы в регионе.)

Ну, а как отнеслись к съемкам современники, простые обыватели, можно судить хотя бы по такому эпизоду, о котором впоследствии рассказывал режиссер фильма Иван Григорьевич Калабухов: «Съемки начались у нас на Оби. Здесь оборудовали для нас пароход с пулеметами на носу, орудием, оружием — словом, карательная экспедиция белых, которая должна была высадиться в Бердске. По пути снимали еще эпизод мятежа арестованных большевиков на судне — со стрельбой, дымами, огнем. Дня через два пришел черед эпизода высадки. Подходим к Бердску, и вдруг остановка — к причалу не подойдешь. За эти два дня слухи всякие пошли, а бердчан о съемках



Снимается фильм «Олений переход Салехард — Омск». 1937 г.



Съемочная группа короткометражного художественного фильма «Баррикада». 1931 г.

не предупредили — вот там и собрались вооруженные жители, чтобы дать отпор белякам. А потом говорили, что какая-то другая группа даже приготовила уже икону с вышитым полотенцем — наоборот, для торжественной встречи белых, и кто-то из духовенства даже облачился в праздничные одежды по этому случаю. Пришлось нашему политруку тов. Яхонтову на лодке добираться до причала и наводить там порядок. Но съемок в тот день мы вести так и не смогли».

На Алтае съемочной группе пришлось и вовсе поучаствовать в подавлении какого-то припозднившегося антисоветского мятежа.

Ну, а насчет того, что, как писала «Правда», «Красный газ» — «лучшее достижение советской кинематографии», так ведь это 1924 год. «Стачка» Эйзенштейна еще только монтировалась, а «Броненосец Потёмкин» и «Мать» еще даже не были задуманы. Главное — «Красный газ» доказал возможность самостоятельного кинопроизводства и кинотворчества в Сибири. Самостоятельного, собственного, отвечающего и тематически, и жанрово задачам, стоявшим перед Сибирью.

А вскоре в Новосибирске снимаются новые художественные фильмы, как короткометражные, так и полнометражные: «Конец Журавлихи», «Огненный рейс». В начале 1929 г. в заводском клубе по улице Добролюбова устанавливаются декорации для съемок художественного фильма «Тунгус с Хэнычара».

После успеха «Красного газа» «Кино-Сибирь» завоевывает известность. Объявляются желающие здесь работать. Стало возможным набирать людей и расширять свою творческую палитру.

Подходя к теме сибирского кино с позиции исторической справедливости, надо обязательно упомянуть и о том, что с начала 50-х по конец 80-х гг. прошлого века в Новосибирске было снято свыше двадцати художественных фильмов, показанных на всесоюзном экране, получивших широкую прессу и награды, которые до сих пор (когда случается такая счастливая возможность) с удовольствием и интересом смотрят современные зрители.

Наталья ЛЕВЧЕНКО

СИБИРСКИЙ КАРИКАТУРИСТ ВЕНИАМИН РОМОВ

Литературная и художественная биография Новосибирска богаче, чем принято думать. Многие литературные и художественные имена, достойные уважения, незаслуженно забыты. Одно из них — Вениамин Ромов.

Последние семь лет жизни талантливого художника-карикатуриста Вениамина Ивановича Романова (псевдоним — Ромов) были связаны с Новосибирском.

Он родился в 1881 г. в деревне Малая Сила Шерьбинской волости Оханского уезда Пермской губернии в семье священника, окончил Пермскую духовную семинарию. Его друг Г. Ульбинский вспоминал: «Живой, остроумный, веселый, невероятно отзывчивый, готовый делиться последней копейкой, Вениамин всегда был окружен толпой друзей-семинаристов». Еще на школьной скамье Ромов начал рисовать. Его карикатуры на товарищей и педагогов всегда пользовались широкой популярностью. В 1906 г. Вениамин поступает на медицинский факультет Томского университета и тогда же встречается в Томске молодого художника, выпускника Строгановского училища Михаила Щеглова, у которого берет уроки по рисунку. Вскоре графика и карикатура становятся его призванием.

В 1909 г. в Томске начинает издаваться сатирический журнал «Силуэты жизни родного города», редактором ко-

торого в декабре того же года становится студент-медик В. Романов, а с 1910 г. журнал получает новое название — «Силуэты Сибири». К сотрудничеству Романов приглашает Щеглова и будущего известного художника-графика М. Черемных. Еженедельный литературный юмористический журнал с карикатурами печатался тиражом около 1000 экземпляров, а финансировал издание известный сибирский купец и просветитель Пётр Иванович Макушин. Журнал высмеивал недостатки томского быта, неблагоустроенность города и бездействие городских депутатов. С приходом Романова журнал изменил принципы иллюстрирования. Теперь карикатуры занимали целые полосы, появились даже своеобразные «комиксы» — развернутые сюжеты из нескольких картинок с подписями на темы томской жизни. К карикатурам в 1910 г. добавились гравюры и фотографии. Редакция стремилась превратить журнал в полноценное иллюстрированное издание, и «Силуэтам Сибири» удалось стать заметным явлением в журналистике Томска начала XX в. По словам К. Н. Урманова, один комплект «Силуэтов» хранился в библиотеке писателя и издателя М. М. Басова. В наши дни журнал стал большой библиографической редкостью. Закрыли его в 1911 г. лишь потому, что авторы посмеялись над томским губерна-

тором. В это же время Вениамин Романов создает свою первую серию типажей «Томские студенты», изданную неизвестным предприимчивым человеком в виде почтовых открыток в Стокгольме в 1918 г.

Писатель К. Н. Урманов (в его архиве сохранилась общая тетрадь и несколько машинописных листов, посвященных В. И. Ромову) вспоминал: «Друзья в быту часто называли его Ромычем или Романычем. Мы раскрываем псевдоним: Вениамин Иванович Романов, он же художник В. Ромов... не оставил после себя ни биографии, ни документов, которые дали бы нам ясное представление о его юности, родственниках. В. И. не любил об этом рассказывать и еще не любил “наших” анкет» (ГЦиНк, фонд КУ-Р-121/3). Действительно, сведения о жизни и личности художника чрезвычайно скудны. Известно, что после разгрома армии Колчака он несколько месяцев отсидел в концентрационном лагере в Омске, куда попал, как военный чин. Потом Ромов работает в разных театрах в качестве художника-декоратора. В 1920 г. его приглашают в новониколаевский Сибгостеатр. Через год он переходит на работу в краевое издательство к М. М. Басову, тогда и появляются в местных газетах, прежде всего в «Советской Сибири», карикатуры, подписанные псевдонимом «Ромов».

В 1922 г. у сотрудников газеты возникает мысль об издании сатирического журнала «Скорпион», который бы критиковал бюрократизм, формализм, обывательщину и мещанство. Художниками журнала выступили В. Ромов и А. Иванов. В карикатурах Ромова, печатавшихся под рубриками «Гримасы жизни» и «Гримасы нэпа», запечатлены характерные типажи времени: самодовольный нэпман, дельцы-комбинаторы, использующие для наживы «воздух» и «дым».

Его рисунки с остроумными подписями можно было увидеть в журналах «Сибирь», «Товарищ», газете «Советская Сибирь». Ромов из года в год иллюстрировал журнал «Охотник и пушник Сибири», что, по словам современников, помогло увеличить его тираж. Художник А. Воцакин писал: «Его карикатуры хорошо известны читателям журнала “Охотник и пушник Сибири”. Ромов был сам заядлым охотником и прекрасно знал условия и охотничий быт Сибири. Поэтому его “охотничьи” карикатуры особенно ценны» («Советская Сибирь», 1929, 9 января).

В 1922 г. Ромов создает еще одну серию зарисовок «Новониколаевские типажи». Всего выполнено им 18 рисунков, которые выпустил в виде почтовых карточек Сибкрайиздат. В образах, созданных Ромовым, почти нет гротескового заострения, силуэт лаконичен и точен. Объемный, рыхлый, с подозрительным взглядом «Председатель», крепко сжимающий в руках символы бюрократической власти — два портфеля. «Врид. Зам.» (временно исполняющий дела заместитель), одетый в щеголеватый полувоенный френч, соединяет в себе ежеминутную готовность выполнить любое пожелание начальника и самолюбование. Колоритны образы «Управдела», «На исходящем», «Академика». Не обошел стороной Ромов и церковных «обновленцев», создав несколько рисунков, в том числе «Митрополита». На представителе «церковного модерна» — короткая куртка с отворотами, шейный платок и кресты красного цвета на рукавах. С трубкой во рту и стеклом в руках он идет в поход против устоев православия. В «Типажи» вошли и жанровые зарисовки городской жизни: «Слухи», «Самогонное действо». Во всех рисунках нет ни одной лишней детали, ни одного ненужного штриха, но при этом неизмен-

но возникает яркий, запоминающийся образ. Этот четкий, динамичный язык рисунка был выработан карикатуристом еще в томских «Силуэтах Сибири».

«Скромный по натуре, он никогда не называл себя художником. “Какие мы художники? Рисовальщики, не больше”, — вспоминал К. Урманов. О требовательности художника к себе пишет и его свердловский знакомый А. Маленький: «Была у этого человека одна черта, которой не хватает многим сегодняшним людям. Ромов никогда не брался за дело, если его не знал. Делал только то, что знал твердо. Если было задание дать осязкий орнамент — прежде чем рисовать, он буквально обыскивал книжные магазины, библиотеки и только потом работал».

Самым продуктивным для Вениамина Ромова был 1928 г. Он много работает не только для периодической печати, но и над оформлением книг сибирских писателей. В фонде Городского Центра истории Новосибирской книги сохранилось несколько иллюстраций к первому сборнику К. Урманова «Половодье» и акварельный портрет писателя В. Я. Зазубрина. Но Ромов понимал, что истинным его призванием стала карикатура. Уже тяжело больной, он отправляет записку Урманову: «Маэстро! Посылаю пару плохих заставок. Если есть — пришлите материал для карикатур. Дайте хорошую тему для рисунка-карикуры во всю страницу. Дело не подгажу. Сделаю во!! Только растолкуйте хорошо тему. Скучно без работы, без движения, без разговоров, без людей, без воздуха!! Температура все время 38,5 и 39,0... С приветом. Ромов».

Чтобы поддержать друга, новосибирские писатели и художники начинают собирать деньги для его лечения: «Романыч тяжело болен. Положение его безнадежно. Работать ему чрезвычайно тяжело. Романыч со свойственным ему

благородством не просит о помощи, но в помощи, безусловно, нуждается. Обязанность каждого, знающего Романыча и работавшего с ним, принять участие в организации материальной помощи на закате дней его жизни». И далее список: «А. Кручинин — 5 рублей, Г. Пушкарёв — 5 рублей, Г. Вяткин — 5 рублей, В. Итин — 5 рублей, Н. Анов — 5 рублей, С. Козьмодемьянский — 3 рубля, Иванов — 3 рубля, Вожакин — 3 рубля» (ГЦиНк, фонд КУ-Р 121/9).

Сохраняя характерный для него юмор, Вениамин Иванович пишет из больницы своему товарищу: «Оборин, голубчик! Теперь только выяснилось, что мне нужно в жизни. Оказывается, не так много: чайная ложка, стакан, газета, 2 цветных платка, 1 французская булка ежедневно, как это организовать — предоставляю тебе... Это далеко не похоже на физико-терапевтический институт в Томске. Но здесь какая-то “святая простая простота”, что мне даже понравилось. В палате 5 человек, я — шестой. Все почему-то спят, спят, спят. Матрасы “трещат”. Набиты не сеном, не соломой, а прямо хворостом. Мои кости кричат!!!»

Чаще всего в больницу к Ромову приходил его друг и сосед по квартире — рабочий силовой станции типографии «Советская Сибирь» Николай Оборин. 7 января 1929 г. он передал художнику очередной номер журнала «Сибирские огни». К. Н. Урманов вспоминал: «8 января пришел ко мне Оборин и положил номер “Сибирских огней” на стол. “Дочитал...” — сказал он упавшим голосом. Я не понял. Я думал, что В. И. прочитал журнал и что нужно будет собрать еще все свежие литературные новости и отнести ему. Но Оборин пояснил, что Ромыч “дочитал свою последнюю страницу”».

Редакция журнала хотела собрать все разбросанные по журналам и газетам рисунки Вениамина Ромова, чтобы из-

дать отдельным альбомом, но по каким-то причинам это не удалось осуществить. И сейчас, спустя почти 90 лет, творчество художника-карикатуриста возвращается к нам.

В общей тетради из архива К. Урманова, среди рисунков художника и воспоминаний о нем, находится листок со стихотворением Ивана Ерошина, посвященным Вениамину Ромову:

Кружка с цветком

В. Ромову

Вчера позвал меня Алтай.
Прощаясь, друг сказал:
— Не мне звенит веселый май,
И ты далеким стал.

Лучистых синих дней толпа
Резвится над тобой,
Богата дружба тропа
Забвения травой.

Разлука — верный пес любви
И верный враг с мечом.
Замолкнут в сердце соловьи,
И дружба станет сном.

На память кружку подал он.
На кружке — даль реки,
Зеленый стебель, а на нем —
В румянце лепестки.

Река свежа в разливе дня.
Дитя цветок — в огне.
Мой друг, забудешь ты меня
В цветущей стороне.

Забуду все, речей поток
И горький твой вопрос.
Когда увянет здесь цветок,
В волне сверкнет мороз.



СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА ЗА 2016 ГОД

ПРОЗА

- Балабин Михаил.** Оdnокрылье. Рассказ. — 4.
Башкуев Геннадий. Селедка под шубой. Рассказы. — 4.
Беломестных Олег. Цвет Надежды. Рассказы. — 4.
Бимаев Анатолий. Убийцы. Рассказ. — 6.
Глушков Роман. Подпольщик. Рассказ. — 5.
Гравицкий Алексей. Живая музыка. Рассказ. — 5.
Ерошин Алексей. Ингредиенты счастья. Рассказы. — 1.
Иванова Валерия. Чужая музыка. Рассказы. — 8.
Ковалёва Наталья. Билет в другие времена. Рассказ. — 8.
Кузичкин Сергей. Наташа и менестрель. Повесть. — 5.
Куклин Сергей. Воля. Рассказ. — 10.
Лаптев Александр. Армань. Документально-художественное повествование. — 9, 10.
Лихоносов Виктор. Позднее послесловие. Повесть. — 7.
Лобанова Елена. У моря погоды. Рассказ. — 12.
Ломов Виорель. Неодинокий Попсуев. Роман-мозаика. — 2, 3.
Ломтев Александр. Время подумать. Рассказы. — 7.
Мардань Александр. Дом Павлова. Повесть. — 1.
Мясников Николай. В ожидании тепла. Рассказы. — 9.
Натансон Владимир. Выйти из комы. Рассказ. — 4.
Некрасова Марина. Прштндю. Рассказ. — 3.
Николаенко Александра. Цветные сны. Рассказы. — 8.
Ольков Николай. Солнечный человек. Сказ об Иване Ермакове. Повесть. — 11, 12.
Пивень Сергей. Могила юродивого. Рассказ. — 6.
Пономарёв Павел. Сплин. Рассказ. — 2. Беглец. Повесть. — 6.
Прашкевич Геннадий. Русский хор. Повесть. — 11, 12.
Райц Дмитрий. Стражи полюса. Рассказы. — 1.
Романова Наталья. Книга. Рассказ. — 5.
Соос Урмас. Цена мечты. Рассказы. — 8.
Стасевич Виктор. Карточный домик. Рассказ. — 10.
Тарасов Алексей. Чьи-то голоса в синем небе. Рассказ. — 6.
Усова Екатерина. Оазис. Рассказ. — 2.
Черненко Михаил. На перекате. Рассказ. — 12.
Чернышова Евгения. Жупь. Истории про Сашу. Рассказы. — 9.
Чин-Шу-Лан Максим. А снег идет. Рассказ. — 4.

ПОЭЗИЯ

- Terra incognita.** Молодые поэты Новосибирска. Стихи. — 1.
Антонов Андрей. Запасные дары. Стихи. — 2.
Бабинов Евгений. Предпоследние годы. Стихи. — 8.
Без лишней драмы. Поэзия участников Регионального совещания сибирских авторов. Стихи. — 10.
Болдырев Андрей. Молчание сверчка. Стихи. — 8.
Боярский Вячеслав. Предутренний сквозняк. Стихи. — 9.
Васецкий Антон. «Скорая» возле подъезда. Стихи. — 7.
Виноградова Евленья. Стрекоза в стекляшке. Стихи. — 8.
Гутов Александр. Культурный слой. Стихи. — 11.
Донсков Ингвар. Простая история. Стихи. — 7.
Дьячков Александр. Про эти светлы. Стихи. — 7.
«Еще земное чуть печалит...» Александр Правиков, Кристина Кармалита, Дмитрий Близнюк, Борис Поздняков, Александра Герасимова. Стихи. — 3.
Зельцер Сара. «Пока зима печатает курсивом...» Стихи. — 9.
«И появится сад...» Ольга Полянина, Юлия Крылова, Светлана Платицина, Сергей Филипов. Стихи. — 11.
Кекова Светлана. Вода и глина. Стихи. — 6.
Кобенков Анатолий. Тень ласточки. Стихи. — 9.
Колесник Любовь. Грозы за пределом. Стихи. — 11.
Колчин Денис. Звезда Звиздец. Стихи. — 1.
Коновалов Евгений. «Многоногое чудище джаза...» Стихи. — 3.
Копылов Олег. Сезон Сезанна. Стихи. — 5.
Косогов Владимир. Человек насыщенный. Стихи. — 6.
Маркович Яков. «Вот как лишаюсь я речи...» Стихи. — 1.
Михайлов Станислав. День синиц. Стихи. — 12.
Михня Святослав. Перед холодами. Стихи. — 12.
Мурзин Дмитрий. Топору топоры топором. Стихи. — 11.
«Над Томью в золото-синей дрожи...» К 20-летию кемеровского журнала поэзии «После 12». Стихи. — 10.
Пузыревская Надежда. Родословная. Стихи. — 2.
Рубакова Софья. «Кому завещать корабли...» Стихи. — 4.
Румянцев Дмитрий. Григорианский хорал. Стихи. — 12.
Сайдаков Виктор. «Польнью терпкою и солью...» Стихи. — 10.
Сапрыкина Серафима. Скорбные места. Стихи. — 8.
Соколов Анатолий. «Вместе с песней умного молчанья...» Стихи. — 4.
Тюрин Вячеслав. Приметы беспробудного кочевья. Стихи. — 3.
Федоровский Игорь. С черного хода. Стихи. — 5.
Шевцов Андрей. «Где лепечет ребенок и клохчет старик...» Стихи. — 2.
Шкуро Сергей. Из детства. Стихи. — 9.
Ярцев Вадим. Прощание с Союзом. Стихи. — 5.
Ярыгина Надежда. Школа искусств. Стихи. — 10.

ДРАМАТУРГИЯ

Рябов Дмитрий. Апрельский романс. Пьеса. — 4.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ

Волкова Мария. Примиряющий запах земли. Стихи. — 7.

Иванов Всеволод. Проспект Ильича. Роман. — 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Махнанова Ирина. Неизданный роман Всеволода Иванова «Проспект Ильича»: к проблеме публикации. — 7.

Осеннее кочевье. Стихи монгольских поэтов в переводе Намжила Нимбуева. — 6.

Переписка Н. Н. Яновского и В. П. Астафьева. 1980—1991. — 3, 4, 5.

Сорокин Антон. Неизданные произведения. Предисловие Натальи Левченко. — 1.

Тарлыкова Ольга. Жизнь и творческий путь Марии Волковой. — 7.

Юдалевич Марк. Омский писатель Антон Семёнович Сорокин. — 1.

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Байборodin Анатолий. Байки деда Бухтина. — 7.

Вендимеров Семён. Голос, звучащий в эфире. — 11, 12.

Голодяев Константин. Власть против народовластия. — 5.

Зайков Николай. Как фамилия у Вовки Гуркина? — 6.

Зверев Владимир. «Город ожил, Совет бежал, появилась новая власть...» Выписки из дневника. — 9.

Косенков Александр. Первая «сибирская фильма». — 12.

Костин Владимир. Эпоха великой засухи. — 8.

Красильникова Екатерина. Революция, память, беспамятство. Годовщины Великого Октября в Западной Сибири в 1920—1930-х гг. — 2.

Мастеровое слово. Беседа с писателем Михаилом Тарковским. — 6.

Минов Игорь. Андрей Крячков, сибирский зодчий. — 11.

Муратов Пётр. Погреб. — 8.

Никифоров Владимир. Плеск кембрийских морей. О Геннадии Прашкевиче. — 3.

Новиков Валерий. Как в кино. Рассказы кинодокументалиста. — 1, 2.

«О великом и могучем замолвите слово». Выступления участников «круглого стола». — 4.

Папков Сергей. Голос отчаяния. Обращение сибирских писателей к секретарю крайкома Р. И. Эйхе летом 1933 года. — 2.

Седых Владимир. В экспедиции. — 3, 4.

Сухачёв Александр. Семейный альбом на фоне крушения империй. — 6.

Устименко Алексей. Катание по каменной шинели. — 6.

Харитонов Арнольд. Спасибо, что жил... Анатолий Кобенков: портрет на фоне времени. — 9.

Чащин Пётр. «Словно не домой я вернулся...» Одиссея белогвардейца на Восточном фронте. Предисловие Александра Шекшеева. — 6.

Шекшеев Александр. Неизвестный «сибирский Корнилов» и его поход. — 10.

Шипилов Николай. «Никого не пощадила эта осень...» Неопубликованное интервью 1993 года. — 12.

КРИТИКА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

- Беккин Ренат.** Мокрая курица татарской литературы, или Кого предала Зулейха? — 9.
Горшенин Алексей. «Другая жизнь» Александра Заволокина. — 5.
Яранцев Владимир. Вертикальное движение. — 10.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

- Горшенин Алексей.** Ветвь большого дерева. — 10.
Издано в Сибири. — 3, 5, 6, 7, 8.
Папкина Елена. «В его минуты роковые». — 6.

ИЗ ПОЧТЫ «СИБИРСКИХ ОГНЕЙ»

- Кравцова Ольга.** О поэтике Станислава Ливинского. — 2.

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ «СИБИРСКИХ ОГНЕЙ»

- Беяева Светлана.** Новосибирск Николая Грицюка. — 6. Тема декабристов в графике Н. И. Домашенко. — 10.
Гапонов Григорий. Григорий Густавович Ликман. — 3.
Голикова Светлана. Из наследия Александра Заковряшина. Портреты писателей. — 8. Линогравюры Константина Баранова. — 11. Первый художник Новосибирска. — 4. Поэт театра. — 2. Сибирские остроги в гравюрах Бориса Лебединского. — 1.
Левченко Наталья. Сибирский карикатурист Вениамин Ромов. — 12.
Муратов Павел. Один из старейших. Николай Петрович Хомков. — 5.
Радченкова Анна. «Картинки» Николая Мясникова. — 9.
Федорищева Юлия. Художник двух дорог. — 7.

РАЗНОЕ

- Выбор на всю жизнь.** Новосибирские писатели о себе. — 11.



АВТОРЫ НОМЕРА

Венцимеров Семён Михайлович (1947—2009) родился в г. Черновцы (УССР). Окончил международное отделение факультета журналистики МГУ. Много лет работал на Новосибирском радио. Публиковал статьи, стихи и очерки в различных изданиях, в том числе в Нью-Йорке, где он жил последние годы.

Иванов Всеволод Вячеславович (1895—1963) — русский писатель. Юность прошла в Западной Сибири. С 1921 г. жил в Петрограде и Москве. Фронтовой корреспондент «Известий». Автор многих произведений художественной прозы.

Косенков Александр Фёдорович родился в 1940 г. в Курской области. Окончил факультет журналистики Иркутского государственного университета и сценарный факультет ВГИКа. Кинодокументалист, драматург, прозаик. Публиковался в журналах «Современная драматургия», «Искусство кино». Член Союза писателей России. Живет в Новосибирске.

Левченко Наталья Ивановна родилась в Анжеро-Судженске. Окончила филологический факультет Полтавского педагогического института им. В. Г. Короленко. Работала в литературно-мемориальном музее В. Г. Короленко (Полтава, Украина), литературно-мемориальном музее Ф. М. Достоевского (Семей, Казахстан), Новосибирском государственном краеведческом музее. В настоящее время заведует Городским Центром истории Новосибирской книги. Живет в Новосибирске.

Лобанова Елена Александровна родилась в Краснодаре. Окончила музыкальное училище по классу фортепиано и филологический факультет Кубанского университета. Работала концертмейстером, учителем русского языка. Публиковалась в журналах «Сибирские огни», «Новый берег» и др. Автор нескольких книг прозы. Член Союза российских писателей. Живет в Краснодаре.

Михайлов Станислав Геннадьевич родился в 1962 г. в г. Полевской Свердловской области. Окончил Алтайский государственный институт культуры. Стихи публиковались в журналах «Сибирские огни», «Крещатик», «Новая Юность» и др. Автор поэтической книги «Июлия». Живет в Новосибирске.

Михня Святослав Борисович родился в 1975 г. в Твери. Окончил исторический факультет Тверского государственного университета. Работает журналистом. Автор трех поэтических сборников и нескольких краеведческих книг. Живет в Твери.

Ольков Николай Максимович родился в 1946 г. в с. Афонькине Тюменской области. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Работал в районных и областных газетах, был завотделом культуры райисполкома, предпринимателем. Автор нескольких десятков книг прозы и публицистики. Лауреат нескольких литературных премий. Живет в с. Бердюжьем Тюменской области.

Прашкевич Геннадий Мартович родился в 1941 г. в с. Пировском Красноярского края. Прозаик, поэт, переводчик. Автор нескольких романов и ряда биографий писателей-фантастов. Заслуженный работник культуры РФ. Живет в новосибирском Академгородке.

Румянцев Дмитрий Анатольевич родился в 1974 г. в Омске. Окончил философский факультет Омского педагогического университета. Публиковался в журналах «Дружба народов», «Звезда», «Новый мир» и др. Автор трех поэтических книг. Лауреат Всероссийской литературной премии им. В. П. Астафьева (2005). Член Союза российских писателей. Живет в Омске.

Черненко Михаил Яковлевич родился в 1931 г. в с. Высокая Грива Новосибирской области. Окончил штурманское отделение Новосибирского речного техникума. Работал в Западно-Сибирском пароходстве, был литсотрудником районной газеты, редактором отдела прозы журнала «Сибирские огни». Популярный автор детективного жанра. Живет в Тоугучине (Новосибирская область).

Шипилов Николай Александрович (1946—2006) родился в Южно-Сахалинске. Учился в авиационном техникуме и педагогическом институте в Новосибирске. Окончил Высшие литературные курсы в Москве. Поэт и прозаик. Автор нескольких романов и сборников рассказов. Автор и исполнитель песен, многие из которых вошли в бардовские антологии.



МАГАЗИН продает и покупает:

книги и подписные издания, газеты, журналы, почтовые открытки (до 1960 г.), старые фотографии, домашние архивы, коллекции почтовых марок, монеты, бумажные деньги;

статуэтки фарфоровые, бронзовые и чугунные, серебряные изделия, значки на винтах, портсигары и подстаканники, заводные игрушки и фарфоровые куклы, угольные самовары и патефоны, старинную мебель, старую военную форму и военную атрибутику и многое другое.

Работают отделы:

антиквариата, нумизматики, филателии и букинистической литературы.

Всегда в продаже журнал «Сибирские огни».

Работаем с 10 до 19 без перерыва, в воскресенье с 10 до 18

Адрес: ул. Романова, 26 (угол Советской и Романова)

☎ 227-18-37, 227-14-50

Сайт: www.gornitsa.ru E-mail: n_gornitsa@bk.ru

Частные лица и организации в Российской Федерации и в странах СНГ могут подписаться на журнал «СИБИРСКИЕ ОГНИ» в любом отделении связи — красный Объединенный каталог, подписной индекс — 46587.

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

Учредители:

Союз писателей России, Администрация Новосибирской области
Журнал зарегистрирован в Государственном комитете Российской Федерации по печати.
Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г.

Адрес редакции и издателя:

630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 19, тел.: (383) 223-10-15

E-mail: sibogni@sibogni.ru Сайт: sibirskieogni.pf

Адрес типографии:



ООО «Новосибирский издательский дом»

630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104

<http://книгосибирск.pf>

Сдано в набор 31.10.2016 г. Дата выхода № 12 за 2016 г. в свет 1.12.2016 г.

Формат 70x108/16. Печать офсетная. Усл. п. л. 8,7. Тираж 1500 экз.

Цена свободная.

Во всех случаях полиграфического брака просим обращаться в типографию.